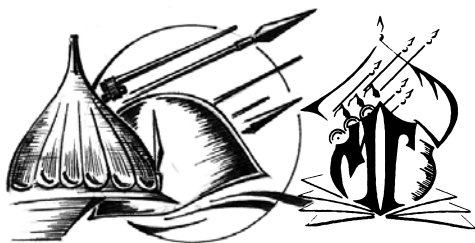

Россия, Русь! Храни себя, храни!

3
2010



Союз писателей России

Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир ОСИПОВ. СНВ-3 — это капитуляция	3
Андрей ВОЛОДИН. Российская политика на фоне мирового кризиса	70
Александр КРЫЛОВ. Пятидневная война: невыученные уроки истории	75
Ханнес ХОФБАУЭР. Новый облик европейского фашизма	81
Александр МОЛОТКОВ. Быть или не быть интеллигенции?	87
Валерий ХАТЮШИН. Невежество интеллигенции	96

ПРОЗА

Виктор МАНУЙЛОВ. Одинокий голос в звездную ночь. Повесть	15
Николай НЫРКОВ. Звезды над колодецем. Рассказ	105
Владислав СОСНОВСКИЙ. Былинка. Рассказ	121

ПОЭЗИЯ

Виктор КИРЮШИН. Облака над садом. Стихи	59
---	----

Николай РАЧКОВ. Устоять перед веком. Стихи	63
Ольга ДЬЯКОВА. Веретено. Стихи	67

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Лев ЛЕБЕДЕВ. Клевета срabатывает безотказно	144
Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ. Был ли заговор военных?	164
Владимир ОСИПОВ. «Сталинизм» — дымовая завеса Русской Катастрофы	176
Владимир ЮДИН. Украина — оторванная часть России	180

ПИСАТЕЛЬСКОЕ БРАТСТВО

Игорь ТЮЛЕНЕВ. Взгляд и птица. Стихи	189
Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН. Укрощение ветра. Стихи	193
ЮРИЙ КАПЛАН. Люблю. Стихи	195
Зинаида КУЗНЕЦОВА. Рассказы	196
Владимир ИЛЛЯШЕВИЧ. Пожарный. Рассказ	213
Константин РАССАДИН. Ложь. Рассказ	218
Александр ГРОМОВ. Прощеный понедельник. Рассказ	223
Стихи поэтов Армении	234

ОСОБЕННЫЙ ПУТЬ РОССИИ

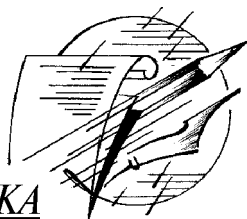
Владимир ПЕТРОВ. Кесарь и художник. Окончание	240
--	-----

ИСКУССТВО

Марк ЛЮБОМУДРОВ. Парадигма русского театра	280
---	-----

СНВ-3 — ЭТО КАПИТУЛЯЦИЯ

То, что случилось в США 11 сентября 2001 г. якобы по инициативе мусульманских радикалов, по мнению многих неангажированных специалистов, является грандиозной провокацией американских спецслужб. Не вдаваясь в доводы ревизионистов-аналитиков, ограничимся обзором того, что произошло **после** 11 сентября, того, что явилось **прямым следствием** налета американских самолетов на нью-йоркские небоскребы и Пентагон. Прямым следствием стали две войны: война в Афганистане против якобы гнезда террористов и война против Ирака. Светский социалистический режим Ирака никак невозможно было обвинить в исламском терроризме. Но против Иракской Республики нашли другое обвинение: эта республика якобы хранила ядерное оружие. Янки применили информационное оружие — стопроцентную ложь и клевету. И в этой лжи позже сознались сами руководители США. А сколько иракских детей мировое сообщество угробило в результате довоенных стерильных санкций против Ирака, когда в Месопотамию нельзя было ввезти даже валидол и другие лекарства! И никто по сей день не извинился в многолетнем изверстве. Ведь санкции-то по требованию США и его спутников были введены под тем же фантастическим предлогом хра-



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

нения атомных бомб во дворцах С.Хусейна. Потом страна была оккупирована, законный лидер казнен по приговору марионеточного проамериканского «суда», а в стране был умышленно устроен хаос и массовое истребление одних мусульман другими. Скольких бы оппозиционных боевиков ни покарал Саддам Хусейн, количество жертв американо-британской-эстонской-грузинской и прочая, прочая оккупации стократно перевешивает все «злодеяния» Хусейна.

До сих пор (за 9 лет!) не пойман якобы инициатор взрывов 11 сентября мифический бен Ладен (в прошлом верный служака ЦРУ). Это Гитлеру удалось послать своего Скорцени в горы Италии, чтобы освободить Муссолини. Американским деятелям при всем их военно-техническом могуществе — не удастся. Не помогают ни многочисленные спутники-шпионы, ни изощренная сухопутная разведка — «бессильны», «беспомощны» арестовать террориста №1. Афганистан захватили. Человека в пещере на афгано-пакистанской границе захватить не могут. Глазастые спутники-шпионы на этот раз ничего не видят. А точнее — не хотят. Что-то будет лепетать бен Ладен на суде?..

Но все же главным следствием провокации 11 сентября были даже не эти две войны, а то состояние жуткого страха и оцепенения, в которое был ввергнут весь мир. Все затаились от элементарной боязни, что рассерженный бешеный динозавр еще на кого-нибудь нападет, еще кому-то «отомстит» и кого-то сотрет в порошок. Вспомните, даже несгибаемый революционер Муамар Каддафи в тот момент «осудил» террористов и «отмежевался». Недаром сегодня он морально компенсировал тогдашнее унижение эпизодом с освобожденным Шотландией соотечественником. Президент Буш вполне мог напасть тогда и на Ливию, убить лидера Джамахирии и водворить там столь любезную магометанам американскую демократию. Так что «покаяние» Каддафи осенью 2001 г. спасло его страну от интервенции.

После 11 сентября 2001 г. весь мир морально признал гегемонию Америки. Ее диктатуру. Вот это главное. Ради этого, конечно, «стоило» взрывать собственные небоскребы. И наш президент Путин выразил тогда скорбь, сочувствие и солидарность. А как еще он мог поступить в столь сложной демонизированной обстановке?

Важнейшим следствием 11 сентября явился **выход США из Договора по ПРО**. 13 декабря 2001 г. Белый дом объявил об этом выходе и через полгода вышел из Договора.

Как сообщал видный военный специалист Ю.П. Савельев, «выход США из ПРО наносит смертельный удар по будущей безопасности нашего государства». Ученый писал: «К 1975—1979 гг. Советский Союз выходил на безусловно лидирующее

положение в сфере стратегических ядерных сил, ибо у нас завершилось создание «Сатаны» — ракеты Р-36 (или СС-18) и ее модификаций (мне как православному христианину это название неприятно, но его придумали прогрессивные и секуляризованные янки. — **В.О.**). Ничего подобного в США и по сию пору нет» (газета «Новый Петербург» от 27 июня 2002 г.). Именно намерение нашей страны поставить на боевое дежурство около 300 таких ракет толкнуло их к переговорам о разоружении.

По Договору СНВ-1 нас обязали уничтожить 50% ракет Р-36 (или СС-18). А по Договору СНВ-2 мы должны были уничтожить оставшиеся 154 ракеты не позднее 2007 года. Правда, министр обороны С.Б. Иванов заявил, что в связи с выходом 13 июня 2002 г. США из Договора по ПРО и аннулирования тем самым СНВ-2, уничтожение данных ракет приостанавливается. И тем не менее система ПРО США 2010 г. в трехшелонной полосе при 500 запущенных по Америке ракетах пропустит в итоге только 2—3 единицы. «Таким образом, — считает Савельев, — Америка получает все возможности простреливать всю территорию России обычным высокоточным оружием (нашу высокоточную «Оку» с дальностью 400 км, не подпадавшую ни под один международный договор в угоду НАТО ликвидировал Горбачев. — **В.О.**), особенно с юга на север, появившись в Средней Азии, и могут уничтожить все наши пусковые установки, оправдывая это тем, что они применяют обычное, а не ядерное оружие». Вывод невеселый: «Россия, с ее открытой границей, не имея современного оружия, **будет полностью открыта для любого агрессора.** С национальной безопасностью России будет покончено. Эту точку зрения разделяют практически все военные».

Выход США из Договора по противоракетной обороне — это еще и претензия Америки на особое, исключительное положение в мире. Пусть, дескать, хоть все гибнут в ядерной войне, пусть сгорит весь остальной мир — мы не погибнем. Мы, как особый привилегированный остров, останемся живы на фоне пожара а Старом Свете. Мы-то, мол, Новый Свет. Выход вселенского жандарма из ПРО — это реализация того **неравенства**, которое утверждают сегодня приверженцы антихристовой глобализации.

Безропотное согласие Российской Федерации с выходом США из ПРО — есть дополнительное национальное унижение. Штатам можно защищать себя с помощью ПРО. Другим — не положено. Америка вынудила нас (из-за предательства Горбачева) ликвидировать половину ракет Р-36 (СС-18), на нейтрализацию каждой из которых, по мнению специалистов, требовалось нацелить более 100 ракет-перехватчи-

ков. Даже богатым янки это было не по карману. По Договору СНВ-1 мы уничтожили половину этих необыкновенных ракет, и США «в ответ» порвали Договор по ПРО и все обязательства по разоружению. Кстати, Договор СНВ-2 они даже НЕ ратифицировали.

1 апреля 2009 г. в Лондоне состоялась встреча российского президента Д.А. Медведева с новым американским лидером Бараком Обамой. Предшественник Обамы, руководитель демократической партии Джон Керри, проигравший Бушу на президентских выборах, громогласно обещал, что, став президентом, он вырвет ядерные зубы у России. Бодливой корове Бог рог не дал. Но президентом стал теперь его соратник и единомышленник. И он, конечно, мечтает о нашем полном разоружении, но соблюдает иной стиль и иную лексику. «Независимая газета», сославшись на мнение российских и американских чиновников, сделала прогноз, что «Медведевым и Обамой процесса договориться о **сокращении боеголовок** до 1,5 тысячи штук у каждой страны. До сих пор стороны обязывались по Московскому договору СНП (Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов — май 2002 г.) до 2012 г. провести сокращение боеголовок до 1,7 — 2,2 тыс.»

При этом американцы хотят, чтобы потолок в 2,2 тыс. единиц распространялся исключительно на «оперативно развернутые» боеголовки, не затрагивая те головные части, которые **хранятся на их складах**, а также не вводя ограничения на средства доставки ядерного оружия.

«Нью-Йорк таймс» предполагает, что после истечения срока СНВ-1 стороны сначала сосредоточатся на документе, сохраняющем систему инспекций и верификации, предусмотренную СНВ-1, договорятся о сокращении боеголовок до примерно 1500 штук. А уже в 2010 году Россия и США, возможно, придут к соглашению относительно уменьшения числа боеголовок до 1000 единиц, а также об ограничениях по средствам доставки и, возможно, тактическому ядерному оружию.

Итак, нас уже подталкивают к тому, чтобы в 2010 году сократить свой ядерный потенциал до 1 тысячи единиц.

6—7 июля 2009 г. Барак Обама провел переговоры с Медведевым в Москве. Обсуждали ядерную проблему, транзит вооружения, военной техники, имущества и персонала США и НАТО в Афганистан по территории России (воздушным и железнодорожным транспортом), контакты между вооруженными силами США и России, вопросы ПРО. Но главным стал вопрос о подготовке нового соглашения (СНВ-3) о со-

крашениях стратегических наступательных вооружений, которые призваны заменить Договор СНВ-1. Был подписан документ с длинным названием «Совместное понимание по вопросу о дальнейших сокращениях и ограничениях стратегических наступательных вооружений». Эксперты Анатолий Дьяков и Евгений Мясников считают, что в данном документе «расхождения присутствуют даже на уровне терминологии». Обамой и Медведевым заявлена цель: через 7 лет после подписания договора «предельные уровни для стратегических носителей лежали бы в пределах 500—1100 единиц и для связанных с ними боезарядов — в пределах 1500—1675 единиц». В «Совместном понимании» не упомянуты пусковые установки (ПУ), и этот факт позволит сторонам по-разному толковать ограничения на ПУ межконтинентальных баллистических ракет и ПУ стратегических ракет морского базирования (БРПЛ): «...новый договор будет допускать сколь угодно большой возвратный потенциал». Например, американцы могут вывести из засчета около 100 ПУ МБР, на которых ракеты перемещены на склады, а также 4 атомные подводные лодки типа «Огайо». Кроме того, «прежние договоренности между Соединенными Штатами и Советским Союзом об ограничениях и сокращениях СНВ действовали в увязке с Договором по ПРО от 1972 г. В 2002 г. США из него вышли, и Россия, ссылаясь на этот факт, юридически имела право, в свою очередь, выйти из Договора СНВ-1, но предпочла не делать этого». Эксперты итожат: «Подписанный в Москве документ указывает на то, что **перевешивает американский подход**» («НВО» от 7—13 августа 2009 г.).

Удивляет заявление президента Медведева об увязке сокращения ядерного потенциала России со снятием российской озаченности по развертыванию американской ПРО в Европе. Медведев заявил на пресс-конференции в Амстердаме: «Мы готовы сократить наши стратегические носители по количеству **в несколько раз** по отношению к СНВ-1, и их количество будет ниже уровня 2002 года». В Европе янки планировали разместить (якобы против Ирана и Северной Кореи) 10 противоракет. Десять! А вот на Аляске они уже разместили почти 100 (сто!) противоракет — **против России** и в Калифорнии несколько десятков — против Китая. (КНР имеет 149 стратегических ядерных боеголовок). Но о противоракетах, нацеленных против нас с территории нашей бывшей Аляски мы почему-то молчим. Что там Европа! Вот с чем надо увязывать! С Аляской!

По состоянию на январь 2009 г. у США имелось 1198 развернутых стратегических носителей (550 развернутых МБР и связанных с ними ПУ, 432 развернутых БРПЛ и связанных

с ними ПУ, а также 216 развернутых тяжелых бомбардировщиков. В их число входят 99 развернутых ПУ МБР «Минитмен-3», из которых **выгружены ракеты и перегружены на склады**). Кроме того, 4 атомные подводные лодки типа «Огайо», в совокупности несущие 96 ПУ БРПЛ, были переоборудованы под носители крылатых ракет большой дальности.

А что у нас? Генерал-лейтенант Лев Иванович Волков приводит в Интернете такие данные: у нас 800—1500 боевых зарядов на 400—600 носителях (подводные лодки, самолеты, наземные пусковые установки).

У США 3—3500 боевых блоков, у Великобритании и Франции 700—1000, плюс так называемый **возвратный потенциал** США до 4,3 тыс. единиц и плюс новая система ПРО. Генерал Волков пишет: «Реально в этих условиях мы потеряем способность сдерживать США (НАТО) от агрессии ответным ударом. В этом случае остаются только упреждающий и ответно-встречный».

Даже пацифистский «Московский комсомолец» 18 декабря 2008 г. в статье «СЯС или никогда» приводит такие данные. В последний день 1999 г. Ельцин передал преемнику следующий состав Стратегических ядерных сил (СЯС):

- межконтинентальные баллистические ракеты — 1084,
- баллистические ракеты подводных лодок с боевой частью — 4916 БЧ,
- 81 самолет с 926 крылатыми ракетами. Всего 5842 заряда.

Почему же известный слуга мировой закулисы все еще сохранял такой потенциал? «МК» считает, что за ракетные войска стратегического назначения стойко боролись «два Игоря», два министра обороны, сначала Родионов Игорь Николаевич, потом Сергеев Игорь Дмитриевич.

Однако с 2000 г. пошло их обвальное сокращение. К началу 2007 г. Россия располагала таким составом СЯС:

- межконтинентальные баллистические ракеты — 681,
- баллистические ракеты подводных лодок с боевой частью — 2460,
- 79 самолетов с 884 крылатыми ракетами. Всего 3344 заряда.

Всего за 7 лет (до 2007 г.) СЯС утратили 403 носителя и 2456 зарядов.

За время президентства Путина произведено только 27 ракет. Это в 3 с лишним раза меньше, чем за т.н. лихие 90-е годы, и один Ту-160.

Удельный вес современного оружия в ВС РФ не превышает 20%, в то время как в армиях, нам противостоящих, — 60%. Военный бюджет США на 2008 год составил около 700 милли-

ардов долларов, превышая российский оборонный бюджет в 25 раз. Идет уничтожение наших многозарядных ракет РС-18, РС-20 и железнодорожных подвижных комплексов ПС-23. Депутат В.И. Илюхин считает, что более 80% вооружений изношены и требуют немедленной замены. Кремль в спешном и одностороннем порядке ликвидировал 3 дивизии РВСН на железнодорожной основе. Их особенно боялись американцы, и мы поспешили успокоить «партнеров».

США к 2015 году полностью закончат модернизацию своих вооруженных сил. В армии и на флоте они разместят более 100 тысяч крылатых ракет с высокой точностью поражения. А Великобритания и Франция будут иметь морской стратегический подводный флот, каждый из которых превзойдет российский подводный флот. На сегодняшний день в Военно-морском флоте России осталось (за вычетом находящихся в ремонте и на консервации): 14 многоцелевых атомных подводных лодок и 16 дизельных подводных лодок, 1 авианосец, 4 крейсера, 5 эсминцев, 7 сторожевых кораблей, 27 тральщиков, 12 десантных кораблей. Моряки считают, что «мы на краю пропасти».

Мы почему-то по многим важным вопросам помалкиваем. Например, ядерные бомбы США до сих пор остаются в шести (или семи) европейских странах. Сегодня ядерные бомбы «передового базирования» хранятся на 16 базах НАТО, в том числе на 15 американских. Они находятся в Великобритании, Германии, Нидерландах, Бельгии, Италии, Турции. Общая численность этих бомб составляет от 150 до 240. По мере того, как НАТО продвигается в сторону России, тактическое ядерное оружие превращается в стратегическое. В Германии 80% немцев требуют, чтобы Вашингтон забрал свое ядерное оружие с германской территории. В Бельгии протестуют парламентарии, но исполнительная власть, как это часто бывает при масонской демократии, никого не слушает.

Как бы ни был плох наш парламент, но даже в нем нашлись депутаты (в т.ч. из фракции «Единая Россия»), которые выразили крайнее недовольство губительными «реформами» министра обороны А.Э. Сердюкова. Депутатов Госдумы волнуют: отказ Генштаба от дивизионного построения Вооруженных сил, необоснованно резкое сокращение группировок войск и кораблей, а также офицеров и прапорщиков, недостаточное финансирование ВПК, явное игнорирование Сердюковым вопросов социальной защиты военнослужащих. Уничтожается последняя дееспособная и боеспособная структура армии — ГРУ Генерального Штаба. И уж совсем капитулянтским решением является объявленное 10-кратное сокращение численности бронетанковой техники в Вооружен-

ных силах России. Танки и по сей день остаются главной ударной силой сухопутных войск.

Вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков («Русская линия») пишет: «В новой войне, которая, быть может, уже на носу, бронетанковые соединения будут играть решающую роль. Они будут играть роль стенового хребта сухопутных войск. Поэтому объявленное сокращение — это лишение способности Вооруженных сил решать какие-либо серьезные задачи по обороноспособности страны... Если у Российской армии останется 2000 танков... то в России будет меньше танков, чем в Болгарии, меньше в 3 раза, чем в Турции, меньше, чем в Саудовской Аравии, и в 20 раз меньше, чем в НАТО». К.Сивков считает, что действия министра Сердюкова и начальника Генерального штаба Макарова можно квалифицировать как государственную измену, поскольку они подпадают под статью 127 и 128 УК РФ «О воинских преступлениях».

Между тем многих тревожит современная международная обстановка. Владимир Красильников еще в конце 2002 г. предрек: «США бешеными темпами развертывают новую стратегическую **неядерную ударную систему** (концепция так называемого глобального воздействия) для ведения **бесконтактных войн** шестого поколения... Звершение развертывания Америкой практически всех новейших систем приходится на 2010 год... Американские проекты объединены в суперпрограмму «Единая перспектива — 2010». Это:

- переход на космическое управление,
- развертывание стратегической аэрокосмической группировки,
- развертывание эшелонированной НПРО (включая 100 противоракет на Аляске и в Калифорнии),
- активное строительство новых субмарин, строительство которых было прекращено после распада СССР, главным образом убийц подводных лодок типа «Си вульф» («Морской волк»),
- модернизация существующих ПЛАРБ с заменой баллистических ракет на крылатые,
- развертывание высокоточного оружия, в первую очередь крылатых ракет, в количестве 100 000 штук морского, воздушного и наземного мобильного базирования,
- создание (для оснащения высокоточного оружия) ядерных боезарядов сверхмалой мощности глубокого проникновения для поражения командных пунктов и ракетных шахт,
- принятие на вооружение различных видов «несмертельного» оружия, в т.ч. психотронного,

— развертывание бомбардировщиков-невидимок В-2» («Советская Россия» от 26 декабря 2003 г.).

Словом, пока наши Березовские, Гусинские, Смоленские, Авены, Кохи, Чубайсы при секретаре Татьяне Дьяченко разрушали отечественную промышленность, военно-промышленный комплекс, сельское хозяйство, науку, медицину, образование, культуру (внедряя матерщину в печати и пропаганду растления), американцы наращивали свой военный потенциал. И теперь, оторвавшись от нас в разы (особенно по высокоточному оружию), предлагают нам как ни в чем не бывало **разоружаться дальше**. До 1 тысячи единиц ядерных боезарядов! И мы, как олухи, как дети несмышленные, отвечаем: «Хорошо, сократим еще раз свой ядерный потенциал, но вы уж, пожалуйста, не ставьте 10 противоракет в Польше и Чехии...»

В. Красильников считает, что «в 2010 году США будут иметь возможность нанести внезапный удар с подводных лодок, надводных кораблей, невидимок В-2 (не заходя в зону действия нашего ПВО), мобильных грунтовых ПУ с территорий Литвы и Эстонии. — **В.О.**», десятками тысяч крылатых ракет с дальностью в 4—5 тыс. км. В распоряжении Америки также 500 высокоточных боеголовок «МХ»... Это при запуске 300 ракет «Сатана» (РС-20 или СС-18) американская ПРО сталкивалась с 3000 настоящих боеголовок и 12 000 ложных...»

Не будет никакой наземной операции. То есть США и НАТО (совместно с Саакашвили и Ющенко) нападут на нас, как против Югославии в 1999 году. Никакого предварительного развертывания группировок. План удара без срока, без конкретной даты, в любой момент...

Договор СНВ-2 был подписан 3 января 1993 г. Ельциным и Бушем-старшим. «Этот договор, — писал Красильников, — предусматривал практически **одностороннее разоружение России**. По нему мы должны были **взорвать полторы сотни шахт**, уничтожить все наши тяжелые 10-блочные ракеты РС-20 и РС-22, основу наших ядерных сил сдерживания, переделать с многомиллиардными затратами нашу структуру ядерных сил в пользу крайне уязвимых авиационной и морской составляющей.

Американцы же должны были всего лишь **снять с боевого дежурства 50 ракет МХ**, разгрузить часть ракет «Минитмен», уменьшив число боевых частей до одной, а снятые боевые части просто **складировать**, чтобы при необходимости, в любой момент, поставить их на прежнее место. Аналогично часть бомбардировщиков «Б-52» должна была быть частично «разгружена», а снятые ракеты перенесены на склад».

Мы свои тяжелые ракеты должны были уничтожить, а они почему-то — только перенести на склад, на хранение до дня «икс». Однако США **не ратифицировали** Договор по СНВ-2, будучи твердо уверены, что ресурс наших РС-20 реально закончится к 2007 году и мы будем вынуждены уже без американского финансирования, предусмотренного договором, тратить последние деньги на ликвидацию этих ракет.

К 2003 году должны были быть уничтожены все межконтинентальные ракеты наземного базирования с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

14 июня 2002 г. в ответ на выход Вашингтона из Договора о ПРО Москва вышла из СНВ-2.

Чуть ранее, 24 мая 2002 г. в Москве В.В. Путин и Буш-младший подписали договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. Он установил максимальный уровень общего количества боезарядов в 1700—2200 единиц для каждой из сторон.

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Л.Г. Ивашов, будучи озабочен пораженческой позицией российского руководства на переговорах с Америкой, писал: *«...Российская переговорная позиция, раз мы втянулись в процесс переговоров, должна базироваться на выводах российских ученых (А.И. Агеев, В.С. Курдюмов, Г.Г. Маленецкий, В.И. Яковлев) о наличии критического порога сокращений СЯС (Стратегических ядерных сил), после которого ядерное оружие превращается из гаранта стабильности и безопасности в свою противоположность. Такой порог на сегодня составляет не менее 1700 боеголовок при соответствующем составе группировки носителей»* («Русский Вестник», № 14, 2009 г.).

В свою очередь, В.Красильников полагал, что нападение США на Россию (по сербскому сценарию) произойдет в районе 2010 года как точке наибольшей боеготовности США и наиминимальной боеготовности России и не будет затянато во времени. Но! «Нападение не произойдет, пока на боевом дежурстве будут стоять хотя бы **три десятка тяжелых ракет** с реальным ресурсом (РС-18, РС-20, РС-22) и надежно защищенных средствами ПВО и защиты старта ракет». **Вот и спешно стремился «застенчивый и благостный» Барак Обама с помощью СНВ-3 лишить нас этих тридцати тяжелых ракет «во имя мира во всем мире» в порядке якобы «взаимного» разоружения.**

Збигнев Бжезинский давно вопит, что Россия «неправомерно» владеет недвижимостью в 10 часовых поясов. А конгресс США берет на вооружение Акт о внешней дипломатии и безопасности, нацеленный на радикальный пересмотр прежних представлений о национальном суверенитете. Готовит-

ся правовое оформление грядущей войны за природные ресурсы. Которая, по-видимому, неизбежна.

Генерал Ивашов с тревогой говорил, что «переговоры идут под завесой секретности и почти не комментируются официальными лицами», что «программой переговоров заданы исключительно короткие (нереальные) сроки для выработки договоренностей» и что «предварительное принципиальное согласие на американские предложения по сокращению ставит российских переговорщиков в позицию загнанного в угол» («Независимая газета» от 6 июля 2009 г.).

В самом деле, президент Медведев накануне переговоров по СНВ-3 практически согласился с американской планкой разоружения в связи с отказом американцев от размещения ПРО в Чехии и Польше. А противоракет на Аляске — 100 штук — «наш» президент не боится. О них почему-то речи вообще не шло и не идет.

В другой своей статье генерал Ивашов напоминал, что еще в первой половине 90-х годов нами «бесплатно переданы советские противоракетные технологии (а мы были пионерами в этой области), ряд ученых и специалистов работают за океаном по программе американской ПРО. Американцы же активно используют наши исследования по противоракетным технологиям, средствам на новых физических принципах и химическому лазеру в своих военных программах. По геополитическому определению — против нас же» («Независимая газета» от 13 июля 2009 г.) Бакатин совершил только первый акт измены, раскрыв советскую прослушку американскому посольству в Москве. Вслед за ним сотни воспитанных Хрущевым интернационалистов и «антисталинистов» устремились в Америку зарабатывать деньги на оружии против России. (Не пора ли вернуться к рассмотрению вопроса о целесообразности и законности передачи Америке 500 тонн российского оружейного урана?)

Генерал Ивашов напоминал также о засекреченном от общественности соглашении о предоставлении воздушного пространства и железнодорожной магистрали в распоряжение американцев для транспортировки военных грузов в Афганистан, что, конечно, означает «частичную утрату Россией своего суверенитета». В каком-то смысле данное соглашение с США есть вариант договора Риббентропа—Молотова. Возможно, российское руководство (по-видимому, в лице премьера), получая по каналам разведки сведения о подготовке войны США против России, пыталось хоть как-то связать, зацепить оппонента, отсрочить трагическую развязку этим, конечно, непопулярным решением о помощи «парт-

неру-супостату» против исламского мира. Ведь у Америки те же планы, что и у Гитлера. Только германский канцлер мечтал о захвате жизненного пространства, русского поля для заселения его немцами, а Белый дом грезит о природных ресурсах России.

Что в итоге? В итоге президент Медведев, настроенный на разоружение, пошел на подписание нового Договора с Америкой, Договора по СНВ-3. Но сокращаться-то дальше, как все понимают, нам уже некуда: под нож пойдут последние ракеты и боеголовки, наша последняя гарантия независимости и территориальной целостности.

Грядет страшная война за передел мировых ресурсов и расчленение «империи зла» — Православной России. Борьба сакральная и материальная. Борьба за газ, нефть, лес, руды, пресную воду и борьба за уничтожение «остаточной духовности» последнего непокорного народа, за превращение его в биомассу. Эта «остаточная духовность» мешает глобалистам навести свой порядок на планете и подготовить приход антихриста. Замечательный русский ученый А.С. Панарин писал: господами мира сего «вполне откровенно заявлено: новому глобальному порядку мешает Россия не только как особая государственная и геополитическая величина, но и как тип культуры, решительно не вписывающийся в новую систему глобального естественного отбора... Дело в том, что мы мешаем скорому установлению социал-дарвинистских правил игры, их окончательной ценностной реабилитации».

Американцы добились, особенно за последние 20 лет, крупнейшего успеха в наращивании иных, неядерных средств ведения войны, в том числе высокоточного оружия, в этом они оторвались от всего мира. И мы, по воле российского руководства, теперь уже идем на уничтожение **последних тяжелых ракет**, чтобы убедить Вашингтон и мировую масонскую элиту в своем шизофреническом миролюбии, чтобы сдаться на милость победителя.

СНВ-3 — это капитуляция, западня, ловушка, это предательство национальных интересов России.

От редакции. Даже несмотря на лицемерный выход США из Договора по ПРО, американский президент в 2009 году получил Нобелевскую премию мира. По всей видимости, европейские масоны наградили его Барака Обаму за разоружение России.

ОДИНОКИЙ ГОЛОС В ЗВЕЗДНУЮ НОЧЬ

ПОВЕСТЬ

От автора.

Голодомор. Это слово стало слишком часто встречаться в средствах массовой информации в последние годы, и идет оно с Украины, чаще всего из уст ее президента Ющенко, человека, поставившего своей целью поссорить между собой два братских народа: украинский и русский, сделать их врагами. Если ему верить, то во всех бедах украинского народа, обрушившихся на него после переноса столицы Руси во Владимир, а пуще всего — после Октябрьского переворота семнадцатого года прошлого столетия, виноваты москали, кацапы — русские. Будто именно мы, русские, в 32–33 гг. поставили своей целью уморить голодом украинцев, начав коллективизацию сельского хозяйства. Между тем голод в ту пору охватил не только Украину, но и многие районы Российской Федерации. В эти два–три года сошлись все плюсы и минусы переходного периода: коллективизация, раскулачивание, неурожай, необходимость индустриализации, желание наверстать упущенное в развитии страны, отношение так называемого «тонкого слоя» руководителей (по выражению Ленина) к крестьянам как к попутчикам и классовым врагам, привычные властным структурам методы военного коммунизма и красного террора, угроза близкой войны...

И был уголок в нашей стране, где все эти причины и следствия сошлись



ПРОЗА

не менее трагическим образом, с той лишь разницей, что в этом уголке нашелся человек, возвысивший голос против произвола власти. И случилось это на Верхнем Дону. Случай по тем временам совершенно исключительный, заслуживающий пристального внимания и раздумья. И посему предлагаю читателю вернуться на три четверти столетия назад и погрузиться в ту эпоху...

Над станицей Вешенской, что протянула свои улицы и проулки вдоль левого берега Дона, висит голубоватая луна в тройном многоцветном воротнике. На лике ее, равнодушном и холодном, отчетливо видны сизые оспины. Станичные дома, плетни, хозяйственные пристройки, широкие улицы и узкие проулки, сады, щедро осыпанные инеем, излучина Дона и ракиты на его берегах, дальние поля, черные щели оврагов, дымчатая стена леса на правом берегу, — все это спит, придавленное толстым снежным одеялом, скованное двадцатиградусным морозом, отбрасывая глубокие синие тени. Ни огонька, ни собачьего бреха, ни петушиных голосов, лишь потрескивание льда на реке да протяжный волчий вой, доносящийся с опушки леса, нарушают тишину зимней ночи.

Однако в центре станицы, в большом доме бывшей атаманской управы, над крыльцом которого неподвижно обвис флаг, кажущийся черным, тускло светятся окна, покрытые ледяными узорами. У крыльца стоят двое пароконных саней, заиндевевшие лошади, укрытые попонами, дремлют, свесив гривастые головы. Иногда в окнах возникают неясные тени, беззвучно колеблющиеся в свете керосиновых ламп, точно за стеклами, под покровом декабрьской ночи, совершается некое таинственное действо. Судя по всему, в станицу приехало какое-то начальство.

Со скрипом отворилась дверь, выпустив наружу клубок белого пара и человека в подшитых валенках и папахе, на ходу застегивающего полушубок. Человек этот заспешил через площадь, пропал в темном проулке, и через несколько минут в ставень одного из домов послышался осторожный стук. Прошло не больше минуты, в узкой щели между ставнями проявилась тусклая полоска света, затем послышались шаги в сенях, человек поднялся на крыльцо, и кто-то спросил его, не открывая двери:

— Кто?

— Я это, Савелий, Михал Ляксандрыч, райкомовский посыльный. Там, в райкоме то исть, приехавшие из Ростова бюро собирают. Просют вас придтить. Сказали, чтоб без Шолохова не ворочался.

Брякнула щеколда, дверь отворилась, показалась белая фигура в исподнем белье, сиплый спросонья голос пригласил:

— Заходи, мне одеться надо.

— Да ничего, я туточки погоду. Покурю пока, — ответил Савелий.

— Ну, как знаешь.

И дверь закрылась.

— Что случилось-то? — приподнялась на постели молодая жена Шолохова Мария.

— Из Ростова приехали.

— Господи, ночь-полночь, а им все бы заседать да заседать. Дня мало, — пожаловалась женщина.

— Схожу, это не надолго. Спи, — ответил муж, натягивая сапоги.

Посыльный постоял немного, сошел с крыльца, не спеша дошел до калитки, остановился, принялся скручивать цигарку. Выбив кресалом огонь и запалив трут, прикурил, плямкая губами, трут загасил пальцами, сунул все в кисет, а кисет в карман. И задумался, глядя на крыльцо, присыпанное снегом.

«Вот этот Шолохов... — думал Савелий, окутываясь дымом. — Ведь совсем, можно сказать, мальчишка, а какой авторитет среди станичников — просто удивительно. В старые времена, — Савелий застал их уже в зрелом возрасте, — такой авторитет имел разве что станичный атаман. А то и волостной. Ну, еще богатый купец там, помещик... Кто еще? Считаю, больше и не было никого. Да и те в подходящих летах. А чтобы в двадцать пять, да чтоб тебя и в Ростове знали, и в самой Москве, знали и почитали, да чтобы ты не какого-то там знатного рода, и из самых обыкновенных казаков, — такого отродясь не бывало. И, главное, за какие такие заслуги? За то, что пишешь книжки! Чудно, ей-богу, чудно...»

Действительно, Михаилу Александровичу Шолохову всего двадцать семь лет, а он уже известный писатель. И не только в СССР. Две первые книги романа «Тихий Дон» переведены на многие европейские языки, и даже на китайский. В этом же, 1932 году в журнале «Новый мир» напечатана и первая книга романа «Поднятая целина», заглавие которой придумал, говорят, сам Сталин. Статьи Шолохова, опубликованные в Вешенской районной газете «Большевицкий Дон», в Ростовском «Молоте» или в московской «Правде», критически рассматривают деятельность местных и краевых властей, за неумелое и, можно сказать, вредительское проведение коллективизации, огульное отношение к казачеству, без-

грамотное ведение хозяйства. Наконец, в этом же году Шолохова приняли кандидатом в партию большевиков, но даже и не будучи партийным, он считался у себя в станице не ниже первого секретаря райкома партии и всех остальных начальников, а то и значительно выше. К нему шли за советом и помощью все, и не только простые жители Вешенского района, и Шолохов всех выслушивал, писал записки к властям с просьбой уделить внимание, оказать помощь и прочее. Опять же, кто достал через председателя ВЦИКа Михаила Ивановича Калинина легковую машину для райкома партии? Шолохов. А кто через Серго Орджоникидзе, наркома тяжелой промышленности, выхлопотал строительство в Вешках водопровода? Опять же он. И телефон, и много чего еще не появилось бы в Вешках, не проживай там писатель Михаил Шолохов. Поэтому-то и спешил к нему посыльный, что Шолохов не последняя спица в колесе местной советской власти, да и в любой московский кабинет заходит, как к себе домой, и наркомы только рады этому: как же — сам Шолохов! К тому же во всяких там законах и порядках разбирается как никто другой.

Шолохов спустился с крыльца, молча пожал руку Савелия, спросил:

— Кто приехал-то?

— Да все тот же Овчинников, мать его в дышло, — ответил Савелий и сплюнул. — Ну до чего же принципиальный товарищ! Просто одна жуть да и только. А с ним еще этот... как его? — Шарاپов. Этого, сказывают, заместо Гольмана уполномоченным к нам прислали. Черт их разберет, какого они семени. Хрен редьки не слаще.

— А Добринский вернулся?

— Да вроде как нету. Может, задержался где... А Овчинников дюже осерчалый. Прямо так и кипит, так и скворчит весь. Ажник дымится. — И посоветовал: — Ты, Михал Ляксандрыч, с ими дюже-то не цапайся. У них власть, они могут и заарестовать по злобе-то. Пока до Москвы дойдет, то да се, а бугай телушку на все четыре коленки поставить успеет... Опять же, с Овчинниковым четверо милиционеров приехало. Сидят сейчас в зале, смотрят на всех, как те сычи на падаль.

Шолохов шагал широко и быстро, засунув руки глубоко в карманы полушубка. Был он роста небольшого, но плотный, лобастый, сероглазый, крючконосый, не по годам серьезен. Савелий за ним едва поспевал.

Поднялись по скрипучим и визжащим от мороза ступеням на крыльцо, миновали сени. Дальше большой залы с выходящими в нее несколькими дверями Савелий не пошел

и, проводив Шолохова долгим сочувствующим взглядом, сел поближе к печке-голландке, открыл чугунную дверцу и принялся шуровать кочергой в ее пышущей жаром утробе. Четверо приезжих милиционеров в черных расстегнутых полушубках, распаренные, дремали, сидя на лавке у противоположной стены, зажав меж колен винтовки.

Овчинников, полномочный представитель Северо-Кавказского крайкома партии по хлебозаготовкам, человек лет сорока, рослый, с редким волосом на мослоковатой голове, в мышиного цвета френче с большими накладными карманами, перетянутом портупеей, с желтой кобурой, из которой торчала рубчатая рукоять револьвера, сидел под абажуром на месте секретаря Вешенского райкома. Его зычный голос утих лишь на несколько мгновений, пока Шолохов прикрывал за собой дверь и усаживался на свободную табуретку около двери же, пожав руки двум-трем ближайшим от него членам райкома.

— Так вот, — продолжил Овчинников. — Крайком не потерпит никаких отступлений от принятой линии на выполнение плана по заготовкам хлеба в вашем районе. Вы тут все спелись, потеряли партийную принципиальность, потакаете кулацким элементам и прихлебателям из некоторой части середняков, которые сами мечтают выбиться в кулаки. Секретарь вашего райкома Добринский сейчас находится под следствием, наши чекисты разберутся, почему он вел такую антипартийную политику по отношению к выполнению указаний крайкома и лично товарища Шеболдаева. У вас тут, под вашим, можно сказать, носом процветает воровство колхозного хлеба и фуража, устраиваются ямы, где гноится зерно и прочие съестные продукты, ведется массовая агитация за то, чтобы не дать советской власти хлеба, прекратить индустриализацию, задушить рабочий класс и армию удавкой голода, отдать страну на растерзание империалистам. Мы этого вредительского отношения к соввласти не потерпим. Завтра же на полдень собирайте всех секретарей партячек, всех активистов, будем решать сообща, как взять хлеб, чтобы выполнить план заготовок по всем статьям. Кровь из носу, а хлеб надо взять! Невзирая ни на какие лица! Мне крайкомом даны самые чрезвычайные полномочия для этого решительного мероприятия. И разберемся, почему секретари колхозных партячек, уполномоченные района в колхозах и активисты комитета содействия заготовкам хлеба ведут себя таким вредительским образом, что в районе собрано меньше восьмидесяти процентов от плана. Со всеми разберемся. Это я вам говорю со всей большевистской ответственностью. И чьи-то головы полетят — это я вам тоже обещаю.

Человек восемь членов комитета, сидящих в небольшом кабинете секретаря райкома, молча слушали запальчивую речь представителя райкома, смотрели в пол. Никто не решился возражать. Да и что возразишь? Все вроде бы правильно говорит этот представитель, а, с другой стороны, если задуматься, то совсем наоборот. Да только говорить каждый из них не мастак, еще ляпнешь что-нибудь непотребное, а по нынешним временам это может тебе же боком и выйти. Так что лучше промолчать. Вон Шолохов, на что грамотей, а и тот молчит: то ли тоже боится, то ли еще что. Хотя ему-то вроде бояться нечего: с самим Сталиным встречался в прошлом году о сю пору же, в газеты пописывает, власти ругает, и все с него, как с того гуся вода.

— Так какие будут мнения? — вскинулся Овчинников, вспомнив, что прислан сюда собирать недоимки, опираясь на местную парторганизацию. Секретарь райкома ВКП(б) Борис Петрович Шеболдаев, напутствуя его, так и сказал: «Все мероприятия проводить по решению местных парторганизаций и исполнительных комитетов. Если нужных решений принимать не будут, гнать из партии и под конвоем отсылать в Ростов как саботажников и вредителей. Чтоб комар носу не подточил. А то там этот писака Шолохов... прицепится к чему-нибудь, ославит на весь мир. Нам это ни к чему. И, между нами говоря, прозондируй в районе насчет Шолохова: не по его ли указке ведется там такая политика относительно выполнения плана хлебозаготовок. Пospрошай народ, найди таких, кого он обидел или еще что. Разберись, одним словом. Но осторожно. Если что, я тебе ничего не говорил».

Тягостное молчание сгушалось в прокуренном помещении. Наконец поднялся председатель райсовета Логачев, степенный, медлительный человек, с лицом, густо исчерченным мелкими морщинами, кашлянул, заговорил, осторожно роняя слова:

— Я так полагаю, что собрать людей мы сможем только к вечеру. Скажем, часам к пяти. Дороги замело, телефоны есть не везде. Пока посыльные туда, пока народ оттуда, дня, считай, и нету. Такое мое мнение.

— Что ж, пусть будет в семнадцать ноль-ноль, — легко согласился Овчинников. — Но чтоб все были здесь, как штык. А как вы это сделаете, меня не волнует. На этом заседание эрка на данный момент считаю закрытым.

В просторной горнице нового дома Шолоховых сидели четверо — самая, можно сказать, районная власть.

— Ну ты чего молчишь, Михаил? — спросил Петр Красюков, замсекретаря райкома, обрисовав положение в районе с выполнением плана хлебозаготовок. — Какую линию будем вести на данный момент?

Шолохов оторвал взгляд от своих рук, будто видел их впервые, посмотрел на Красюкова. Спросил:

— А какую ты предлагаешь?

— Тут голова кругом идет, не знаешь, в какую сторону поворачиваться.

Остальные согласно покивали головами. Каждый из них был лет на десять старше Шолохова и много чего испытал на своем веку: и войну с германцем, и гражданскую, и всякие там левые-правые уклоны. Но, несмотря на свой жизненный опыт, шли к нему и ждали от него совета и помощи. Да разве он против? Вот только как-то еще не по себе такое к нему, молодому, отношение. Стесняет и... опять же, ответственность.

И Шолохов, не дождавшись ни слова на свой вопрос, кусал нижнюю губу, продолжил:

— Овчинников прав в том смысле, что стране нужен хлеб. Он прав, говоря, что хлеб у нас воровали все, кому не лень, что в некоторых колхозах хлеб гнил в поле, и никто не спешил его убирать. Другое дело, что план на район в крайкоме разверстали не реальный, а с кондачка. И тот же Овчинников виноват в этом, завывсив урожайность на глазок практически вдвое, когда приезжал к нам еще весной. Что мы не потянем этот план, было ясно всем. Но ни ему, ни крайкому мы ничего не докажем. Уже пробовали. У крайкома свои планы, которыми они обязались перед Москвой. Что делать? Не знаю я, что делать. Как члены партии мы должны исполнять решения вышестоящих инстанций. Но как коммунисты должны стоять за справедливые отношения к колхозникам, к их труду, к их нуждам, в конце концов. Ведь не для того революцию делали, чтобы тянуть из народа жилы. Не для того колхозы создавали, чтобы детишки пухли от голода. Одно дело — кулаки и скрытые белогвардейцы, и совсем другое — честный колхозник или единоличник. Как все эти противоречивые факты соединить вместе? Не знаю. Пойдем на собрание, там будет видно. Да и пора уже. Как бы нам не приписали групповщину. Или чего-нибудь похуже. — И заключил: — Вы идите, но не скопом. А я следом.

В станичный клуб к вечеру набилось человек сто, не меньше. И народ все прибывал. Кто верхом, кто на санях, а кто и пеши — если поблизости.

А по станциям и хуторам Верхнедонья уже ползли слухи, что будут забирать все зерно, какое найдут, как во времена продразверстки, и народ загодя стал прятать и ворованное, кто воровал, и то зерно, что заработал честным трудом на колхозных полях, полученное на трудодни. Притихли хутора и станицы в ожидании грозы, а гроза уже зарождалась в районном центре.

Заседание расширенного бюро райкома и актива началось с того, что Овчинников перечислил колхозы, которые особенно отстали с выполнением плана хлебозаготовок.

— Это что же получается, дорогие товарищи? — вопрошал он, клонясь над столом и вглядываясь своими стального цвета глазами в сидящих в первых рядах. И сам же ответил на свой вопрос: — А получается то, что для вас, членов ленинско-сталинской партии большевиков, указание ЦЭКа и лично нашего вождя товарища Сталина на всемерное укрепление колхозного производства, на выполнение принятых обязательств, а также на борьбу с ворами и расхитителями общественного зерна и других продуктов, что для вас эти указания не являются законом. Вот что получается с фактической стороны. Вы таким преступным образом подрываете единство партии, ее авторитет в глазах рабочего класса и колхозного крестьянства, поскольку данное партией обещание летит ко всем чертям. Мы не можем потерпеть такое отношение ни к партии, ни к ее обязательствам перед пролетариями всех стран. Что это за партия, скажут они, которая много обещает, а обещания свои не выполняет? А мы так думаем, что партия тут ни при чем. Мы уверены, что некоторые товарищи партийцы пошли на поводу у кулака и подкулачников, прячут хлеб и таким макаром стараются не только подорвать авторитет партии, но и саму основу советской власти. Это есть предательство интересов трудящихся масс, и мы с этим смириться никак не можем. Поэтому я предлагаю от имени крайкома исключить из партии поименованных секретарей колхозных партячеек, которые не выполнили планов хлебозаготовок, снять их и их семьи с продовольственного довольствия и выгнать из колхоза ко всем чертям! И ставлю этот вопрос на голосование. И должен вас предупредить, что это голосование покажет, кто стоит за партию, а кто против. Итак, предлагаю голосовать списком. Кто за?

Вверх неуверенно потянулись руки. Все больше и больше. Сам Овчинников считал их, тыча пальцем в каждую поднятую руку.

— Кто против?.. Кто это там руку тянет? — рявкнул он, вытягиваясь вверх. — Ну-ка покажись на свет!

— Я голосую против, — поднялся из задних рядов Шолохов. — И хочу объяснить, почему я это делаю, — продолжил он, пробираясь к столу президиума.

— А нам и без объяснений понятно, почему товарищ Шолохов голосует против партийной точки зрения! — воскликнул Овчинников. — Товарищ Шолохов слишком возомнил о себе. Он думает, что ему все позволено. Он у нас, видите ли,

писа-атель! Книжки пишет про нашу жизнь. А только эти книжки не про нашу жизнь, а про жизнь прошлую, которую мы давно похоронили и забили в ее могилу осинового кол.

— Может, товарищ Овчинников и забил куда осинового кол, да только это еще не значит, что он его забил туда, куда нужно. Лучше бы он его на дрова пустил, — с усмешкой произнес Шолохов, повернувшись к собравшимся.

В душном помещении, где яблоку упасть некуда, задвигались распаренные тела, зашевелились головы, зазвучал сдержанный смех: Мишка Шолохов — ему палец в рот не клади.

— Так вот, — продолжил Шолохов, пробежав пальцами вдоль ремня, стягивающего гимнастерку. — Я голосую против не потому, что я против решения партии, как тут изволил выразиться товарищ Овчинников, а потому, что он взял на себя право выступать от имени партии, право, которое ему никто не давал. Это, во-первых. Во-вторых, всем известно, что нереальный план Вешенскому району по хлебозаготовкам навязал не кто иной, как этот же товарищ Овчинников. Навязал своей безграмотностью в сельском хозяйстве, своим желанием выслужиться перед начальством. И начальство в лице секретаря крайкома товарища Шеболдаева решило: ты, мол, план этот выдумал, тебе его и выполнять. И снова прислало его к нам. И товарищу Овчинникову ничего не остается, как пугать нас своими полномочиями и зычным голосом. Ну, исключим мы скопом двадцать секретарей колхозных партячеек из партии, и что дальше? Хлеба от этого прибавится в закромах? Не прибавится. Может, кого-то и надо исключить, потому что далеко не все работали активно в своих хозяйствах, проводя политику партии. Но исключать их надо там, в колхозах, чтобы народ видел, кого и за что, а не здесь. И не всех скопом. В одном прав товарищ Овчинников: хлеб воровали. Воровали на току, на пересыпке, непосредственно на севе, — где только можно. И тянули волюнку с уборкой хлеба в некоторых колхозах. Но почему воровали? Почему волюнили? А потому, что колхознику дали на заработанные трудодни столько хлеба, сколько хватит лишь на полуголодное существование. На дворе конец декабря, а районные власти уже вынуждены просить у государства помощи. С одной стороны, просят помощи, с другой, собираются отобрать последнее. А чем жить? Чем кормить своих детей? И такое положение сложилось не только в этом году. А как вели себя краевые власти в период посевной? Все знают, что они собрали семенное зерно на ссыпных пунктах и там погноили почти половину собранного. Все знают, что, благодаря такой политике краевых властей, в колхо-

зах осталось чуть больше половины тяглогового скота, да и тот, что остался, приходилось поднимать за хвосты, потому что он ложился в борозде от истощения. Кто виноват во всех этих безобразиях? Колхозники? Отчасти — да. Но более всего руководящие товарищи в крайкоме, заготзерне и прочих организациях. И товарищ Овчинников среди прочих. Это что, и есть политика партии, на которую ссылается товарищ Овчинников? В этом, что ли, состоят указания товарища Сталина? Нет, не в этом. Но с товарища Овчинникова за его безответственные действия почему-то не спрашивают. Отсюда получается, что вся обязанность особо уполномоченного прокукарекать, а там хоть не рассветай...

— Товарищ Шолохов! Что ты себе позволяешь? Своими поносными словами ты подрываешь авторитет вышестоящих партийных органов! — вскрикнул Овчинников, вскакивая на ноги. — Тебе это даром не пройдет! Всем известно, что ты якшался и продолжаешь якшаться с бывшими белоохранцами, участниками Вешенского восстания в девятнадцатом году. И свидетели на то имеются. Не отвертись! И не помогут тебе твои книжки! Тем более что этим книжкам особенно радуются белоэмигранты, а настоящим большевикам они особой радости не доставляют. Еще надо очень разобраться, на чьей стороне революционных баррикад ты стоишь...

— Уже разбирались, товарищ Овчинников. Не суетись, — пошел Шолохов тоже на «ты». — И не здесь разбирались, а в Москве. И, насколько мне известно, какую-никакую, а радость руководящим товарищам доставили. Иначе бы книги и печатать не стали. Но мы здесь собрались обсуждать не мои книги, а как нам решить судьбу наших товарищей по партии! Как нам выполнить нереальный план хлебозаготовок по Вешенскому району, который нам навязал именно ты, товарищ Овчинников. Именно твоя работа, если о ней можно так сказать, приведет не к выполнению плана по хлебозаготовкам, а к еще большему голоду. И не только в Вешенском районе, но и во всем Верхнедонье. И это точно никакой радости никому не доставит. Уверен, что за это тебе рано или поздно придется отвечать перед партией, перед народом...

— Нечего меня страшать, товарищ Шолохов. Я не из пугливых. Других страшайте, — перешел на «вы» Овчинников. — А я свою линию знаю. Я свое партийное задание выполню, даже если мне придется перерыть вверх дном все клуни и погребки в вашем районе. Будьте спокойны, товарищ Шорохов! Будьте спокойны! Моих с товарищем Шарповым полномочий хватит на все. Будем давить так, что кровь брызнет! Дров наломаем, а хлеб возьмем! И нечего тут рассусоливать, товарищ

писатель! Не ваше это дело — рассусоливать. Ваше дело подчиняться партийной дисциплине и указаниям краевых органов партии! Вы в партии без году неделя, и даже еще не в партии, а только в кандидатах, а туда же! Я вообще не понимаю, какое отношение вы имеете к нашему собранию!

— Самое прямое: я здесь живу и работаю.

— Это ничего не значит! И больше я вам слово не дам! — уже кричал Овчинников, упершись кулаками в столешницу. — Тут не место для троцкистской демагогии! И если кто-то думает, что отвергнется, то я должен предупредить, что мне даны права арестовывать всех, кто будет сопротивляться решению крайкома, и отправлять в Миллерово. Все! Дискуссия закончена! Приступаем к голосованию!

— Правильно! — закричал кто-то с места.

Все обернулись.

Из задних рядов поднялся человек в кубанке, с уродливым сабельным шрамом через все лицо — от левого глаза через нос к правой скуле. Видать, лихой рубака полоснул шашкой по его лицу, и развалил бы голову надвое, если бы ее хозяин не успел отпрянуть. И вот он стащил кубанку со своей редковолосой головы, зыркнул на всех одним глазом, заговорил, тыча пальцем в сторону президиума:

— Это я, бывший подтелковец, бывший красный партизан Кузивахин, говорю вам и еще раз повторю для тех, которые тугие на ухо: правильную линию ведет товарищ Овчинников. У нас, какой колхоз ни возьми, везде засели всякие кумовья и свойственники. Бабы на полях ишачат, а эти с карандашиком в руке ходят промеж ими, подсолнечной лузгой поплевывают, покуривают да баб же за всякие непотребные места лапают. Выродились казачки! Ни работать не хотят, ни чего прочего. А воровать — это они первые. Это ж надо — не убрать хлеба! Это все равно, что бросить родное дитя на мороз в чем мать родила. Сроду такого не водилось на Тихом Дону! А товарищ Сталин что сказал? Товарищ Сталин сказал, что нам не нужны такие граждане, которые сегодня за советскую власть, а чуть что — и против. И таких много. Всех их надо к ногтю. Чтоб, значит, остальным дышать стало легче и в прочих смыслах. А кто у нас в секретарях партийных ячеек? А? — Кузивахин оглядел зал одним глазом, отер рукавом изуродованные губы, где скопилось слюна, сам же и ответил: — Одни такие, кто больше на печи привык лежать да сопли мотать на клубок. На тебе убоже, чего нам не гоже, — так вот выбирали в секретари во многих колхозах. Ни богу свечка, ни черту кочерга! Их давно надо было из секретарей гнать поганой метлой. И из партии тоже. И такого ненор-

мального положения товарищ Шолохов не может не знать. Так кого он защищает? Лодырей и воров? В книжке, которая имеет название «Поднятая целина», у него все показано правильно, по-партийному. А в жизни он дает слабинку по своей молодости и доверчивости. Вот что я хочу вам сказать. И товарищу Шолохову, как он есть писатель и ведет в своих книжках правильную партийную линию. А что он там якшается с бывшими беляками, так ему ж надо для описания событий. Тут ты, товарищ Овчинников, хватанул лишку. Я все сказал. А там вы как знаете.

И сел, посверкивая на всех исподлобья одним светлым, как весеннее небо, глазом.

И расширенный пленум РК проголосовал большинством голосов за исключение и за жесткие меры по изъятию ворованного хлеба.

Михаил Шолохов, придя домой с пленума райкома, долго ходил по комнате в два окна, разрисованных морозом чудесными перьями и цветами. Комната эта, с книжными полками, большим столом и кушеткой, отведена ему для писательского кабинета. Он ходил по кабинету, а мысли его разбегались в разные стороны, никак не соединяясь вместе. Ясно было одно, что Овчинникова специально прислали, чтобы его руками творить произвол у них в районе. И не только по воле секретаря крайкома Бориса Петровича Шеболдаева. Тут надо брать повыше. Тут видна воля ЦеКа и самого Сталина. Тут ясно просматривается возрождение линии на чрезвычайные меры по хлебозаготовкам и отношению к крестьянству. Так ведь воровали же! И сам он писал об этом Сталину: «Во время сева колхозниками расхищается огромное количество семенного зерна». «Огромное», — это, конечно, по масштабам района, где счет идет на пуды, а не на центнеры и тонны. Тем более зерна семенного. Но он ведь Сталину писал еще и о том, что воруют не от хорошей жизни, а от страшной нужды. И это правда. Как и то, что надо бороться не с ворами, а с вопиющими по своей несправедливости условиями существования, при которых колхозник не имеет никаких прав, а одни лишь обязанности. А именно такие условия насаждаются сверху. И не только по отношению к кулаку, но и к бедняку и середняку. Даже стариков — и тех облагают налогом, хотя иные уж и штаны свои забывают застегивать. От нищего колхозника нельзя требовать высокой выработки и большого желанья работать за «палочки» в трудовой книжке... Но даже если Овчинников соберет все ворованное, он не наскребет и пяти процентов к плану. А где он возьмет остальные проценты? И как все это отразить во второй книге «Под-

нятой целины»? Ведь если описывать так, как оно есть на самом деле, получится идти против самого Сталина. А врать да еще выставлять Сталина благодетелем, это все равно что выставлять благодетелем того же Овчинникова...

Шолохов набил трубку табаком, закурил, искоса глянул на стол: на нем уже больше месяца лежит стопка писчей бумаги, на которой не появилось ни строчки. Угораздило же его родиться писателем в такое смутное время!.. Впрочем, в России, если вдуматься, для писателей все времена смутные. Следовательно, дело не во времени, а в том, как вести в своем творчестве свою линию. Пока это ему удавалось, хотя приходилось отбиваться от наскоков буквально со всех сторон — и от недругов, и от доброжелателей. Но если «Тихий Дон» он писал с радостью и даже с наслаждением, не задумываясь о последствиях, то первую книгу «Поднятой целины» приходилось вымучивать, соединяя действительность с идеалом, до которого еще ой как далеко... А этот Кузивахин — интересный тип. И у него тоже свое понятие о справедливости, своя убежденность, но такие люди не могут быть созидателями. Такие люди могут только разрушать. Однако тип интересный, в нем что-то есть от Разметнова. А главное, оба они сторонники жестких мер. И такой он не один. На них-то и держатся всякие Овчинниковы и Шараровы... А как хорошо он сказал о брошенном в поле хлебе, сравнив его с дитем... И кто бросал? Люди, которые всегда смотрели на хлеб, как на нечто святое. Значит, надо было очень постараться, чтобы поворотить их взгляды в другую сторону..

Миновало несколько дней. Скупое, без радости, встретили в шолоховском доме Новый год. А совсем недавно в этом доме собиралась вся станичная власть, играл патефон, хлопали пробки игристого цимлянского, заливалась гармонь, танцевали, пели революционные, русские народные и старинные казачьи песни. А нынче откуда взяться радости при такой жизни? Одна радость — охота да рыбалка. Да малые дети. Но и с ними никак не отвяжешься от трудных мыслей.

После расширенного пленума райкома в Вешенскую зачастили комиссии из крайкома, и все по части выяснения причин невыполнения плана хлебозаготовок. Копали глубоко — аж с сева озимых осенью тридцать первого года, подготовки к весенней посевной, затем сева и уборки. Огрехов в руководстве накопили много — и действительных, и мнимых. Почти всех руководителей районного масштаба поставили перед расширенным заседанием бюро райкома, куда Шолохову, как еще лишь кандидату в члены РКП(б), хода не было. Руководство района обвинили в преступно-небрежном

севе, в потакании расхитителям хлеба, в гибели скота, урожая, в развале колхозов, групповщине. После бурного обсуждения обвиненных выгнали из партии, прямо на бюро разоружили и арестовали. Семьи их сняли с довольствия, обрекая женщин, стариков и детей на голодную смерть, потому что в самой Вешенской ничего купить нельзя, даже картошки. Приняли повторное решение об усилении поисков спрятанного зерна, репрессий, выявлению кулацкого и белогвардейского элемента.

После каждого заседания кто-нибудь из членов райкома забегал к Шолохову и рассказывал, о чем там говорилось. Стало ясно, что тень подозрения упорно наводится и на него, Шолохова, как одного если и не самого активного участника всех этих безобразий, то хорошо о них осведомленного, но не принявшего никаких мер, не поставившего в известность краевые власти. Атака была настолько сильна и так хорошо организована, что Михаил понял: сидеть сложа руки и ждать, когда и тебя посадят в холодную, а затем отвезут в Миллерово, больше нельзя; при этом надо спасать не только себя, но и своих старших товарищей, даже если из них кто-то и виноват, потому что одному из этой свалки не выбраться.

И в начале февраля Шолохов собрался и поехал в Москву, где надеялся встретиться со Сталиным. И предлог для поездки был подходящий: готовилась к изданию отдельной книжкой «Поднятая целина».

Пробыл Шолохов в Москве около месяца, к Сталину не попал, хотя и дозвонился до личного секретаря Поскребышева, но тот сказал, что Сталин очень занят. И понял Михаил, что и не попадет, что его опередили. Ну, ходил на всякие там мероприятия по линии РАППа, официально распущенного, но все еще действующего полулегально, встречался с коллегами, выслушивал московские сплетни, читал корректуру романа, а всем своим существом продолжал оставаться на берегу Дона. И даже себе не признавался, что боится возвращаться домой, где все еще хозяйничают Овчинников и Шарапов, верша неправый суд, в котором он, писатель Шолохов, не судья, не заседатель, не прокурор, не даже свидетель, а, можно сказать, сторонний наблюдатель. Пока. Но это, если с официальной точки зрения, с юридической. А по-человечески? А по-партийному?

И в конце февраля, проходя мимо железнодорожной кассы на Тверской, Шолохов остановился, будто кто ударил его по голове, стремительно вошел и купил билет в мягкий вагон на поезд, уходящий через двадцать часов. В гостинице рассовал по чемоданам свои вещишки, московские гостинцы,

сел на диван, вспоминая, к кому должен зайти непременно, а к кому заходить совсем не обязательно. И все оставшиеся часы бегал то туда, то сюда в состоянии лихорадочного нетерпения, точно боясь опоздать, пропустить что-то очень и очень важное, без чего будущее стало бы ущербным, неполным и даже бессмысленным.

Сразу же по приезде в Вешенскую Шолохов пошел в райком, но там застал лишь дежурного: все остальные были брошены в район вытряхивать из колхозов недостающие проценты. Съездить куда-нибудь, посмотреть, как это делается на практике? А стоит ли? Действительно: без году неделя в партии, — и даже еще не в партии, а в кандидатах, — а лезет во все дырки. В конце концов, Овчинников с Шаратовым не сами по себе, а с мандатом от крайкома. Время горячее, наживать себе новых врагов... Но вот беда: не пишется — и все тут. С одной стороны, надо заканчивать «Тихий Дон», с другой — «Поднятую целину». Чем заканчивать «Целину», он не знал, да и с «Тихим Доном» не было ясности. А как все легко и хорошо начиналось...

В Москве как-то пожаловался на это Александру Фадееву, бывшему заместителю секретаря бывшего РАППа. А тот лишь возмутился:

— И какого черта не видел ты в своих Вешках? Раскулачивание? Детишки, бабы? Голодуха? Так не только у тебя на Дону. И на Кубани, и на Волге, и в Сибири, и на Украине — почти везде одно и то же! Кулаки хлеб не хотят сеять, потому что для собственного пропитания имеют запасы на несколько лет вперед, думают этим удушить революцию, а ты их жалеешь... Вроде бы ты не из интеллигентов, чтобы слюни распускать по такому поводу. Материала мало? Че-пу-ха! Мне моей жизни на Дальнем Востоке хватит на десятки романов и повестей. Уверен, что и тебе тоже. Тем более, что главную свою книгу ты уже почти написал. Давай, не тяни, перебирайся в Москву. Квартиру мы тебе обеспечим по высшему разряду. Дачу — какую хочешь. И где хочешь. Хоть в самом глухом лесу.

— Да не люблю я город, — отбивался Шолохов. — Шумно тут у вас. Простору нет. А у нас в степи...

— Э-э, заладила сорока, да все не с того бока! — отмахнулся Фадеев. — Кто тебе станет мешать проводить лето в твоей степи? Никто! К тому же ты не учиываешь того весьма немаловажного факта, что там, в своих Вешках, в своем большом доме, какие имели купцы первой гильдии, со своим выездом, своим авто, своей прислугой, со своим непонятным для твоих казачков занятием ты выглядишь белой вороной и

самым настоящим — не побоюсь этого слова — буржуем. А здесь, в Москве, таких, как ты, пруд пруди. И никто в тебя пальцем тыкать не будет, никто слюни от зависти распускать не станет. Ну, разве что уроды какие-нибудь, так на них плевать и растереть.

Разговор не нравился Шолохову. И если бы один Фадеев давил на него в этом же направлении, а то все, кому не лень.

— Извини, Саша, но мне перед отъездом еще надо побывать в нескольких местах. А замечания твои и предложения я учту.

«Как же, — думал он, шагая по Тверской, — напишешь тут с вами. Эта чертова столичная жизнь затянет, писательские дразги будут отнимать время и мысли, да еще навешают всяких обязанностей и поручений, не до писательства станет. Тот же Фадеев что-то не очень горазд на романы и повести. Написал «Разгром» — и встал, раскорячившись, как тот неподкованный конь на чистом льду посреди реки. А те, что пишут, — все больше о всяких фантазиях, далеких от жизни. Как Панферов в своих «Брусках». Нет уж, минуй меня чаша сия... Хотя и у себя дома тоже не медом мазано: одни тянут в одну сторону, другие — в другую. Но там хоть все родное, знакомое до последней былиночки, там — жизнь, и даже неурядицы — тоже часть жизни, ее неременная оборотная сторона, которую из Москвы не разглядишь. А что не пишется... так это с какой стороны посмотреть. С одной стороны, это время все-таки даром для тебя, писателя, не проходит: оно обогащает жизненный опыт, позволяет глубже проникать в самую суть событий. С другой стороны, жаль потерянного времени, тем более что главное ты все-таки знаешь, а частности... их все не перечтешь, в книжку не вставишь. Но вот беда: уходят дни и месяцы не просто твоей жизни, а уходит вспять некая приливная волна, на гребне которой ты и взлетел. Уйдет волна, оставив мокрый песок, копошащихся в нем мелких тварей, ракушки и водоросли, а это уже для других книг, для другого мира, потому что никто не знает, как оно будет завтра, как повернется и в какую сторону».

Обо всем остальном Шолохов старался не думать. Все остальное: дом, авто и прочее, московские порядки, о которых не стесняясь говорил Фадеев, разгульная жизнь тех, кто приближен к власти, скудное существование рабочих и мелких служащих — все это било в глаза, объяснялось остатками нэпа, с которым скоро покончат, но покончат ли, это еще вопрос.

А в станице... А что в станице? Всегда найдутся завистники и даже враги. Лично ему стыдиться нечего: он свое зара-

ботал трудом. Да и деньги — они ведь для того и существуют, чтобы тратить, и он их никогда не жалел.

На хуторе Волоховском, приписанном к Лебяженскому колхозу имени товарища Ворошилова, в хуторском правлении за столом сидят представитель крайкома ВКП(б) Шарапов, по правую руку от него секретарь колхозной партиячейки Струмилов, недавно выбранный на эту должность вместо выгнанного из партии Гордея Ножеватого, по левую — председатель колхоза Чумиков. По бокам двое комсодовцев.

Напротив них строит, переминаясь с ноги на ногу, колхозник лет сорока пяти, с вислыми усами на задубелом лице, кряжистый, кривоногий, мнет в корявых ладонях папаху серой мерлушки.

— Признавайся, Малахов, где яма? — стучит в такт словам Шарапов рукоятью револьвера по столу. — Твой сосед Гордей Ножеватый показал, что ты воровал колхозное зерно и прячешь его в яме. Он, правда, не знает, где она расположена, но мы все перероем, а яму найдем. И тогда тебе вышки не миновать. Для тебя же лучше, если ты укажешь ее сам...

— Да какая яма! Откель она могёт взятъся, дорогой товарищ? Вы хоть у Чумикова спросите, хоть у Струмилова, кто есть Филипп Малахов. Я все эти три года, что состою в колхозе, ни зернышка колхозного не взял, ни травинки. А что было заработано, так вы же и забрали. Уже какую неделю вся семья живет на мякине... У жены ноги пухнут, у детей зубы качаются...

— Ты, кулацкая сволочь, нам мозги не пудри! На жалость не дави! Мы не из жалостливых, — повышает голос до крика Шарапов. — По твоей милости рабочие пухнут от голода, бойцы нашей славной Красной армии. Нам их жалко, а тебя и твоих выпоротков мы жалеть не обучены...

— Да врёт все Ножеватый, дорогой товарищ! Наговаривает, потому как из партии выгнанный, — чуть не плачет от обиды Малахов. — Отродясь ничего чужого не брал, все своим горбом зарабатывал. У меня одних трудоднёв семьсот штук. Говорили, кто хорошо работает, тот и есть хорошо, а что получается?

— Агитацию разводишь, тварь паршивая? За такие слова мы из тебя душу вынем! А пока посиди в холодной и подумай хорошенько, что может статься с тобой и твоими щенками, если мы возьмемся за тебя всерьез.

Один из милиционеров проводил Малахова в бревенчатую пристройку, у двери которой топтался молодой парнишка из комсомольского актива в огромной не по росту овчин-

ной шубе. Из заиндеветого воротника, из-под папахи торчал лишь красный нос его, да посверкивали серые глаза. Старую берданку активист держал как ребенка, прижимая ее к груди руками, утонувшими в длинных рукавах.

Милиционер отпер ключом амбарный замок на массивной двери, пропустил внутрь арестованного и, подмигнув сторожу, снова запер. И прижался ухом к двери, прислушиваясь.

Какое-то время там было тихо.

Малахов, войдя с яркого света, которым был до краев наполнен морозный февральский полдень, ничего не видел в полумраке, шарил руками в поисках стены или другой какой путеводной опоры. Затем спросил:

— Есть тут кто, али нету?

— Это ты, кум? — послышался из угла знакомый хриловатый голос бывшего секретаря колхозной партячейки Гордея Ножеватого. — И тебя сюда ж упекли? Не помог тебе наговор на своего кума, пес кривоногий.

В углу завозились, и Малахов разглядел темную глыбу своего кума, медленно, с кряхтением поднимающегося на ноги.

— Значит, говоришь, яма у меня на базу? — хрипел бывший секретарь, приближаясь к Малахову. — Пашаничку я там прячу ворованную? Ах ты, сучий оглызок! Да я, бывший буденновец, и чтоб допустить себя до такого сраму? Да я из тебя душу выну, кочерыжка тухлявая!

— А ты? Ты-то с какого панталыку на меня напраслину возвел? Какие у меня могут быть ямы? Да я больше всех в колхозе пупок надрывал! Это ты, большевик вшивый, все по заседаниям да по всяким собраниям штаны протирал! Это твоя Авдотья хвасталась, что у вас мясы не переводятся и в щах и с картошкой...

Раздался тяжелый хруст, будто переломилось что, охнул Филипп Малахов, отлетев к стенке.

— Ах, ты так? Ты так, значица? Ну, держись! — тоже с хрипом выкрикнул он и, оттолкнувшись от стены, ударил Ножеватого прямым тычком, без замаха, будто гвоздь вгонял в его голову своим чугунным кулаком.

Теперь уже Корней Ножеватый охнул и выплюнул вместе с кровью выбитые зубы. Но не успел он малость очухаться, как получил еще одну оплеуху, да такую, что голова мотнулась, будто тряпичная, и внутри у нее загудело, а в глазах замелькали огненные сполохи. Однако от следующего удара Корней все-таки как-то увернулся и тут же кинулся головой вперед, целя в живот своему куму. И достиг-таки намеченной цели, потому как сызмальства имел такую жизненную установку. Филипп согнулся, хватая открытым ртом непо-

датливый воздух, а Корней, сам едва держащийся на ногах, молотил его кулаками по чем попало, изрыгая из своей утробы самые дикие ругательства, какие только знал.

Но тут еще один сиделец, Андрей Конников, оттащил его в сторону и толкнул в угол.

— Того не сообразите, дурачье, что этот Шарапов стравил вас, как тех кобелей, чтоб вы сами себя довели до последней возможности. Тоже мне кумовья: один дурак идейный, другой дурак за просто так.

— Ну, ты, Тимоха, мою партийную идейность не замай. А то я не посмотрю, что ты эскадронком командовал у товарища Буденного, а харю твою разукрашу.

— Отдышись покамест да мозгой своей пораскинь. Может, чего и надумаешь. Я не удивлюсь, если сей же час кого-нибудь сюда втолкнут, и он кинется с кулаками на меня. Хоть бы и мой сосед, единоличник Митька Зюгалов. Тоже большой любитель кулаками помахать...

И как в воду глядел: через какое-то малое время, едва Малахов с Ножеватым, отплевавшись кровью и отдышавшись, свернули по сигарке и закурили, сидя, однако, в разных углах и зверьми поглядывая друг на друга, в дверь втокнули Зюгалова. И этот начал с того, что, ничего не видя со свету, стал ругмя ругать Андрея Конникова, который наклепал на него, Зюгалова, будто у него имеются аж целых три ямы, в которых он держит зерно аж с позапрошлого, урожайного года.

Все трое, слушая его ругань, зашлись хлюпающим смехом, приведя Зюгалова в полнейшее изумление.

— Чего ржете, жеребцы станичные? Вам хорошо ржать, а с меня обещали три шкуры спустить за ворованное зерно... — И, прислушавшись к смеху, спросил: — А никак и ты, Андрияха, тута обретаешься? Ах ты сучий потрох! Да я тебя!..

— Стой, Митька, охолонись малость! — прикрикнул на Зюгалова Ножеватый. — Тут мы все одним налыгачем повязаны, как быки в борозде: ты с Конниковым, а я с Малаховым... Но если имеешь желание подраться... зубы у тебя лишние или еще что, то давай, а мы с кумом уже посчитались, кто кому больше зубов выбил. Получается, что он мне на один больше. И я ему это припомню.

— Вот так-то, как собак, и надо их стравливать, — удовлетворенно потер свои руки Шарапов, выслушав доклад милиционера. — И дальше ведите такую же политику, —ставлял он хуторских активистов. — Пусть друг на друге волосы рвут, морды бьют до крови. А сами идите в другую бри-

гаду, и там то же самое. Не поможет, гоните на улицу семьи, не глядя на баб и детишков. Пусть подышают на морозе, а зерно возьмите. И никакого слюняйства по отношению к ворам и кулацкому элементу. А я на пару дней сгоняю в Чукаринский колхоз. Организую там дело и вернусь к вам с проверкой.

К вечеру в холодной сидело уже человек двадцать казаков, в большинстве своем колхозников, но среди них было и несколько единоличников. А по куреням пошли комсодовцы, милиционеры и активисты, выгоняя на улицу, на мороз баб, стариков, детишек — всех подчистую, кто добровольно не хочет сдавать зерно, хоть бы и заработанное честным трудом.

За окном бешено прострекотали копыта, всхрапнул круто осаженный конь, звякнула щеколда открываемой калитки, послышались голоса жены и чей-то мужской, до боли знакомый. Затем хлопнула входная дверь, проскрипели половицы под тяжелыми шагами. В дверь тихо постучали, голос жены известил:

— Миша, к тебе приехали...

И почти тотчас же дверь распахнулась, и на пороге встал бывший секретарь партячейки Лебяженского колхоза имени товарища Ворошилова Гордей Ножеватый, в заиндевелем полушубке, с плетью на руке, с лицом в синяках и кровоподтеках.

— Я к тебе, Ляксандрыч! — будто выплюнул он с хрипом разбитыми губами. И пояснил: — Никого в райкоме нету. Не обессудь.

Михаил подошел, пожал руку, предложил:

— Пойдем разденешься: жарко тут у нас, сопреешь.

— Да я на час: рассиживаться времени нету.

И все-таки Шолохов раздел его, провел к себе, шепнув жене, чтобы позвала фельдшерицу и приготовила чаю, усадил гостя на кушетку, предложил:

— Рассказывай.

— Да что тут рассказывать? Страшные дела делаются у нас в районе. Пока ты ездил в Москву, Овчинников с Шароповым тут такую деятельность развернули, что я тебе и описать не могу. Уж чего-чего в жизни своей ни повидал, думал: все это в прошлом, и сам там, в этом прошлом, много чего наворочал по злобе да по глупости своей, а такого видеть не доводилось. Веришь, Михаил, иногда хочется взять шашку и пойти рубать, как... как в гражданскую... с оттяжкой... потому как другого выхода на сегодняшний текущий момент не вижу...

Шолохов заметил пену на губах у бывшего буденновца, а затем командира чоновского отряда, подошел к шкафчику, достал графин, налил из него в стакан до половины, поставил перед Ножеватым.

Тот взял стакан, молча опрокинул его в глотку, отерся рукавом гимнастерки. Прохрипел:

— Тут никакая водка не поможет. Разве что застрелиться... Или рубать... рубать всех этих Овчинниковых, Шараповых и всяких других... Вот ты, Михаил, скажи мне начистоту.. Ты с товарищем Сталиным встречался — он, что, ничего про это не знает? Про все эти безобразия не знает? Ему, что, не докладывают?

— Думаю, что докладывают, но далеко не всё. А если и говорят о перегибах, то лишь по отношению к злостным врагам советской власти... Такое у меня сложилось впечатление...

Вошла жена Михаила Мария с подносом, стала расставлять чашки и чайники. Шепнула:

— Фельдшерица в отъезде... — Посмотрела на мужа вопросительно. — Может, я сама?

И оба глянули на Ножеватого.

А тот, уронив голову на валик кушетки, спал, постанывая и похрапывая.

Когда-то, еще в двадцатом, Шолохов, тогда пятнадцатилетний подросток, служил в чоновском отряде под командованием Гордея Ножеватого. Гонялись за мелкими бандами, осуществляли продразверстку. В двадцать первом оба попали под трибунал «за превышение полномочий». Жестокое было время, мальчишки выросли быстро, а ума, знаний не прибавлялось, зато ожесточение не знало границ, и в каждом казаке чудился враг. Теперь Михаил, оглядываясь с высоты своего возраста и знаний о том времени, так бы не поступал. Но тогда сдерживать их безрассудство было некому, а взрослые даже поощряли жестокость и насилие.

— Ладно, потом. Пусть спит, — промолвил Шолохов после недолгого молчания. — А я пока пойду заседлаю Орлика. — И пояснил: — Смотаюсь в Лебяженский. Что-то там не то.

— Только, ради бога, поосторожней! — взмолилась Мария, прижимая руки к груди. — А лучше бы не ездил ты туда. Ну что ты там сможешь сделать? Один-то...

— Как это не ездить? Что ты, Маша! Да я сам себя уважать перестану.

— Револьвер-то хоть возьми: мало ли что.

— Зачем? Там же люди.

Еще издали Шолохов с Ножеватым услышали надрывные женские вопли и детский, безутешный рев. Казалось, весь

хутор стоном стонет по покойнику, или туда ворвалась степная орда, хватает девок и детишек, чтобы продать жиду-перекупщику, а уж тот погонит пленников в Багдад или в Персию на невольничьи рынки. Шолохов даже глаза прикрыл и представил на миг эту картину из далекого прошлого, о котором знал только по рассказам стариков да из истории Ключевского, и от этого представления мороз пробежал по коже, будто скакал он по морозу совершенно раздетым.

Бабы вопли и детский рев не умолкали, и когда они въехали на хуторскую улицу, вопли эти стали особенно невыносимы. Почти по всему хутору на улицах и в проулках там и сям горели костры, ледяной ветер рвал пламя, прижимал к земле, а возле костров, с подветренной стороны, неуклюже шевелились темные фигуры, закутанные в тряпье, озаряемые неровным красноватым светом, будто справляющие некий языческий обряд.

Соскочив с коня, Михаил направился к первому же костру, с каждым шагом чувствуя, что ему не хватает дыхания. И не от дыма, стелившегося понизу, не от ледяного ветра, бьющего в лицо поземкой, а от ледяного ужаса, который объел его душу.

— Давно на улице? — спросил он у толстой бабы, прижимающей к себе малого ребенка.

— Третий день... сило-ов уж никаких нету-ууу! — завывала баба еще громче. — Не спамши, не емши, дети мерзнут-ут... снег разгребем, костром землю нагреем, соломы накидаем, так и спи-им... А какой сон? Гос-споди-иии! В сарай не пускают, соседи тоже боятся пустить, а всё ямы проклятые-еее! Откудова у нас ямы-ыыы? Погреба есть, так все вычистили. Огурцы соленые — и те забра-али-иии. На одной мороженой картошке живе-ем! Да на поло-ове-еее! И за что нам такие муки-иии? Будь же они все прокляты-ы, что выдумали энтти колхозы и энтую вла-ась! — выла баба, раскачиваясь из стороны в сторону, а из кучи тряпья доносился тоненький писк, мало похожий на писк ребенка, а разве что котенка или щенка.

Шолохов вспрыгнул на Орлика, пустил его наметом к хуторскому правлению. Возле крыльца соскочил, взлетел по ступенькам, рванул дверь, шагнул вместе с морозным облаком в жарко натопленное помещение, где по лавкам сидело человек пять активистов. Не здороваясь, прошел к двери председателя хуторского совета, встал на пороге. Трое подняли на него лохматые головы, уставились вопросительно мутными глазами.

— Поч-чему такое? — выдохнул Шолохов, стеганув плетью по столу, за которым сидел знакомый ему казак Подши-

валов, лет уже за пятьдесят, из бедняков, всю жизнь проработавший по найму да на отхожих промыслах.

Подшивалов с испугом глянул на Шолохова, то ли не узнавая его, то ли делая вид, что не узнает.

— А шо? А шо такое? Ничего такого мы и не делаем. Все по инструкции. Все, значица, для пользы дела.

— Для какого дела, мать вашу?.. Для какой пользы морозите баб и детишек на улице? Для какого такого дела морите их голодом? Сам потом будешь пахать и сеять? Сам страну кормить станешь хлебом? С тебя работник, как с паршивой собаки шерсти...

Шолохов задохнулся, рванул застешки полушубка, бросил на стол папаху. Сел. Расстегнул ворот гимнастерки. Заговорил, сдерживая ярость:

— Овчинников с Шарповым ответят по всей строгости за этот произвол, за измывание над людьми. И вы вместе с ними. Думаете, вам это сойдет с рук? Не сойдет.

— Тю-у! — воскликнул отпавившийся от испуга Подшивалов, и на его сморщенном хитроватом лице появилась наглая ухмылка человека, который вполне сознает свою безнаказанность. — Да ты, товарищ Шолохов, охолонь малость! А то дюже мы спужались тебя! Того и гляди, в штаны наложим! Ха-ха-ха! Прискакал! А кто ты такой по всей видимости? Секретарь райкома? Председатель рика? Видали, казаки? — обратился он к сидящим вокруг стола активистам. И те тоже заржали, и только теперь Шолохов понял, что они пьяны, что уговаривать их бесполезно.

— Я имею право знать и расследовать, на каком основании вы измыываетесь над людьми, — заговорил Шолохов, высекая каждое слово, точно искру из кремня, вперив глаза в бегающие глазки Подшивалова.

— А на том основании, товарищ, — вступил в разговор один из присутствующих, лет тридцати с небольшим, с тяжелым неломким взглядом черных глаз, — что эти бабы и детишки, как ты их величаешь, есть кулацкое семя, мужиков их мы отправили в Миллерово, а с них требуем открыть ямы. А они ни в какую. Так что прикажешь делать? Любоваться на них? А вот этого не хочешь? — и сунул под нос Шолохову черный кулак, из которого торчал толстый палец, укрытый, как степная черепаха панцирем, толстым ногтем с черной каймой.

— Ты-ы... — Шолохов вскочил на ноги. — Дулю мне под нос? — И рванул казака за ворот гимнастерки, придавливая его тело к столу.

Но тут вскочили остальные, и худо пришлось бы Михаилу, если бы в комнату не ворвался Ножеватый с разукрашенной рожей, загородив всю дверь своей широкой фигурой.

— А ну! — рявкнул он и выхватил из кармана револьвер. — Перес-стреляю всех, суцые племя!

Шолохов отпустил казака, сел. Произнес как можно спокойнее:

— Добром прошу: прекратите эти безобразия. Если и есть среди них кулаки, то их не так уж и много. А чтобы почти весь хутор ходил в ворах да кулаках, да выгонять на мороз безвинных баб и детишек... Я сегодня же дам телеграмму товарищу Сталину об этих беззакониях. И никому из вас это даром не пройдет.

Встал и вышел за дверь.

В ту минуту он верил, что даст телеграмму, что тут же из Москвы придет комиссия и наведет порядок. Потому что такое измывание над людьми нельзя допускать даже и на минуту, а тут третий день... на лютом морозе... с детишками... У-ууу!

На улице кое-где еще горели остатки костров, но людей уже не было видно.

— Я сказал им, — пояснил Ножеватый, — чтобы шли по домам. Еще сказал, что если у кого имеются излишки, отдали бы добром... — Помолчал, задрал голову в звездное небо, раскинувшееся над головой из края в край, на тонкий серпик месяца, повисший над дальним кряжем, вздохнул: — Если б только у нас одних такое, а то по всему району. Везде не успеешь, да и не везде сойдет с рук: уж больно они за собой большую силу чувт, потому и казнят народ, как вздумается. В других местах, сказывают, и того хуже: и бьют, и в проруби топят... не до смерти, нет, а вынут, поспрошают, не скажет, где яма, опять в прорубь. А то баб насилуют скопом или вешают на ремнях за шею, сымают, дают очухаться, и опять... — Помолчал, спросил: — А что, Ляксандрыч, Сталину и впрямь отпишешь про эти безобразия?

— Отпишу, — ответил Шолохов твердым голосом, чтобы у Ножеватого не возникло ни малейшего сомнения в его решимости. Затем подошел к крыльцу, прямо с него вспрыгнул на своего Орлика, стегнул плетью — и белый конь и белый же полушубок тут же исчезли в белой мгле, но долго еще Ножеватый слышал удаляющийся стрекот копыт по мерзлому снегу.

— Ну, дай тебе... как говорится, а мы тут как-нибудь переживем эту напасть, — пробормотал он.

«Дорогой товарищ Сталин», — начал Шолохов с чистого листа. И задумался. Затем зачеркнул слово «Дорогой», сократил слово «товарищ» до одной буквы «т» с точкой, решив,

что и так сойдет. В конце концов, если исходить из устава партии, они со Сталиным ровня, то есть товарищи по партии. А должности — это уже потом. Хотя я понимал, что не будь у Сталина его должности, и писать бы ему не стоило. Но понимать — одно, а чувствовать — совсем другое. Однако дальше этого усеченного обращения к вождю дело не шло. То ли потому, что впечатления были еще настолько свежи и так будоражили душу, что из нее рвался один лишь протяжный вопль, то ли не было уверенности, что надо обращаться именно к Сталину, то ли сдерживала обида, что не принял Сталин его, не посчитал нужным.

Да и какой толк от прошлых с ним встреч? Можно сказать, никакого — одно разочарование, да и только. И что толкало его, Шолохова, к Сталину? Обычная для России надежда на «царя-батюшку»? Ну, написал он Сталину в прошлом году два коротких письма, ну, принял тот его в Кремле — и что? Да ничего! Как шло дело наперекосяк, так и продолжает идти.

А ведь это была уже вторая встреча со Сталиным. Первая состоялась еще в 1931 году, в декабре, и продолжалась всего пятнадцать минут. Помнится, тогда в дверях он, Шолохов, столкнулся с выходящим из сталинского кабинета главным редактором «Правды» Мехлисом, о котором много слышал всякого, и поразился этому вроде бы знакомому по портретам лицу: оно было надменным и тупым. А говорили, что у него лицо фанатика — ничуть не бывало. Потом... потом комната охраны, за ней довольно большой кабинет, отделанный деревом, стол, а возле него Сталин.

Шолохов пошел к нему по красной ковровой дорожке, а Сталин, что-то отложив, — ему навстречу. Встретились почти посредине, руки соединились в пожатии, рыжеватые глаза из-под кустистых бровей, узкий лоб, рыжеватые же усы и виски, сероватое лицо в оспинах, маленький рост... — все это Шолохов схватил взглядом, а сердце так стучало, что казалось — вот-вот выскочит из груди. И в голове ни единой мыслишки.

— Так вот вы какой, товарищ Шолохов, — произнес Сталин будто бы с удивлением, а глаза... глаза, точно два ствола, заряженных волчьей картечью. — Неудивительно, что ваши коллеги по перу так, мягко говоря, изумились, прочитав первые книги «Тихого Дона», — продолжил он раздумчиво, точно говорил сам с собой. — Но так, собственно, и должно быть: талант себя с особенной силой проявляет в молодости. Взять хотя бы Лермонтова... Или я не прав? — И повел к столу.

— Не знаю, товарищ Сталин: как-то не задумывался об этом, — честно признался Михаил.

И дальше, торопясь, боясь показаться многословным и отнять слишком много времени у такого занятого человека, заговорил о том, что так, как ныне, хозяйствовать нельзя, так единоличника в колхоз не заманишь, а самого колхозника работать в полную силу не заставишь.

А Сталин ему: новое, мол, всегда пробивает себе дорогу со скрипом, старое сопротивляется, люди учатся на своих ошибках, безошибочных рецептов на все случаи жизни нет и не может быть...

А он Сталину свое: все это, мол, так, но это взгляд сверху, издалека, когда не на твоих глазах голодает ребенок, тем более что можно и нужно по-другому...

А Сталин продолжал учительствовать своим размеренным тихим голосом, но все о том же: не власть виновата, а обстоятельства, сопротивление кулаков, дикость и невежество крестьян, отсутствие опыта у руководителей, необходимость индустриализации, капиталистическое окружение, вероятность близкой войны... Все эти трудности надо пережить, стиснув зубы, без нытья и паники...

Через несколько минут зашел Ворошилов, еще чуть позже, Орджоникидзе, молча сели, глубокомысленно уставились на Шолохова, как на некое чудо, хотя он знаком с обоими.

А еще в памяти осталось ощущение стены, которая неколбимо стояла между ним, Шолоховым и Сталиным, и всеми другими, кто присутствовал в его кабинете, стены невидимой, но реально существующей, которую не прошибить ни криком, ни камнем. И долго потом, вспоминая эту встречу, Михаил не мог понять, сам ли воздвиг эту стену, почувствовав свою малость перед великими мира сего, или она существовала помимо его воли. Так и не решив ничего, перестал об этом думать. Тем более что со временем, по мере того как все чаще общался с этими «великими мира сего» и разглядел их весьма призрачное величие, начало истончаться и чувство собственной малости, на смену ему пришло другое — чувство превосходства, и стена между ними тоже стала тончать, но совсем не исчезла, осталась та ее часть, которую вводили они, и прежде всего Сталин.

Вторая встреча продолжалась почти час. С самого начала присутствовали все так же безмолвные Молотов и Ворошилов, будто их пригласили быть свидетелями. Правда, Сталин пытался втянуть их в разговор, но они отделялись незначительными фразами.

— Ничего не читают, — махнул рукой Сталин. — Времени, говорят, не хватает. У одного товарища Сталина времени хватает на все. Чего с них возьмешь?

Шолохов, стараясь говорить кратко и конкретно, на этот раз упор делал на то, что краевая власть бесконтрольна, безграмотна, распоряжения ее нелепы, а возражения работников с мест принимает в штыки, считая эти возражения подрывом советской власти и своего авторитета.

И снова Сталин утешал: дайте время, товарищ Шолохов, время рассудит, придут новые люди, грамотные и умные, а в общем и целом политика партии правильна, базируется на марксизме-ленинизме...

Так стоит ли повторять пройденное? Не лучше ли поехать в Ростов, добиться приема у Шеболдаева и втолковать ему, что так обращаться с людьми нельзя?

Да, пожалуй, он так и сделает. Тем более что Сталин не раз во время тех встреч делал упор на то, что ему, Шолохову, надо находить общий язык именно с краевыми властями, точно он, Шолохов, занимает какую-то высокую партийную должность.

Но время, время — вот что поджигает.

До Ростова Шолохов добирался два дня: пока на санях до Миллерово — а это более ста шестидесяти километров — затем от Миллерово на поезде до Ростова. И прямо с вокзала — в крайком партии.

Шел по длинным, тихим и безлюдным коридорам, застланым толстыми ковровыми дорожками, шел, закусив губу, стараясь не растерять решительности, с которой покидал Вёшенскую. Приемную, в которой на стульях вдоль стены дожидалось человек десять, все с портфелями, все как-то неуловимо похожие друг на друга, миновал молча — и сразу же к двери с бронзовой табличкой.

Секретарша вскочила и в голос:

— Товарищ! Вы куда? Там совещание!

Рванул дверь — одну, вторую. Перешагнул порог, увидел Шеболдаева за своим рабочим столом, сухого, поджарого, с аскетическим лицом, чем-то неуловимо похожего на Мехлиса, и еще человек пять-шесть, сидящих за столом для заседаний.

Шеболдаев что-то говорил, увидев Шолохова, споткнулся, уставился на него маленькими настороженными глазками из-под нависших бровей, перевел эти глазки на секретаршу, вцепившуюся в рукав Шолохова, а та:

— Я сказала товарищу, а он не послушался...

— Оставь, — коротко бросил Шеболдаев. И к Шолохову, который шел прямо к его столу: — У меня прием по личным вопросам...

— У меня, товарищ Шеболдаев, вопрос не личный и не терпящий отлагательства. Вы! — Шолохов нажал на это сло-

во так, что оно зазвенело, и повторил еще раз: — Вы!.. направили в Вешенский и Верхне-Донской районы Овчинникова и Шарাপова, наделив их чрезвычайными полномочиями! И ваши!.. полномочные представители вершат в этих районах суд и расправу с колхозниками и единоличниками, какие не вершила в этих краях даже деникинская контрразведка. Они выгоняют баб и детишек на мороз, не пускают их в хаты, не дают им брать с собой теплые вещи и еду, пытаются людей средневековыми пытками, стравливают между собой, мешают в кучу кулаков, середняков и бедняков, честных работников с ворами и бездельниками! И только для этого вы дали им такие полномочия? И вы думаете, что такими варварскими методами вы получите недостающие проценты к нереальному с самого начала плану хлебозаготовок?

— Нет, какая наглость! — воскликнул человек в военной форме с малиновыми петлицами и звездами на рукавах гимнастерки, вскакивая из-за стола. — Ворваться на заседание и в таком тоне...

— Пойдите, товарищ Шолохов, — замахал обеими руками Шеболдаев и на Шолохова, и на военного. — Мы всё знаем об этих перегибах. И как раз сейчас решаем с товарищами, как исправить положение в лучшую сторону. Вы приехали как раз вовремя, — зачастил он. — Честно говоря, я даже думал послать за вами, чтобы вы потом осветили наши решения на страницах партийной печати. Но, сами знаете, какие у нас дороги... Садитесь. Это хорошо, что вы приехали. Очень хорошо. — И Шеболдаев, как-то враз переменившись, вышел, широко улыбаясь, из-за стола с протянутыми руками, схватил руку Шолохова и несколько раз энергично встряхнул, повторяя одно и то же: — Очень хорошо, что вы приехали. Очень хорошо. — Похлопал несколько раз по плечу, провел к столу, и сам усадил, выдвинув из-под стола стул с гнутой спинкой. Затем вернулся на свое место и, нажав кнопку звонка, распорядился, едва приоткрылась дверь: — Чаю! — И, показав рукой на пепельницы, расставленные на столе, предложил: — Курите, товарищ Шолохов. Я полагаю, что вы прямо с поезда.

— Так оно и есть, — ответил Шолохов, несколько растерянный от такого неожиданно радушного приема.

— Да, так вот, пока там приготавливают чай, я хочу посвятить вас в наши проблемы... Да, сперва о присутствующих... Это вам начальник НКВД края, это вот мои заместители, это вот председатель крайрика, — тыкал он пальцем в сидящих неподвижно надутых людей, которых, судя по всему, появление Шолохова ничуть не обрадовало. — Мы все с большим

интересом читали вашу «Поднятую целину», целиком и полностью одобряем линию, которую вы в ней проводите, и сам товарищ Сталин звонил нам в Ростов и советовал не повторять ошибки, которые были допущены на начальной стадии коллективизации, которые вы с таким, можно сказать, блеском описали в образе... в образе этого... — Шеболдаев пошелкал в воздухе сухими пальцами, и кто-то подсказал: «Разметнов». — Да-да, в образе Разметнова. Честный коммунист, преданный партии, но с левым, так сказать, душком. Что подделаешь, такие люди еще не перевелись. Но не прикажете же ставить их к стенке! Их надо перевоспитывать! Да! Именно перевоспитывать и направлять их кипучую энергию в русло партийных решений и указаний товарища Сталина. Это золотой фонд нашей партии. Энергия, напор всегда отличали истинных большевиков. Их надо поправлять, указывать на их ошибки, и тогда они своротят горы. Других кадров, к сожалению, у нас нет. Другие кадры, грамотные и сознательные, еще только подрастают. На это нужно время. А его у нас тоже нет..

Секретарша прикатила столик с чайниками и стаканами, с вазами и вазочками, с пирожками, булочками, печеньем.

— Угощайтесь, товарищ Шолохов, — широким жестом предложил Шеболдаев. — И мы с вами заодно. А то за работой иногда забываешь перекусить.

Шолохов не успел оглядеться, а рядом с ним уже стоял стакан в мельхиоровом подстаканнике, и тихий ласковый голос спрашивал из-за спины:

— Вам крепче? А сахару? Четыре кусочка достаточно? И лимон? Пейте на здоровье... Вот пирожки, булочки...

Весь запал злости и даже ненависти у Шолохова прошел. Он-то думал, что придется ломиться в двери, стучать кулаком, доказывать, доказывать и доказывать, потому что все эти беззакония и мерзости пришли отсюда, а оказалось, что и ни всё знают, всё понимают и уже принимают меры.

Выходит, зря ехал?

А рядом продолжал журчать голос Шеболдаева:

— Кстати сказать, в ваш район уже послан член крайкома товарищ Зимин, послан разобраться и принять самые решительные меры... Вы, наверное, с ним разминулись. Но это ничего. Ничего страшного. Главное — результат. Не правда ли?

— Да, конечно, но...

— И никаких но! — замахал руками Шеболдаев. — Мы, как и вы, как и весь советский народ, как и вся партия, заинтересованы в том, чтобы страна шла вперед семимильными шагами, потому что, как сказал товарищ Сталин, если

мы за десять лет не пробежим то расстояние, на которое большинству развитых капиталистических стран понадобилось не менее ста, то нас сотрут в порошок. Мы это очень хорошо понимаем и делаем все, чтобы темпы строительства нового мира постоянно ускорялись. А в этом случае, как я уже сказал, обойтись без ошибок не получается. Как говорится, конь о четырех копытах, да и тот спотыкается. Главное, чтобы эти ошибки устранялись как можно быстрее.

Ему, Шолохову, так и не дали сказать. Беспрерывно звучал сладенький голос Шеболдаева — а глаза жесткие, настоженные — затем такими же сладкими голосами докладывали ответственные товарищи о том, что сделано, чтобы исправлять там и сям допущенные перегибы, кто куда послан для этого и какие идут с мест сообщения.

Шолохова закрутили. Его возили в школы, институты, на заводы и фабрики, где он рассказывал о том, как писал свои книги, о встречах с писателями Серафимовичем и Горьким, о чем говорил с товарищем Сталиным на приеме в Кремле в прошлом году, понимая при этом, что говорить всю правду нельзя, а говорить неправду — тем более, вот и в газетах ни слова о голоде и перегибах, — и это его бесило и наполняло душу дремучей тоской, речь становилась корявой, то и дело спотыкаясь о невидимые слушателям препятствия. А после каждой из таких встреч обязательно ресторан, обильное застолье почти с одними и теми же людьми, и в конце концов эти встречи стали для него пыткой: он вдруг понял, что его специально удерживают в Ростове, что за его спиной что-то происходит, а он оторван от родных мест и никак не может повлиять на эти самые исправления перегибов. И однажды он собрался, покинул гостиницу через черный ход, доехал до вокзала на извозчике и первым же поездом уехал из Ростова.

В Миллерово Шолохов задержался: ходил по кабинетам, пытался узнать, что с арестованными казаками, в чем обвиняют, какие доказательства. Рвался побывать в тюрьме, поговорить с арестованными, но не пустили, и вообще держали вдали от всего, и от начальства тоже.

Попусту пролетели четыре дня. Плюнул, подрядил одноконные розвальни до Вёшенской, завернулся в волчью доху, лег на сено, смотрел в небо, дышал пряным степным воздухом, напоенным первыми весенними ветрами из Заволжских степей, и старался ни о чем не думать. Сани со скрипом скользили по волглому снегу, припудренному февральскими метелями желтым песком с далеких дюн, верблюжьими горбами тянущихся из края в край; шлепали копыта, фыркала

время от времени неказистая лошадка. Возница, пятидесятилетний казак с тронутыми сединой усами и таким же чувством, выбивающимся из-под папахи, с намороженным о кирпичного цвета лицом, сморил самосад, иногда оборачивался на своего седока, но в разговор не вступал, видя нерасположение того к разговорам, и гадал, кто подрядил его, не торгуясь, до самых Вёшек.

Когда проезжали через лесок, послышался робкий еще дробный стук дятла по сухому суку; на ветках раскачивались неугомонные синицы, их звонкое треньканье звучало совсем по-весеннему. Вот сорвалась с рябин стая свиристелей и шумно полетела куда-то ныряющим летом. Среди бурых ошметков старой скирды мышковала огненная лисица: то замрет, то вдруг подпрыгнет, то завертится на одном месте, и черный ворон следил за ней с обрубленной молнией вершины старого дуба. А вокруг ни души, ни жилья на десятки верст, и кажется, что всхолмленная степь, пригреваемая мартовским солнцем будет тянуться вечно, и вечно будет шаршата полозя, шлепать по волглому снегу копыта и фыркать неказистая лошадка. И от всего этого на душу ложилось умиротворение от понимания того, что череда мерзостей рано или поздно закончится, ей на смену придет что-то другое, и непременно некое улучшение, потому что людям необходим толчок в этом направлении и убеждение, что на сей раз они не обманутся в своих ожиданиях, и... и что-то там еще.

— А что, паря, ничего не слышать насчет послабления нам, казакам, то исть, от властей в пребудущие времена? — спросил, обернувшись к Шолохову, возница, не выдержав молчания и будто подслушав его думы. — А то гутарят, казаков собираются уравнивать с пролетарьятом...

— Это в каком же смысле? — приподнялся на локте Михаил.

— Так в том самом, что у тех ничего, акромья вшей, в своем владении нету, и у нас то же самое образуется. Ничего такого не слыхал в Ростове-то?

— Нет, ничего такого не слыхал, — ответил Михаил и полез в карман за папиросами.

— Сам-то вешенский, али едешь туда по казенному делу?

— Вешенский.

— Что-то я тебя не припомню никак, хотя обличность твоя вроде как знакомая, — качнул головой возница и сел боком, чтобы удобнее было разговаривать. — Сам-то я милютинский. Да-а. Когда срок подошел служить, тут тебе на — японская, с японской вернулся — вот тебе революция. И гоняли нас то туды, то сюды. Тут, значит, приспичило мне заболеть. Попал я в Воронеж, в тамошний госпиталь. А рядом со мной

оказался урядник из Мигулинской станицы, поранетый из револьвера на усмирении бунтов. Кудрявцев его фамилия. Семенов прозывали. А к нему на ту пору все баба его приезжала: очень она об нем печалилась, баба-то его. Красивая такая, вся из себя. Анфисой кликали. Да и Семен тоже казак был видный — из атаманцев. Вот он возьми да и помри от какой-то там заразы у ей прямо на руках. Ну, стал быть, надо везти его в Мигулинскую. Тут мне в самый раз выписываться. Я и подрядись к этой Анфисе в помощники, чтобы, значит, способствовать довести ейного мужика до Мигулинской-то. Да-а...

Возница замолчал и долго смотрел вдаль, шуря калмыковатые глаза, будто в той дали пытался разглядеть свое прошлое до мельчайших подробностей.

Затем, вздохнув, продолжил:

— И остался я в Мигулинской. Прикипел, значит, к этой самой Анфисе. И своя станица побоку, и все остальное, будто никакого прошлого у меня и не было, будто родился я прямо в этом госпитале и только после этого зачал настоящую свою жизнь. А семья у Анфисы была крепкая: несколько пар быков, табун лошадей, коровы, овцы, птица разная. И я как вроде у них в работниках, хотя с Анфисой промеж нас вышла вроде как любовь. Но свекр ейный, Кошелев Никита Родионович, бывший вахмистр, и слышать не хотел, чтобы, значит, нам с его снохой пожениться. Можете, говорит, идти на все четыре стороны, а внуков вам не отдам. А она от детей своих уходить не может. А тут уж и забрюхатила от меня. Что делать? В своей-то станице и мы, Чекуньковы... Фамилия это моя такая, — пояснил возница и представился: — Чекуньков, Иван Данилович. — И посмотрел выжидательно на седока.

— Шолохов. Михаил, — представился в свою очередь и Шолохов.

— А-а, вот, значит, как! Тот-то ж я гляжу... Ну, ничего. Да-а. Так я и говорю: в своей станице и мы, Чекуньковы, тоже не последние люди. Не кулаками, нет, а, как нынче говорят, крепкими середняками значились. А тут, значит, младший брат покойного урядника, Степка, глаз положил на Анфису. Будто ему в станице жалмерок не хватало. А все, чтобы мне досадить. И как-то — я на покосе был, а она уж на шестом месяце — прихватил ее в амбаре и — на спину. А Анфиса-то... она ему в харю-то вцепилась пальцами... да зубами еще, ну он и сорвался с привязи: избил ее до полусмерти, и дите она выкинула. Я, значит, как узнал, выпряг коня из лобогрейки и до куреня. А Степка-то черное дело сотворил, а сам на гуль-

бише. Ну, я туда — голову совсем потерял. По дороге вырвал кол из плетня... — обожженный кол-то, что железный — и кол этот ему промеж лопаток и всадил... до самого, значит, сердца... Ну, побили меня, повязали, судили там же, в Мигулинской и... на каторгу. Десять, значит, лет припаяли. А Анфиса... Анфиса померла... от увечья... Да...

Чекуньков полез в карман за кисетом. Шолохов предложил ему папиросы. Закурили. И Чекуньков продолжил:

— В начале шестнадцатого подал я прошение, чтоб, значит, простили мне остатний срок и послали на фронт. Ну, повоевал малость, тут тебе революция, записался в Красную гвардию. И все эти годы, стал быть, с коня не слазил: то Деникин, то Махно, то поляки, то Врангель... В Крыму меня поранили, стал я вроде как инвалидом. Вот, теперь эта коняка — вся моя жизнь.

— Так и не женились? — спросил Шолохов.

— Отчего же? Женился. Пятеро детишек наплодил. В Миллерово проживаю. И жена... ничего баба: и с лица, и телом, и все остальное. А вот Анфису никак из себя выкорчевать не могу. Такая вот, брат, штука. — И, встрепенувшись, точно стряхнув с себя прошлое: — Да, так вот я и говорю: надо какое-никакое, а послабление казакам дать от властей. Иначе что ж получается? А получается, что никакой жизни. Разве это жизнь — работать от зари до зари и пухнуть от голода? — Сдвинул папаху на затылок, усмехнулся: — Хотя оно в Расее всегда так велось: начальство народ никогда не жалело. А чего его жалеть-то? — чай еще наплодится. Потому и законы такие принимают, чтоб, значит, ему, начальству, была воля, а народу — неволя. Расе-ея! Черт ли ее разглядит! — закончил сердито Чекуньков и, сев к Шолохову спиной, подернул вожжами.

— Ну, холера пузатая! Шевелись давай!

Приехав в Вешенскую, Шолохов велел остановиться возле райкома партии и, расплатившись, отпустил извозчика. В райкоме застал лишь нового секретаря Кузнецова, сорока двух лет, в партии с семнадцатого года — это все, что он знал об этом человеке. Мужик, на первый взгляд, вроде порядочный. Однако перегибам не препятствовал и даже поощрял, боясь одновременно и перегнуть и недогнуть. И Шолохова вроде как сторонился: мол, мы и сами с усами.

Зашел к нему в кабинет, поздоровались, сел. Глянули друг на друга. Кузнецов молчит, Шолохов — тоже.

Первым не выдержал Шолохов:

— Что новенького?

— Да, собственно говоря, ничего.

— Зимин был?

— Был.

— И что?

— Да все то же самое: накрутил хвоста по части отставания от плана хлебозаготовок и уехал в Верхне-Донской район. Овчинников тоже уехал, остался один Шарапов. Лютует. Зимин его поддерживает полностью. — И, помолчав, спросил осторожно: — А ты как съездил?

— Как Хлестаков в пьесе Гоголя «Ревизор», — ухмыльнулся Шолохов. — И кормили, и поили, и баб подсовывали. Только денег в долг не давали.

— М-мда, — промычал Кузнецов. — А мы вот сводку в крайком подготовили...

— И что за сводка? — оживился Шолохов.

Кузнецов помедлил, затем все-таки достал и открыл папку и, почти не заглядывая в нее, стал пересказывать, время от времени вскидывая на Шолохова глубоко упрятанные за припухшими веками черные зрачки:

— По нашему району на сегодняшний день арестовано 3128 человек. Получается 6 процентов от всего населения в 52069 человек. Приговорено к расстрелу — 52. Осуждено к разным срокам — 2300. Исключено из колхозов — 1947. Полностью изъяты продовольствие и скот у 1090 хозяйств. В ямах нагребли 2518 центнеров зерна, в других местах — 3412. Всего, значит, 593 тонны. В том числе и отобранный пятнадцатипроцентный аванс. Более тысячи семей выгнаны из домов, живут на улице. Дома проданы. Такая вот статистика.

— Кого расстреляли?

Кузнецов стал зачитывать список. И вдруг:

— Гордей Ножеватый...

— Как? Его-то за что?

— Побег из-под стражи, подстрекательство к бунту, сопротивление властям...

Перед глазами Шолохова встал Ножеватый — таким, каким он видел его в последний раз: с синяками и кровоподтеками на лице, с хрипом выплевывающего:

— Таких рубать надо... рубать...

— Меня тоже надо... за сопротивление властям и подстрекательство к бунту, — выдавил Михаил из себя, заглядывая в бегающие зрачки секретаря. — Это я там был, когда дети и бабы выли от холода в проулках, это я грозился, что все за это поплатятся...

Кузнецов отвернул в сторону голову, забарабанил пальцами по столу, как бы говоря: «Шолохов — это одно, а Ножеватый — совсем другое».

Молча закурили, каждый — свои. Шолохов прервал тягостное молчание, спросил, выпуская дым из ноздрей:

— Есть замерзшие, умершие от голода?

— Такие факты имеют место. Но кто их считает? Никто не считает, — ответил Кузнецов, пожимая плечами.

— И что из этого следует?

— Еще больший голод, вот что из этого следует, товарищ Шолохов! — неожиданно вскрикнул Кузнецов сдавленным голосом, точно Шолохов и был в этом виноват, и, замахав руками, зашелся в долгом сухом кашле.

Откашлявшись, отдышавшись и вытерев слезы, пояснил:

— Врачи говорят: бронхит. Лечить, говорят, надо. А когда лечить? — И, помолчав, глянул на Шолохова с глубоко упрямой в глазах тоской, спросил: — Сам-то что думаешь?

— Всякое думаю. И то в голову приходит, и это, и пятое-десятое. Уже начинаю бояться собственных мыслей...

— У меня то же самое, — признался с робкой усмешкой Кузнецов. — А как начнешь вспоминать, о чем мечтали в гражданскую... — И тряхнул седеющей редковолосой головой.

Не сразу, но Шолохов все-таки сел за письмо Сталину. Молчать и ждать, что всё само собой образуется, уже было невмоготу. Тем более что и к нему подбирались тоже: новый уполномоченный ГПУ, как стало известно Михаилу, собирал на него компромат, строчил доносы. Да и вести шли со всех сторон самые безрадостные, и, получалось, что, кроме Сталина, обращаться не к кому.

И он, макая перо в чернильницу, заскрипел по бумаге:

«т. Сталин!

Вешенский район, наряду со многими другими районами Северо-Кавказского края, не выполнил плана хлебозаготовок и не засыпал семян. В этом районе, как и в других районах, сейчас умирают от голода колхозники и единоличники; взрослые и дети пухнут и питаются всем, чем не положено человеку питаться, начиная с падали и кончая дубовой корой и всяческими болотными кореньями... Как работали на полудохлом скоте, как ломали хвосты падающим от истощения и устали волам, сколько трудов положили и коммунисты, и колхозники, увеличивая посев, борясь за укрепление колхозного строя, я постараюсь — в меру моих сил и способностей — отобразить во второй книге «Поднятой целины». Сделано было много, но сейчас все пошло насмарку, и район стремительно приближается к катастрофе, предотвратить которую без Вашей помощи невозможно...»

Закончив фразу, отложил перо, раскурил трубку, задумался. Сталин, конечно, упоминание о второй книге «Поднятой целины» воспримет как шантаж, и, чего доброго, остальное тоже. Вычеркнуть?

Встал, прошелся до двери и обратно. Решил: а пусть воспринимает, как хочет! Мне-то все равно деваться некуда. Потому что пишу жизнь, а не панферовские «Бруски», где, что ни персонаж, то ряженный, и говорит не своим голосом, и все заканчивается ко всеобщему удовольствию, а товарищ Сталин выглядит там этаким добреньким дедом Морозом... В творчестве мне со своей борозды сходить нельзя. Да и поздновато. А там будь что будет.

И Шолохов вновь уселся за стол и заскрипел пером, подробно описывая, как в районе уполномоченный крайкома Овчинников прикидывал на глазок будущий урожай, как в крайкоме верстали план хлебозаготовок, и такой наверстали, что и в лучшие-то годы не приснится, как потом тот же Овчинников буквально выбивал этот план из колхозников и единоличников.

«...Когда начались массовые обыски (производившиеся обычно по ночам) с изъятием не только ворованного, но и всего обнаруженного хлеба, — хлеб, полученный в счет 15 % аванса, стали прятать и зарывать, чтобы не отобрали. Отыскивание ям и изъятие спрятанного и не спрятанного хлеба сопровождалось арестами и судом; это обстоятельство понудило колхозников к массовому уничтожению хлеба. Чтобы хлеб не нашли во дворе, его стали выбрасывать в овраги, вывозить в степь и зарывать в снег, топить в колодцах и речках и пр.

Исключение из партии, арест и голод грозили всякому коммунисту, который не проявлял достаточной «активности» по части применения репрессий, т.к. в понимании Овчинникова и Шарапова только эти методы должны были дать хлеб. И большинство терроризированных коммунистов потеряли чувство меры в применении репрессий. По колхозам широкой волной покатались перегибы. Собственно то, что применялось при допросах и обысках, никак нельзя было назвать перегибами; людей пытали, как во времена средневековья; и не только пытали в комсодах, превращенных буквально в застенки, и издевались над теми, кого пытали...»

Вошла жена, поставила на стол стакан с чаем, спросила:

— Печатать нужно будет? А то я хочу сходить на реку белье полоскать...

— Иди. Успеешь. Это еще не скоро.

Жена тихо покинула кабинет, Михаил стал писать дальше:

«...Я видел такое, чего нельзя забыть до смерти: в хуторе Волоховском, Лебяженского колхоза, ночью, на лютом ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семья выкинутых из домов жгли в проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаявшую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве же можно так издеваться над людьми?»

Если до этих строк Шолохов как-то сдерживал себя, то картина, вновь вставшая перед его глазами, оборвала все внутренние пути, и перо еще яростнее побежало по бумаге, перечисляя все те пытки, какие выдумывали коммунисты по отношению к людям, часто к своим же соседям-станичникам и хуторянам. И это без всякой оглядки на будущую весну, когда придется этим же людям пахать и сеять. На чем пахать, что сеять, когда все забрано и ничего не осталось ни скоту, ни людям? А планы пахоты и сева увеличены на 9000 гектаров. И план хлебозаготовок — соответственно. Следовательно, история с хлебозаготовками 1932 года повторится и в 1933 году.

«...Если все описанное мною заслуживает внимания ЦК, — пошлите в Вешенский район доподлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости, невзирая на лица, разоблачить всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и открыли не только всех тех, кто применял к колхозникам омерзительные «методы» пыток, избиений и надругательств, но и тех, кто вдохновлял на это.

Обойти молчанием то, что в течение трех месяцев творилось в Вешенском и Верхне-Донском районах, нельзя. Только на Вас надежда.

Простите за многословность письма. Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу «Поднятой целины».

С приветом М. Шолохов.

Ст. Вешенская СКК 4 апреля 1933 г.»

Михаил положил ручку, невидящим взором уставился в стену. Грызли сомнения. Он представил Сталина, читающего это письмо, его табачного цвета глаза, и как они, по мере чтения, становятся желтыми... Какое решение примет «вождь»? Принесет ли пользу это письмо, или на казаков обрушатся новые репрессии? А на него, Шолохова? Все может быть. Но не написать он не мог. И не может не отправить. Следовательно...

— Маш, сходи к Василию, — попросил жену, едва она закончила печатать. — Пусть зайдет.

— Поздно уже, Миша.

— Ничего, лучше поздно, как говорится...

За окном на землю опускались густые весенние сумерки. Кладбищенская тишина окутывала станицу. Слышно было, как скребется где-то глубоко под полом мышшь, как потрескивают деревянные стены, сохнувшие после недавних дождей.

Василий Попов, молодой парень, служивший у Шолохова конюхом и шофером, пришел минут через десять. Встал на пороге. Спросил:

— Звали, Михаил Александрович?

— Звал, Вася. Проходи, садись. — Подождал, пока тот уселся, продолжил: — У меня к тебе просьба. Вот конверт. На нем адрес: Москва, Кремль, Сталину. В этом письме я пишу обо всех безобразиях, что творились и продолжают твориться на нашей земле. Довериться нашей почте — может и не дойти. Надо смотреться в Миллерово. И там опустить в почтовый ящик на проходящем пассажирском поезде. Ну да ты знаешь — не впервой. Бери моего Орлика и гони. Дело, сам понимаешь, срочное.

— Как не понять, Михаил Александрович. Все понимаю. Вот только как бы тебе от этих писем не сделалось худо. Сам знаешь, какие нонче времена. Придут ночью — и поминай, как звали.

— Ничего, черт не выдаст, свинья не съест. Но и молчать мне не с руки.

— И то верно. Народу-то дюже худо приходится от нынешней власти. Пряма-таки никаких сил не остается. Кузнецов-то, секретарь наш, он тихий-тихий, а только в тихом омуте, как говорится...

Через полчаса из темного проулка тихонько выехал конный и, миновав последние дома, пустил коня размашистой рысью.

Сталин, закончив читать письмо Шолохова, встал, прошелся по кабинету, остановился у окна, отодвинул тяжелую штору. Над Москвой текла морозная звездная ночь. Весна запаздывала. Часы на Спасской башне отбили три раза. В голове будто застряла фраза из письма: «Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу «Поднятой целины». В этой фразе содержалась угроза.

«Щенок, — подумал Сталин с усмешкой. — Кто тебе позволит напечатать такую книгу? Прямо беда мне с этими писателями. Каждый мнит себя не менее чем Львом Толстым,

а поскребешь, там и на какого-нибудь Гаршина не наскребется. Но дело, конечно, не в Шолохове, наиболее талантливым из всех. Дело в хлебе. Если на местах и дальше будут так хозяйствовать, то завтра некому будет пахать и сеять. А это уже не просто голод в отдельно взятом районе или крае, это смерть всему. Да и Шолоховым бросаться нельзя. Такие люди или за, или против. Середины они не признают. К тому же вторая книга «Поднятой целины» очень нужна. И в ней должен отобразиться тот вклад, который сделан партией в развитие страны, вклад ее руководящих органов, и закончиться она должна на ликующей ноте. А с перегибщиками надо будет разобраться. Послать в край дельного члена ЦК. Это первое. Второе, направить в Вешенский район продовольственную помощь, и чтобы об этом узнала вся страна. Третье, снять Шеболдаева с должности, перевести в другое место, где требуется не меньшая решительность. Что еще? Пожалуй, все».

И Сталин вызвал недремлющего своего секретаря Поскребышева и продиктовал ему телеграмму.

— Отправь сейчас же. Молнией.

Электрическая лампочка на столе под зеленым абажуром замигала: значит, время к полуночи и вот-вот отключат электричество. Михаил Шолохов засветил керосиновую лампу, продолжил писать статью для газеты «Правда», в которой, выбрасывая жуткие подробности изъятия хлеба у колхозников и единоличников: все равно не напечатают — пытался доказать неспособность нынешних краевых властей руководить сельским хозяйством без силовых методов принуждения. Шолохов не очень рассчитывал на то, что Сталин ответит ему на письмо, тем более примет какие-то меры против перегибов, поможет голодающему населению, а статью в «Правде» не заметить нельзя. Если ее, разумеется, опубликуют.

Тикали настенные часы, в углу выводил свою незамысловатую песню сверчок. За окном занималась заря.

В наружную дверь вдруг затарабанили с такой силой и настойчивостью, будто горит их, Шолоховых, дом, а они ни сном ни духом, и если сейчас же не выскочат, то и сгорят.

В доме спали, и Михаил кинулся к двери, распахнул ее, его встретил сиреневый сумрак, полыхающее небо и заполoshный женский вскрик:

— Михаил Александрыч! Вам «молния» аж из самой Москвы! — И уже тише, с испугом: — От самого товарища Сталина.

— Что в телеграмме, знаешь? — спросил Шолохов, чувствуя, как сердце вдруг застучало в висках и тело обдало жаром.

— Знаю. Но ничего не поняла.

— Ладно, пойдем. Только тише: у меня все спят.

Они поднялись в его кабинет. Шолохов взял у телеграфистки почтовый бланк с наклеенными на нем серыми полосками телеграммы, пробежал по ним глазами и сначала тоже ничего не понял.

«16 апреля 1933 г.»

Молния

*Станица Вешенская Вешенского района
Северо-Кавказского края Михаилу Шолохову*

Ваше письмо получил пятнадцатого. Спасибо за сообщение. Сделаем все, что требуется. Сообщите о размерах необходимой помощи. Назовите цифру.

Сталин.

16.IV.33 г.»

Бросились в глаза лишь три слова, торчащие из нее верстовыми столбами: «молния» — означает срочно; Сталин — это значит, что он письмо получил и прочитал; Шолохову — решать, как теперь поступить, предстоит именно ему, а не райкому или крайкому. А что решать и как — никакой ясности.

Михаил расписался в книге о получении, отпустил телеграфистку, сунув ей в карман горсть московских шоколадных конфет — для детишек. Затем снял трубку телефона, попросил телефонистку соединить его с секретарем райкома.

Через час в райкоме партии собралось все руководство района.

— Эта телеграмма пришла в ответ на письмо, которое я написал товарищу Сталину. В этом письме я рассказал о наших бедах, — произнес Шолохов и замолчал, вглядываясь в знакомые лица руководящих товарищей, которые, передавая из рук в руки, читали телеграмму Сталина.

В их ответных взглядах он видел настороженность, в иных — даже страх. И это его ничуть не удивило. Каждый небось думает: «Шолохову-то хоть бы что — все сойдет с рук, а нам отвечай и за невыполнение плана хлебозаготовок, и за перегибы, к которым все мы приложили руку, хотя и не по своей воле. И как теперь оправдываться перед краевым начальством? Скажут: «Вы что там своевольничаете? Почему через нашу голову? Или вы особенные? И на цугундер. И никакой Сталин не поможет».

— Я не сообщил вам об этом письме раньше, — продолжил Шолохов, когда телеграмма была прочитана всеми, — потому что и сам не был уверен, что из этого что-нибудь получится. И теперь нам с вами решать, как откликнуться на эту телеграмму. Я думаю, что мы должны прежде всего подсчитать, сколько зерна нам нужно, чтобы прокормить до нового урожая всё население нашего района... Всё без исключения! — добавил он, заметив удивленные взгляды. — И Верхне-Донского тоже. И не только прокормить, но чтобы осталось, чем засеять яровой клин...

— Верхне-Донские-то тут при чем? — подал голос новый председатель райисполкома. — Нехай они сами выкручиваются.

— Товарищей в беде бросать негоже, — отрезал Шолохов, и предрика, как нашкодивший мальчишка, опустил голову. А Шолохов продолжил более спокойным тоном: — Тем более что я уже звонил соседям, они должны в Вёшки подъехать с часу на час.

— Я вот думаю, — неуверенно заговорил секретарь райкома Кузнецов. — Я вот думаю, что надо позвонить в Ростов... ну, чтоб, значит, не подумали чего такого...

— А я думаю, — негромко перебил Шолохов, — что звонить никому не надо. Я думаю, что Москва сама распорядится и доставкой, и проконтролирует, чтобы зерно попало по назначению. Сама и сообщит, кому найдет нужным. Наше дело быстро подсчитать, что нам необходимо, и отправить эти данные в Москву. Это все, что от нас требуется в ближайший час-два.

— Ну что ж, так и порешим, — легко согласился Кузнецов. — Только я думаю, что это надо бы как-то оформить через бюро райкома... протокол там, решение...

Шолохов глянул искоса на Кузнецова, сидящего рядом, на его выпирающие скулы, на нервно шевелящиеся пальцы его рук. Хотел было промолчать, но секретарь настойчиво смотрел на него, точно он, Шолохов, здесь самый главный и, следовательно, за ним остается последнее слово. И остальные смотрели на него с таким же ожиданием.

— Я не возражаю, — согласился Шолохов. — Более того, поддерживаю. Надо, чтобы все в районе знали, что советская власть заботится о простом человеке, болеет его бедями. Надо будет и в нашей газете «Большевик Дона» написать об этом. Я сам напишу. Но только после того, как начнет поступать помощь.

И все понимающе покивали головами.

— А кто будет отвечать на телеграмму? — спросил Кузнецов, и в самом вопросе Шолохов услышал: «Только не мы».

— Как кто? Я и буду отвечать, — решительно произнес он. И пояснил: — Телеграмма адресована мне. Кому же еще отвечать?

На этот раз все вздохнули с облегчением. И это тоже было понятно: встречать в дела Шолохова со Сталиным — себе дороже. Тем более что неизвестно, как для самого Шолохова обернется вся эта история.

Необходимое количество зерна для района подсчитали быстро. А тут еще подъехали из Верхне-Донского, испуганные и растерянные: и не ехать на настойчивый призыв знаменитого писателя нельзя, и ехать боязно. Приехали уже с готовыми цифрами. С этими цифрами Шолохов и покинул райком.

Придя домой, он тут же уселся за письмо Сталину.

«Дорогой т. Сталин!

Телеграмму Вашу получил сегодня. Потребность в продовольственной помощи для двух районов (Вешенского и Верхне-Донского), насчитывающих 92 000 населения, исчисляется минимально в 160 000 пудов. Из них для Вешенского района — 120 000 и для Верхне-Донского — 40 000. Это из расчета, что хлеба этого хватит до нови, т.е. на три месяца.

Разница в цифрах по районам объясняется тем, что Верхне-Донской район граничит с ЦЧО, откуда колхозники и добывают хлеб, имущие — меняя на барахло, неимущие — выпрашивая «Христа ради». Для верхнедонцев есть «отдушина», а Вешенский район ее не имеет. Пухлые и умирающие от голода есть и в Верхне-Донском районе, но все же там несравненно легче. Это я знаю и по личным наблюдениям и со слов секретаря Верхне-Донского РК т. Савуша...»

Письмо опять получалось длинным. Шолохов еще раз старался доказать, что сыр-бор разгорелся не на пустом месте, что это не его выдумки, тем более не вина бывших руководителей района, уже осужденных и посаженных, а страшная действительность, вызванная преступной деятельностью краевого руководства, что она может соответствующим образом отразиться на поведении людей в отдаленном будущем, людей, которые считают, что им мстят за восстание девятнадцатого года, описанного им, Шолоховым, в «Тихом Доне».

«Так же как и продовольственная помощь, необходима посылка в Вешенский и Верхне-Донской районы таких коммунистов, которые расследовали бы все и по-настоящему, — писал далее Шолохов, стараясь выплеснуть все, что наболело за эти месяцы и что он не успел сказать в предыдущих

письмах. — Почему бюро крайкома сочло обязательным выносить решения по поводу моей телеграммы о переброске семян, а вот по докладным запискам ответственных инструкторов крайкома и крайКК тт. Давыдова и Минина, уехавших из Вешенского района 31 марта и собравших по двум-трем колхозам огромный материал о грубейшем извращении линии партии, об избиениях и пытках, применявшихся к колхозникам, — до настоящего времени нет решения и крайком молчит?...»

Перо скользило по бумаге, а мысли обгоняли его, теснясь на кончике пера, и казалось, что само перо отбирает лишь самые важные. Сталин ждет ответа на свою телеграмму, следовательно, прочтет все, что он, Шолохов, ему напишет. Пусть читает. Пусть знает, что творят его... да, именно его люди на местах, потому что именно он ставит этих людей на их должности, он следит за их работой, и если он доволен ею или ему о ней докладывают лишь то, что считают нужным, так пусть он знает и об этом, то есть о том, что его обманывают, вводят в заблуждение. Хотя, конечно, если разобраться, главного он не может не знать. Чай, не царь, отделенный от народа своими придворными и толпами дворян, а вождь этого народа, следовательно, должен доподлинно знать, как измываются над этим народом.

«...Нарсуды присуждали на 10 лет не только тех, кто воровал, но и тех, у кого находили хлеб с приусадебной земли, и тех, кто зарывал свои 15 % аванс, когда начались массовые обыски и изъятие всякого хлеба. Судьи присуждали, боясь, как бы им не пришили «потворство классовому врагу», а кассационная коллегия крайсуда второпях утверждала. По одному Вешенскому району осуждено за хлеб 1700 человек. Теперь их семьи выселяют на север.

РО ОГПУ спешно разыскивало контрреволюционеров, для того, чтобы стимулировать ход хлебозаготовок, и тоже понахватало немалое количество людей, абсолютно безбидных и в прошлом и в настоящем...»

Шолохов задумался на минуту, пока раскуривал трубку, писать или нет о том, то это самое РО ОГПУ подкапывается и под него? Решил, что не стоит. Если начнут разбираться, то это всплывет само собой. И вообще о себе говорить надо поменьше: не в нем, Шолохове, дело.

«...Сейчас очень многое требует к себе более внимательно-го отношения. А его-то и нет, — заключил Шолохов. — Ну, пожалуй, хватит утруждать Ваше внимание районными делами, да всего и не перескажешь. После Вашей телеграммы я ожил и воспрял духом. До этого было очень плохо. Письмо к

Вам — единственное, что написал с ноября прошлого года. Для творческой работы последние полгода были вычеркнуты. Зато сейчас буду работать с удесyтеренной энергией...

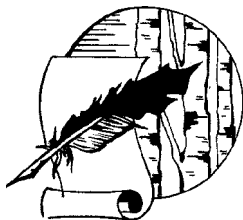
Крепко жму Вашу руку.

С приветом М. Шолохов.

Ст. Вешенская СКК 16 апреля 1933 г.».

Перечитав письмо, исправив кое-что, Михаил тут же усадил свою жену за пишущую машинку, а затем призвал своего шофера и велел гнать в Миллерово.

Но и сам дома усидеть не мог. Взял ружье, пошел бродить по перелескам, вслушиваясь в щебетанье птиц, в курлыканье журавлей, переключку гусиных стай, летящих на север. Он всей грудью вдыхал бодрящий весенний воздух, напоенный запахами прелой листвы, первоцвета, нежной зелени осин и дубов. Иногда запевал что-нибудь и бросал, улыбался невесть чему и чувствовал себя победителем некой темной силы, что навалилась на район, на станицы и хутора, на их жителей; в том числе и на него, писателя Шолохова. И вот эта сила попятилась, начала истаивать, как туман под первыми лучами солнца, потому что... потому что правда не за этой силой, правда за высокой коммунистической идеей. А еще, как выяснилось, никто в районе, да и в крае, не понимает и не видит всех размеров катастрофы, которая обрушилась на Верхне-Донские станицы и хутора, и только он один это понял, он один восстал против нее, потому что он один так много думал над судьбами людей, живших здесь, действовавших и погибших, думал с прицелом на будущее, думал о тех, кто выжил и живет после всех пронесшихся над Донской землей ураганов, об их детях и внуках, которые будут жить и вглядываться в эти годы из своего далека, когда его, Шолохова, не станет, — так много и мучительно думал, что мысли эти вылились в убеждение, а затем перешли в действие. И, быть может, именно за это помянут его когда-нибудь добрым словом.



Виктор КИРЮШИН

ОБЛАКА НАД САДОМ

* * *

Позже темнеет и раньше светает,
Время весеннею льдинкою тает.
Капля по капле уходит в песок
Жизнь, а не сладкий березовый сок.
Но оттого, что на свете не вечен,
Дорог вот этот мерцающий вечер,
Полутона, и штрихи, и оттенки,
Сумрак и солнечный зайчик на стенке,
Облако в небе и влага в овраге,
Старое фото на желтой бумаге,
Где средь ушедших в иные края,
Неразличимый, устроился я.

ДОМ

Дом у реки — резным фасадом к бору,
Где ежевика вьется по забору
И яблоки запутались в траве —
Как о тебе я тосковал в Москве!

Теперь уже не встретят тесть и теща.
Приют их вечный ныне там, где роща
И темные дубовые кресты...
Недалеко, всего-то две версты.

Дорога непроезжая горбата
К могилам тихим: узника штрафбата,
Пришедшего с войны в бинтах сырых,
И матери, поднявшей восьмерых.

А дом стоит, и сохранилась печка.
Напротив — лес, за огородом — речка.
Благословенны здешние места!
Вот только жаль: земля вокруг пуста.

Ушел ее рачитель и ходатай,
А я всего лишь праздный соглядатай,
Не знающий крестьянского труда.
Зачем же тянет вновь и вновь сюда?

Печь затоплю, потом иду к запруде;
Все кажется, здороваются люди,
Которых знал, а их в помине нет...
Не век прошел, всего-то двадцать лет.

Когда уснет закат подслеповатый,
Я возвращусь, ни в чем не виноватый,
Забывтый, как портреты на стене,
В том времени, в том доме, в той стране.

* * *

Здесь только воронье витийствует картаво,
А я хочу к тебе, в убежище твое
В полутора часах от городских кварталов,
Где яблони цветут, и сушится бельё.
Еще не пить с утра я не давал зарока,
Но трезвый как стекло, лишь кепка набекрень.
А вот и на столбе знакомая сорока,
Крылечко во дворе и пылкая сирень.
Что будет — поглядим, а прошлого не жалко,
Хотя оно внутри, как взведенный курок.
Сто первый километр — все та же коммуналка:
Распахнутая дверь, веселый матерок.
Иному — тяжкий крест, а грешнику — отрада,
Я всплеском этих рук заведомо сражен.
Не верю, что ждала, но так наивно рада
Случайная моя и лучшая из жен.
Потом минует день и вскрикнет электричка,
И я тебе шепну: «Любимая, держись!»
Платок твой вдалеке погаснет, будто спичка,
А может быть, свеча,
А может быть, и жизнь...

* * *

Так это в памяти осталось:
Промытый яблоневого сада.
Где ты, счастливая, смеялась,
Откинув голову назад.

Лучи гирляндами висели,
Гроза брела издалека.

Цветные, словно карусели,
Кружили в небе облака.

А в бане ветхим был порожек.
Я помню все до мелочей:
На платье розовый горошек,
Волос взволнованный ручей.

Страх до беспамятства вначале
И ослепление это вдруг...
И как потом с тобой молчали,
Уже не разнимая рук.

НА РУИНАХ ЦЕРКВИ

Чертополох, цветущий скупю,
А там, внутри, который год
Сияет сквозь дырявый купол
Другой, по счастью, вечный свод.

И значит так: в грязи и сраме,
Где под ногами сор и склизь,
Ты все едино в Божьем храме.
Ты не оставлен Им.
Молись!

* * *

Полуоткрыты оконные створки:
В небо впечатана церковь на взгорке.
Дальше — полоска сутулого бора,
Ближе — сирени костер у забора.

Мир не придуманный, мир настоящий,
Ливнем омытый, поющий, летящий.
Птица, растение, ветка немая
Празднуют ясную радугу мая.

Долго земля эту силу копила:
Тянутся ввысь лебеда и крапива,
Люди, деревья и церковь на взгорке...
Полуоткрыты оконные створки.

* * *

Густеет синь от края и до края,
Пыль оседает в поле за бугром,

И никнет ветер, в травах замирая,
А в недрах неба созревает гром.

Стоят леса, от зноя изнывая,
Как будто птиц навеки лишены.
О, как она хрупка —
Предгрозовая,
Последняя
Минута тишины!

В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

Зайчик розовый на занавеске,
Беззаботная птаха поет.
Раньше сына и раньше невестки,
Раньше солнышка мама встает.

Облака проплывают над садом,
Свежей смолкой сочится бревно.
В доме пахнет уютom и ладом —
Я забыл этот запах давно.

Колеса на простуженных скорых
В мире цвета гостиничных стен,
Увязая в неряшливых ссорах
И похмельном угаре измен.

Отпылала звериная нежность,
Вся истаяв, подобно свече.
Отчего ж, как сама безмятежность,
Дремлешь ты у меня на плече?

Будто не было долгой печали,
Слез горячих, расчетливой лжи.
Словно все еще только вначале —
День безоблачный,
Лето
И жизнь.

ДЕРЕВНЯ (сон)

У палисадников — автомобили,
Бабка родню материт по мобиле,
В доме — компьютер,
На крыше — тарелка.

Вечером в клубе назначена стрелка.
Стонет от мощных моторов река,
Но невозможно купить молока.

ПОЕЗДКА

Сухие старческие плечи,
Морщин кривые колеи.
«Садитесь, это недалече.
Тут на сто верст кругом свои».

И мы поехали,
И плыли
За нами следом
До поры
Густые клубы рыжей пыли,
Как бесконечные миры.

Цвела июньская картошка,
Гудели в клевере шмели
И товарняк-сороконожка
Полз, еле видимый, вдали.

Кладбища темная ограда
Вдруг проплыла передо мной,
Но в этом не было разлада
С наивной прелестью земной.

И долго помнилось мгновенье,
Когда в полуденной тиши
Впервые
Умиротворенье
Коснулось суетной души.

Николай РАЧКОВ

УСТОЯТЬ ПЕРЕД ВЕКОМ

* * *

Бьет набат... Не до победы.
На коня — и в бой скорей.
То Литва идет,
То шведы,
То грозит Девлет-Гирей.

Жгут селенья,
Топчут злаки,
Вновь в Московии аврал.
То поляки,
То пруссаки,
Крымцы, черт бы их побрал!

Я хочу понять, откуда
Доставала силы ты?
Из-под пепла,
Из-под спуда,
Из-под горькой маяты?

Только даль сверкнет лучисто,
Вновь у струганных крылец
То французы,
То фашисты...
Да когда же им конец?!

И опять не до беседы,
Где-то с краю топчут рожь.
От беды и до победы
Так, родная, и живешь...

* * *

Это только в России издревле осталось,
Чтобы плакала радость, а горе смеялось.

Это только в России, на подвиги громкой,
Вечно ходит надежда с сиротской котомкой.

Это только у нас смастерили царь-пушку
Не для дела, а так, напоказ, как игрушку.

И такой изготовили колокол медный,
Чтоб и рта не раскрыл он, царь-колокол бедный.

За такое могли только мы лишь и взяться...
Но зато все другие стоят и дивятся.

Все другие глядят и завистливо судят:
Никогда-то у них вот такого не будет...

НА ВЫСТАВКЕ САВРАСОВА

Юрию Лоцицу

Это небо и эта дорога,
Эти крестики, прутья, следы,
Талый воздух весны у порога,
Рождество осиянной воды!

И грачи, и тумана полоска...
И гляжу, словно в зеркало, я
В милый дворик,
Где чахнет березка,
В сиротливую суть бытия.

Журавли прокурлыкали где-то.
Всё, что видится здесь и вдали, —
Это тихая музыка света,
Слезы радости
Бедной земли...

* * *

Продвигается город в поля,
Подминая собой деревушки.
И прерывисто дышит земля,
Как больная, уткнувшись в подушки.

Всё возьмите: дощатый забор,
Старый дом и его прибаутки!
Но оставьте
Вот этот простор,
Где ромашки и где незабудки.

Где вечерней звезды самоцвет
В чистой лужице радуется снова
Как счастливого детства привет,
Как свеченье забытого слова...

* * *

В твоих полях я снова молод,
Ты многое напомнишь мне.
Люблю я ивняковый холод
Твоих оврагов по весне.

Люблю я месяца сиянье
Над снежной россыпью берез.
И расстоянье, расстоянье —
Ослепшее от слез и гроз.

Кому-то — синих гор верхушки...
А мне милее все равно
В твоей полночной деревушке
Слезой сверкнувшее окно...

* * *

Глядит на род людской Господь,
На сырых и бездомных:
Проникли и в земную плоть,
И в плоть небес бездонных.

Но если в дерзости такой
Достанем до печёнки,
Смахнет природа нас рукой,
Как муравьев с клеенки...

ВАСИЛЕК

Он во ржи всегда стоит веселым,
Он под ветром даже не прилег...
Улыбаться солнцу,
Листьям,
Пчелам —
Это счастье, думал василек.

А сорвут — возможно ведь и это —
На судьбу роптать бы я не смог.
Пригожусь, быть может, для букета
Иль девчужке в радостный венок.

Господи! Я вырос среди хлеба,
Среди поля, — нет ему конца.
Я любил, я видел это небо,
Я людские радовал сердца...

* * *

Горько, что мы оступились не раз,
Что одолела остуда.

Порастеряли духовный запас
В жажде и хлеба, и чуда.

Злу не противясь, искали мы брод.
Где они, тайные броды?
Нам бы уйти от содомских свобод,
От чужевластия моды.

Мир виртуальный мы строим, трубя,
Странные к отчему дому.
Нам бы вот самоустроить себя,
Не доверяясь чужому.

Только тогда мы и будем в чести,
Не поддадимся опекам.
Только бы душу собрать и спасти,
Чтоб устоять перед веком.

Ольга ДЪЯКОВА

ВЕРЕТЕНО

* * *

Шар на шпиле колокольни
Золотится.
Кинешь камень в воздух горний —
Возвратится.

Красные листы березы
В холод канут.
На морозных стеклах розы
Не увянут.

И останутся синицы
Среди снега.
Шар на шпиле золотится,
Как омега.

ПЕРВЫЕ СТИХИ

Потоки слов моих — дожди,
Взвивались пенно.

Стихов слагались этажи
Почти мгновенно.

Я выбиралась из сетей
Косой тетради,
Пытаясь вышить жизнь людей
С крестов — до глади.

* * *

Волк бежит к добыче против ветра.
Прыгают глаза его в ночи.
Машет ветер рукавами кедра,
Разве натиск можно приручить?

Молнии изломленная ветка
Появилась и погасла вмиг.
Кто в тиши, нацеливаясь метко
Жертву долгожданную настиг?

Голос зверя — голос предсказаний,
Но порой страшится тишина.
И на волке мчатся из преданий
Молодой царевич и княжна.

* * *

Птица вблизи пролетела,
Будто бы время мое.
Каждую клеточкой тела
Я ощущала ее.

Ветер в порыве неожиданном
Вытер глаза рукавом.
Баржи стоят караваном,
Словно готовясь в подъем.

В жизнь погружаюсь без страха,
Чувствуя только одно:
Время — неспешная пряжа,
Крутится веретено.

ВЕТРЫ

Свищут спутники дороги,
Сырость донося грибную.

Ветры бьют подол о ноги,
Тянут в сторону другую.

Ветры — кони серой масти —
Пролетают пред грозой.
Лист осеннего ненастья
Исчезает под ногою.

Уходящий дождь лепечет,
Спят зареванные реки.
Ветры сходятся на вече,
Поднимая листьям веки.

* * *

Из бывшего — полустанок встречи
Вырастает в пасмурные дни.
Там берез встревоженные речи,
Поездов промокшие огни.

Сумерки полны полунамеков.
Где родная затерялась весь?
Веток расходящиеся строки
Я не успеваю перечесть.

И мое воспоминанье тает,
Не желая прошлому помочь.
Счастью продолженья не бывает,
После счастья наступает ночь.

Как слепой хождением по стуку
Раскрывает суть простых вещей,
Тишину, не тронутую звуком,
Слушаю у разводных путей.

* * *

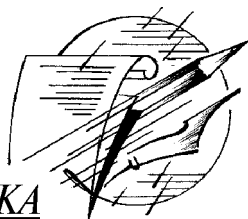
У моря надо быть одной.
Придут ленивые туманы,
Нависнут над седой водой,
Как над добычею орланы.

Здесь негой протянулись дни,
Ты будто к жизни не привязан.
Ночь долгая — судьбе сродни,
И нить ее не видит разум.

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА НА ФОНЕ МИРОВОГО КРИЗИСА

Западные экономические эксперты нынешний мировой кризис, помимо естественных историко-экономических аналогий, оживили дискуссию о силе и слабости России, а равно и о факторах, их определяющих. На основе подобных умозаключений в отношении нашей страны предполагается разработать долгосрочную стратегию внешнеполитической деятельности «золотого миллиарда».

Так, авторитетный аналитик Джордж Фридман из Stratfor полагает: **«перезагрузка» нынешней американской администрацией двусторонних отношений реально означает возврат США к внешнеполитической философии Рональда Рейгана, разумеется, с необходимыми модификациями.** Квинтэссенцией подобных представлений была презумпция «экономической нежизнеспособности» Советского Союза, использование которой (посредством «изматывания» нашей страны в гонке вооружений и технологий) позволило добиться от Москвы поступательной сдачи геополитических позиций. В нынешних условиях это означает отступление России в сфере ее жизненно важных интересов, т.е. на постсоветском пространстве. Впрочем, сейчас американские внешнеполитические стратеги всерьез рассчитывают



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

использовать к своей выгоде и крайне неблагоприятную демографическую ситуацию в нашей стране.

Траекторию внешнеполитического мышления администрации Барака Обамы можно описать незамысловатой формулой: поскольку Россия остается «геополитическим калеккой», Америка — после победоносного завершения военных кампаний в Ираке и Афганистане — резко усилит *системное* давление на нашу страну, включая постсоветское пространство. Американские «стратегические» элиты надеются, что им удастся одолеть силы политического ислама до завершения модернизации российской экономики и качественного обновления военно-стратегического и «конвенционального» потенциала российских Вооруженных сил.

Таким образом, американская политика в отношении России не претерпела качественных изменений; разве что были внесены элементы «пацифистской» лексики в ее словесное оформление. Сохранение стратегических подходов Америки к нашей стране вносит окончательную ясность в мотивацию поведения России в отношении Запада в целом и США в частности. Наконец, нам ясно указали: «ахиллесовой пятой» является *демодедернизированная* экономика. Таким образом **преодоление технологической и хозяйственной «отсталости» становится главной стратегической задачей нашего общества, альфой и омегой российской политики.**

Недавно на высшем политическом уровне было признано: экономика России остается «отсталой» и неконкурентоспособной, а ее характер препятствует реализации нашей страной ее внешнеполитических замыслов. В свою очередь, положительные сдвиги в политическом сознании правящих кругов неизбежно порождают вопросы, от внятного ответа на которые напрямую зависит эффективность социально-экономической политики государства с вытекающими отсюда геоэкономическими и геополитическими последствиями. Постараюсь сжато сформулировать эти вопросы.

1. Будет ли фактическое признание фиаско «либеральных реформ» иметь следствием создание *альтернативной* стратегии развития России? Каковы будут основополагающие принципы такого рода стратегии модернизации?

2. Каковы «коридоры роста», или национальные проекты развития (а равно и принципы их отбора), реализация которых качественно трансформирует российское общество, включая его экономические и политические институты?

3. Когда в нашей стране будет, наконец, запущен *механизм развития* (в диалектическом единстве экономического роста на *индустриальной* основе, максимально возможной

занятости и относительно равномерного распределения национального дохода)? Каковы социально-политические силы, способные возглавить форсированную модернизацию России? Какие идеи могут ускорить перемещение российского общества на более высокий уровень экономического, социально-структурного и политического равновесия?

4. Как распорядиться наличными интеллектуальными ресурсами общества и провести эффективную перегруппировку сил в «верхах» с учетом очевидного провала «либеральных реформ» в России? (Показателем профессиональной «адекватности» «реформаторов» стала, в частности, их неспособность правильно оценить глубину кризисных трендов и инертность нисходящего развития отечественной экономики.)

В ситуации, сложившейся в результате краха идеи «спонтанного развития» (т.е. упования на всемогущую роль «рынка»), необходима общая оценка готовности российского общества к реальным и глубоким преобразованиям, осуществление которых откладывалось в течение двух последних десятилетий. Позволю себе выделить несколько обстоятельств, напрямую влияющих на модернизационный тонус народа и власти.

Во-первых, как общество «позднего старта» (первая промышленная революция в России началась в 50-е гг. XIX в., т.е. почти со столетним запозданием по отношению к Англии, лидеру индустриальных преобразований) наша страна изначально нуждалась в постоянном *возмещении* несформированности социально-политических образований — движущих сил модернизации в масштабах *всего* общества, т.е. буржуазии и промышленного рабочего класса. Такое возмещение — с разной степенью эффективности — осуществлялось практикой государственного интервенционизма. Отказ от интервенционизма — при отсутствии альтернативных и жизнеспособных идей и практик их применения — имел естественным следствием *системную демодернизацию* нашей страны и «затверждение» колониально-зависимой структуры ее хозяйства, последствия которых мы с особой силой ощущаем вследствие регрессии мировых цен на энергоносители. Таким образом будущее поведение мировых рынков энергоносителей — с ценой нефти 70—80 долл. за баррель — предвещает *качественную* перемену алгоритма нашего экономического и политического поведения.

Во-вторых, история отечественных модернизаций обнажает две фундаментальные поведенческие мотивации российских «верхов» в отношении Реформы. Первое: преобразования не должны изменять (в отличие от западной тракто-

рии взаимоотношений) сложившуюся систему институтов и формы их соподчинения, т.е. «надстройка», по определению, должна сохранять угнетающее воздействие на «базис», пренебрегая качественными изменениями в социальной структуре общества. Второе: смутное представление о *причинности* инерционных трендов в развитии экономики имеет следствием *контрреформы* с перспективой «неожиданного» экономического и политического кризиса. В этом смысле **эпоха Александра III, вторая половина «эры» Л.И. Брежнева и нынешнее время типологически сходны**. Трудно возразить авторитетному американскому ученому-русисту Дж. Х. Биллингтону: «Россия сменила политический строй, но собственно лица так и не обрела... После десятилетия хаотической зачастую свободы предназначение России по-прежнему остается неясным».

В-третьих, серьезным ограничителем реализации преобразовательного потенциала нашей страны выступает общемировое явление, которое известный историк Э. Хобсбаум иронически назвал «культурной революцией», видимо, по аналогии с известными событиями в Китае сорокалетней давности. «Культурная революция», согласно Хобсбауму, есть замещение рафинированных стандартов мировой и национальной культуры упрощенно-плебейскими проявлениями народно-бытовой ментальности, во всевозрастающей степени определяющими интеллектуальный тонус и духовную жизнь общества. Последствия второго пришествия «пролеткульта» для нашей страны уже стали трагическими: в России явно выражены демодернизация культуры и примитивизация интеллектуальной жизни общества — науки и искусства, экономики и политики. **«Провинциализация» общественного дискурса интеллектуально разоружает Россию, закрывает нам путь в мир научно-технической революции, обрекает страну оставаться «обочиной» мирового развития**. Наконец, удивительно, что сама власть не замечает, как тиражируемые при ее полном непротивлении культур-суррогаты (типа «Россия — страна непобедимой коррупции и неистребимого бандитизма») отбивают у иностранных инвесторов всякую охоту вкладывать капиталы, технологии и знания в экономику нашей страны.

В-четвертых, *миросистемный* аспект нашего «внутреннего» бытия представлен неослабевающим влиянием нынешнего всемирного кризиса, глубина и продолжительность которого пока недоступны пониманию «стратегических элит» в ведущих странах мира. **Кризис «западной модели развития» заставит большинство стран, включая Россию, искать свои пути**

выхода из крайне непростого положения: это — как раз тот случай, когда необходима полная мобилизация наличных внутренних, прежде всего интеллектуальных, ресурсов.

По логике вещей сама жизнь будет маргинализировать дилетантов от экономики и политики, этих своеобразных «временщиков», сделавших карьеру в предыдущую эпоху идейного «бездорожья». На новом этапе развития нашей страны будет решаться двуединая задача: 1) выработки *долгосрочной* модели развития как диалектического единства экономики, политики и «воспитания» научно-технических производительных сил и 2) институционализации взаимодействия *научного* (но не «экспертного», интеллектуально обанкротившегося) сообщества и правящих групп (при условии «концептуального», а не просто персонального обновления последних), как это имеет место в близких нам Индии и Бразилии с их солидным историческим опытом практического сотрудничества «академии» и «бюрократии».

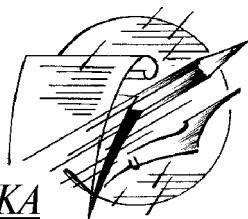
Наконец, «ресурсное проклятие» («resource curse»), как явление избыточной зависимости от экспорта энергоносителей и других видов сырьевых товаров действительно угнетает трудовые мотивации народа. Однако на то и существует власть, чтобы «видеть далеко, на много лет вперед», т.е. за счет умелой политики скрадывать недостатки национального характера и трансформировать исторически приобретенные слабости национальной ментальности в сравнительные преимущества, формирующие *этос модернизации*. Совокупность институтов и практик, совершенствующих общественное устройство, Эдвард Кеннеди нарек «государством стратегического видения». Несложно заметить: несформированность подобных институтов и вопиющая нехватка перспективно мыслящих политиков затрудняют преодоление нынешнего плачевного состояния российского общества.

На мой взгляд, содержательным итогом подобных интеллектуальных усилий должна стать **институционализация «государства развития»** (Ч. Джонсон) **в качестве главной движущей силы модернизации**, как это было в успешных обществах Дальнего Востока. Несформированность в России *субъекта модернизации* делает эту задачу политически безальтернативной. Наконец, окончательный демонтаж сформированной «либеральными реформами» гротескной и нежизнеспособной экономической конструкции определит будущее правящей элиты и всей страны.

ПЯТИДНЕВНАЯ ВОЙНА: НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

После распада СССР и вооруженных конфликтов начала 1990-х ситуация на Южном Кавказе развивалась в неблагоприятном для России направлении. США и их союзники осваивали этот регион и вели политику постепенного вытеснения России с Южного, а в перспективе — и с Северного Кавказа. Политика Москвы отличалась пассивностью, неслала на себе печать пораженчества и неоправданных иллюзий по поводу перспектив будущего сотрудничества с Западом. Следствием этого было то, что масштабы политического, военного и экономического присутствия РФ на Южном Кавказе неуклонно сокращались.

Ситуация начала меняться в первом десятилетии XXI века. В последние годы казалось, что произошла радикальная переоценка российской политики на Кавказе и она приобрела качественно новый характер. Это проявилось во время Пятидневной войны в августе 2008 г., а затем — в отказе от признания легитимными границ постсоветской Грузии (то есть бывшей Грузинской ССР), в официальном признании независимости Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 г., в заключении с ними договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, создании на территории этих республик постоянных российских военных баз, о совместной охране их границ и т.п.



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Вместе с тем и после Пятидневной войны главным недостатком российской политики на Кавказе продолжало оставаться неумение действовать на опережение событий. Создается впечатление, что после окончания войны Москва сочла достаточным создать военные базы и погранзаставы на территории Абхазии и Южной Осетии и сосредоточиться на экономической помощи этим республикам (к сожалению, слишком часто не доходящей до рядовых граждан).

После Пятидневной войны дипломатические отношения с Грузией были разорваны по инициативе Тбилиси. Российское руководство отказалось иметь дело с М. Саакашвили, которого оно объявило военным преступником, но не предприняло реальных шагов к его судебному преследованию. Информационная кампания по разоблачению на Западе совершенных грузинской армией преступлений против населения Южной Осетии не идет ни в какое сравнение по масштабам с систематической пропагандой в защиту «маленькой демократической Грузии», обижаемой «имперской» Россией.

После Пятидневной войны Москва провозгласила политику невмешательства во внутренние дела Грузии, заявила о признании ее территориальной целостности и стала ждать, что грузинский народ сам свергнет и осудит Саакашвили за совершенные преступления. В итоге грузинский диктатор получил возможность оправиться от военной катастрофы, получить поставки нового вооружения и восстановить боеспособность своих вооруженных сил.

Лишь после возобновления практически ежедневных обстрелов Южной Осетии с грузинской территории российское руководство заявило о том, что с 3 августа 2009 г. контингент российской военной базы будет проводить мероприятия по безопасности в связи с годовщиной грузинской агрессии, в том числе и учения на территории республики. Президент РЮО Э. Кокойты приветствовал данное заявление Министерства обороны России и «очень жесткий настрой России по этому поводу». Однако было бы куда разумнее не утрачивать подобный жесткий настрой после Пятидневной войны, это позволило бы пресечь саму возможность возвращения Саакашвили к практике антироссийских провокаций и их использования в пропагандистской войне против РФ.

Российская дипломатия фактически упустила возможность использовать проблему транзита грузов в Афганистан для оказания давления на США и НАТО на кавказском направлении (да и постсоветском пространстве в целом). А увязывание российской позиции в данном вопросе с получением гарантий введения эмбарго на поставки вооружений го-

сударству-агрессору Грузии, по вопросу расширения НАТО на восток и другим затрагивающим интересы России проблемам было бы как нельзя более уместным (даже с учетом российской заинтересованности в дальнейшем пребывании войск НАТО в Афганистане). Вместо торга по проблеме транзита Москва пленилась объявленной Обамой «перезагрузкой» и фактически дала Соединенным Штатам и НАТО «зеленый свет» на перевозку грузов в Афганистан по российской территории.

В ответ Россия получила широкую улыбку Обамы и устные обещания улучшить к ней отношение. Все это в точности напоминает историю с такими же устными обещаниями двадцатилетней давности не расширять НАТО на восток после роспуска Организации Варшавского Договора и объединения Германии. Очень не хотелось бы, чтобы поразительное легковое М. Горбачева по отношению к нашим западным партнерам было унаследовано и нынешним российским руководством.

Россия продолжает оставаться единственным государством мира, которое обладает сравнимым с Америкой ядерным потенциалом, что диктует характер той политики, которую проводят по отношению к ней США и НАТО. Естественно, что США и НАТО будут стремиться к ее всемерному ослаблению, и это наглядно проявляется в столь существенном для безопасности России Кавказском регионе.

Заявления представителей новой администрации США по поводу кавказской политики до сих пор отличаются противоречивостью. Большинство чиновников Госдепа, оставшиеся на своих постах со времен Дж. Буша, заявляют о сохранении прежнего курса и подчеркивают, что изменения будут иметь лишь косметический характер.

Правда, объявленная Б. Обамой «перезагрузка» американо-российских отношений дает определенную надежду, что новая администрация может отказаться хотя бы от наиболее жестких форм конфронтации с Россией на Кавказе. Скорее всего кавказская политика Обамы будет исходить из целесообразности сокращения масштабов прямого участия США в делах региона и перекладывания большей доли забот по защите американских интересов на своих союзников по НАТО, а также на другие государства и международные организации (по аналогии с Ираком и Сомали).

При новой администрации США фактически отказались от курса на принятие Грузии и Украины в НАТО в максимально сжатые сроки. Сенатская комиссия по изучению политики США в отношении России не рекомендовала новой

администрации поощрять Грузию и Украину к скорейшему вступлению в НАТО. В разработанном этой комиссией документе предлагается «смириться с тем, что ни Украина, ни Грузия не готовы к членству в НАТО», и использовать другие возможности развития отношений с этими странами.

В качестве альтернативы членству в НАТО сенаторы предложили для Грузии и Украины «особую форму сотрудничества» с военным альянсом. Это мнение разделяется командованием НАТО. Накануне ухода со своего поста Генеральный секретарь Североатлантического альянса Яап де Хооп Схеффер заявил, что Украина и Грузия не готовы к вступлению в НАТО и данное положение едва ли изменится в обозримом будущем. Он подчеркнул, что желание руководства какой-либо страны еще не означает, что она обязательно будет принята в военный блок.

Однако это отнюдь не говорит об отказе от политики расширения НАТО. Сразу после своего воцарения в кресле генсека альянса его новый глава Андерс Фог Расмуссен потребовал от Москвы уважения суверенитета и целостности своих соседей и подчеркнул, что он продолжит «практическое сотрудничество» по поддержке реформы вооруженных сил Украины и Грузии. Расмуссен подтвердил возможность стать членами НАТО для Украины и Грузии при условии соответствия необходимым критериям альянса и, в отличие от своего предшественника, никак не высказался по поводу необходимых для этого сроков (что вызвало бурю ликования в стане украинских оранжевых и грузинских розовых демократов). При этом он признал Россию вторым после Афганистана приоритетом НАТО и заявил о стремлении к нормализации с ней отношений, что выглядело не слишком убедительным после слов о намерении продолжить политику расширения НАТО на восток.

Еще недавно упивавшаяся своим, как казалось, безграничным могуществом американская администрация относилась к своим союзникам по НАТО довольно пренебрежительно и не слишком считалась с их интересами на Южном Кавказе и в других регионах. Подобный покровительственный тон вызывал у многих европейских политиков нескрываемое раздражение. Теперь в условиях начавшегося упадка “*Rex Americana*” Вашингтон перестал муссировать тему осчастливленной Соединенными Штатами Европы и явно стремится переложить груз своих проблем на союзников по НАТО. Дополнением к плану расширения НАТО на восток стал проект «Восточное партнерство», который пришел на смену обанкротившемуся блоку ГУАМ.

Официально заявленная цель «Восточного партнерства» состоит в «реализации интеграционных инициатив» по отношению к не входящим в состав ЕС и НАТО шести постсоветским республикам — Армении, Азербайджану, Белоруссии, Грузии, Молдове и Украине. А именно: в повышении уровня политического взаимодействия, в обеспечении возможности заключения ассоциативных соглашений нового поколения, глубокой интеграции экономик «восточных партнеров» в экономику Евросоюза, упрощении визовых процедур, реализации совместных усилий в области энергобезопасности, а также в увеличении объема финансовой помощи.

Участие России в «Восточном партнерстве» не предусматривалось, что говорит о стремлении к ее политической и экономической изоляции. Реальная цель проекта состоит в блокировании интеграционных тенденций на постсоветском пространстве путем дезорганизации деятельности СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС.

Большинство инвестиционных проектов «Восточного партнерства» посвящены таким стратегически важным сферам, как энергетика, транспорт, охрана внешних границ, правоохранительная система, предупреждение чрезвычайных ситуаций. Наряду с этим предусматривается создание «Форума неправительственных организаций», который позволит Евросоюзу активно воздействовать на внутривнутриполитическую ситуацию в постсоветских государствах, в том числе путем финансирования оппозиционных организаций.

Несмотря на постоянные заявления лидеров ЕС о том, что «Восточное партнерство» не направлено против России, очевидно, что оно представляет собой попытку реанимации и расширения обанкротившегося блока ГУАМ, в свое время сформированного Соединенными Штатами в качестве антироссийской альтернативы СНГ. Пятидневная война на Южном Кавказе продемонстрировала полную недееспособность этого блока. Закономерно, что практическое осуществление проекта «Восточное партнерство» началось сразу после Пятидневной войны в условиях очевидной неспособности США и НАТО решить задачу вытеснения России и установления полного евроатлантического контроля над Южным Кавказом.

Вскоре после окончания военных действий состоялся чрезвычайный саммит ЕС, на котором была принята резолюция о необходимости «оказать поддержку региональному сотрудничеству и укрепить отношения с восточными соседями путем осуществления проектов «Восточное партнерство» и «Черноморская синергетика». Азербайджан и Грузия (вместе с Молдавией и Украиной) были включены в список участников «Восточного партнерства» без каких-либо условий.

Для Армении и Белоруссии условием допуска к обещанным «Восточным партнерством» выгодам стала «демократизация» государственного механизма и общественной жизни. Подобное требование имеет совершенно формальный характер, так как было бы нелепым рассматривать авторитарный (как считают на Западе) Азербайджан или совершенно дезорганизованные Украину с Грузией в качестве образцов развития демократии на постсоветском пространстве. Очевидно, что обещанные выгоды «Восточного партнерства» используются для давления на Армению и Белоруссию с целью добиться постепенной переориентации ее внешней политики, а в перспективе — отказа от союза с Россией.

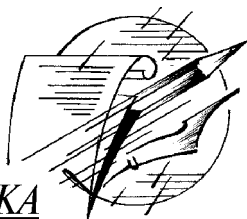
«Восточное партнерство» позволило США и ЕС оказать жесткое давление на руководство Белоруссии. В итоге Минск отказался от данных ранее обещаний и отложил процесс признания независимости Абхазии и Южной Осетии в «долгий ящик». В Армении развернута пропагандистская кампания, направленная на изменение общественных настроений в неблагоприятном для РФ направлении путем дискредитации российско-армянского стратегического партнерства (якобы не гарантирующего безопасность Армении, имеющего для нее неравноправный и невыгодный характер). Кавказ настолько важен для России, что самоуспокоенность и дальнейшее «почивание на лаврах» Пятидневной войны совершенно недопустимы. Политика России на Кавказе по-прежнему не имеет системного характера, меры на упреждение новых угроз опять запаздывают или не принимаются вовсе. Созданные победой в Пятидневной войне возможности укрепить позиции РФ на Кавказе были использованы далеко не в полной мере. А результат — новое обострение ситуации и рост негативных для России тенденций одновременно и на Северном, и на Южном Кавказе.

НОВЫЙ ОБЛИК ЕВРОПЕЙСКОГО ФАШИЗМА

Почему Запад вытесняет из сознания правду о Второй мировой войне.

Моему отцу было 17 лет, когда ему приказали переодеться в новенькую униформу и по военным делам отправиться на Восток. Прошло некоторое время, прежде чем он осознал, что началась Вторая мировая война. Чем дальше, тем больше его жизнь отличалась от той, которую он вел, неся обязательную после школы трудовую повинность. Это был вермахт. Началось нападение на Польшу.

Спустя многие десятилетия мой отец не любил рассказывать о той экспедиции, которую ему пришлось предпринять в рамках самой крупной международной агрессии XX века. Только когда речь заходила о том, как он побывал в советском плену, он говорил, что был в нормальных отношениях с русскими, охранявшими лагерь. «Еды не хватало, но русским и самим было нечего есть» — так он вспоминал ситуацию в советском лагере для военнопленных в 1945 году. Ни в то время, когда ему приходилось бывать на поле боя, ни по возвращении домой он понятия не имел о геополитической стороне той войны и о силах, которые заставили его лично и все его поколение отправиться завоевывать



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

половину континента, о которой он не имел ни малейшего представления. Сразу после войны освобожденное австрийское государство не предприняло попыток начать обсуждение причин фашистской агрессии. Время такого обсуждения наступило только в 1980-е годы, когда сменилось уже не одно поколение, а большинство непосредственных участников фашистской агрессии ушло из жизни или достигло очень преклонного возраста.

Столь длительное отсутствие в Австрии дискуссий на данную тему явилось благом не только для оставшихся в живых представителей нацистского режима, но и для нового истеблишмента, который принялся трактовать понятие антифашизма и причины агрессии в соответствии с собственными интересами.

1 сентября 2009 года, в день 70-летия начала Второй мировой войны, никаких мемориальных мероприятий или манифестаций в Вене не было. У парламента Австрии каникулы закончились только 2 сентября.

Германская Австрия во Второй мировой войне.

12 марта 1938 года немецкие войска вторглись в Австрию и стерли ее с карты мира в качестве самостоятельного государства. После этого австрийцы практически без проблем интегрировались в нацистскую Германию; по подсчетам историков, по состоянию на март 1943 года насчитывалось 690 000 «австрийских» членов НСДАП, из них 20 000 человек состояли в СС.

Движение Сопротивления в Австрии включало разные группировки, и попадали в него люди в силу самых различных причин. В первую очередь следует упомянуть австрийских коммунистов, за ними — консервативных клерикалов, леваков-юнионистов и большинство австрийских словенцев, живших в Каринтии, на юге страны. В этой ее части некоторые небольшие горные районы активно сопротивлялись оккупантам и так и не были ими заняты за все время нацистского правления. Наиболее крупные деятели Социал-демократической партии в движении Сопротивления не участвовали. Лидер социал-демократов Карл Реннер, которого после разгрома немцев в 1945 году Советы назначили первым канцлером, в 1938 году обратился к членам партии с призывом голосовать за интеграцию Австрии в гитлеровскую Германию. Его «да» «аншлюсу» на протяжении жизни целого поколения мешало социал-демократам занять четкую позицию по отношению к нацизму и войне.

Все шесть лет войны промышленность и сельское хозяйство Австрии функционировали исключительно за счет тру-

да иностранных работников, так как молодые австрийцы «исполняли свой долг» на фронтах Европы. Большинство этих иностранных работников было насильно вывезено из Польши, Белоруссии, Украины и России. Вплоть до августа 1944 года на территории Австрии их насчитывалось до 540 000 человек.

Финансовые компенсации за принудительный труд.

В 2000 году австрийское правительство под давлением либерального консерватора Вольфганга Шюсселя изъявило готовность закрыть вопрос о выплате компенсаций за принудительный труд. Прошло 55 лет, прежде чем труд «восточных работников» получил признание хотя бы в финансовом отношении, причем речь все равно шла о чисто символических суммах. Австрийское правительство учредило фонд размером в 430 млн. евро для оплаты компенсаций 150 000 оставшимся в живых на тот момент подневольным работникам, т.е. речь шла о 2800 евро на одного человека. Соответствующие претензии русских, белорусских и украинских организаций наконец-то были удовлетворены, хотя к этому времени большинства таких работников уже не было в живых.

Чтобы понять официальную позицию Австрии по данному вопросу (и понять, почему на решение вопроса о компенсациях за жестокое обращение понадобилось так много времени), следует учесть, насколько болезненной была эта проблема для военного поколения. Выплата компенсаций стала возможной лишь после того, как умерло большинство участвовавших в войне австрийцев, среди которых такой шаг не встретил бы понимания. Непосредственно перед этим шагом австрийское правительство ввело небольшую дополнительную пенсию для бывших солдат вермахта. Эта пенсия должна была стать компенсацией за вред, причиненный пленным австрийским солдатам, носившим форму вермахта. Следует ясно осознать геополитический аспект данного скандального решения: изначально полагалось, что компенсации будут выплачиваться только за вред, причиненный в советских лагерях. Тем, кто был в плену у французов, немцев и американцев, компенсаций не полагалось, и это положение сохранялось до тех пор, пока один из побывавших в плену на Западе бывших солдат не выиграл соответствующий иск в суде.

Введение дополнительной пенсии для тех, кто содержался в советских лагерях, оказывает двойное влияние на сегодняшнее восприятие Второй мировой войны. Во-первых, эта мера несет антирусскую направленность — общественности как бы дают понять, что условия содержания в советских

лагерях были гораздо более жестокими, чем в лагерях западных союзников. Во-вторых, дополнительно пенсионное обеспечение для австрийских военнопленных, содержащихся в советском плену, было установлено с целью обеспечить согласие австрийского общества на выплату компенсаций за принудительный труд лицам славянского происхождения. С точки зрения современной австрийской политики эта тема продолжает оставаться весьма болезненной.

Внутриполитическое насилие и внешняя агрессия.

Глубинные противоречия в восприятии Второй мировой войны коренятся в различии взглядов на соотношение роли внутренних и внешних факторов в эпоху нацистского режима. Внутриполитическая проблематика, оперирующая такими понятиями, как диктатура, расизм и антисемитизм, явно доминирует. Экспансия практически не рассматривается в качестве категории, пригодной для объяснения сути германской политики. Принятые оценки движущих сил Второй мировой войны преимущественно замкнуты на темы насилия и преследования различных групп внутри третьего рейха. На этом основаны взгляды австрийских политиков и массмедиа, а также изложение истории войны в школьных учебниках. **Современные немцы в оценках Второй мировой войны сосредоточены на таких вопросах, как диктатура в рейхе и холокост, а нападение Гитлера на Польшу, СССР, война с Великобританией, Францией, США все больше выпадают из сферы общественного внимания. Полностью вне поля зрения оказываются экономические движущие силы войны, толкнувшие фашистскую Германию к расширению территории, рынков и сферы интересов.**

В австрийском (и западногерманском) мейнстриме тема преступлений нацистского режима все более поглощает тему феномена фашизма в целом. Экспансия и внешняя агрессия в такой дискурс не вписываются, что странно, так как реальной причиной подъема фашистского третьего рейха было стремление к военной экспансии во имя преодоления экономических трудностей конца 1920-х годов и военно-политических ограничений, вытекавших из Версальского мирного договора 1919 года. Цель нападения на Польшу и агрессии на Восток состояла в захвате основных предприятий и отраслей экономики Восточной Европы. Уголь и сталь Верхней Силезии, нефть Румынии, сельскохозяйственная продукция Украины и т. д. — вот что было причинами стремления расширить территорию Германии и раздвинуть границы «жизненного пространства» немецкого народа.

Престарелый крестьянин в Нижней Австрии еще расскажет вам о том, как его обучали сельскохозяйственному ремеслу в 1942 году. Это было в специальной школе, расположенной неподалеку от его дома, в 150 км от Вены, где целый выпуск учился выращивать пшеницу на украинской почве. Ее доставляли в германский рейх поездами за более чем 1000 км, чтобы дать крестьянам возможность изучить свойства почвы, которую, как планировалось, им предстояло обрабатывать в ближайшем будущем.

И, наконец, основной причиной подавления на Западе восприятия Второй мировой войны как экономически обусловленной экспансии на Восток является нежелание видеть сходство того этапа и ситуации, сложившейся с 1989—1991 годов. Когда в начале 1990-х распались три полиэтнических государства — Советский Союз, Чехословакия и Югославия — крупный западный капитал был готов к захвату экономической базы на востоке. Это было реакцией на экономический упадок с начала 1970-х годов и в развитых странах, и на периферии мировой капиталистической системы. Западный капитал остро нуждался в рыночной экспансии, чтобы — как стало понятно каждому к осени 2008 года — оттянуть наступление структурного кризиса перепроизводства.

Поэтому аналогий между нацистским рывком на Восток в 1939—1941 годах и расширением сферы интересов Запада в 1989—1991 годах стараются всячески избегать. Вот почему в рамках восприятия Второй мировой войны в Австрии (и в большинстве стран Евросоюза) экономический анализ как таковой в основном отвергается. «Сегодня европейское пространство предоставляет обширные возможности для реализации нашего потенциала в пределах сферы наших политических интересов. Требуемые решения задачи, соответственно, настолько колоссальны, что не только перед нами, но и перед соседними высокоразвитыми странами открывается широкое поле для экспорта капитала» — так выразился 25 октября 1940 года член правления Deutsche Bank Герман Йозеф Абс, говоря о возможностях немецкой экспансии. Это не слишком сильно отличается от того, что мы привыкли слышать от деятелей Евросоюза в наши дни. И удивляться тут нечему — после 1945 года Герман Йозеф Абс стал руководителем Deutsche Bank.

Можно возразить, что экспансия капитала после перемен 1989—1991 годов не была сопряжена с военной агрессией. Это вроде бы верно в сравнении с ситуацией 1939—1941 годов, но верно не вполне, так как перехват экономических рычагов сопровождался также и военной экспансией. Не

надо забывать о войне НАТО с Югославией, которая ознаменовала собой окончание длившегося с 1945 года периода мира в Европе. Совершенно очевидно, что велась эта война не для того, чтобы поддержать сторонников самоопределения в Хорватии, Словении и Косове. 78-дневные натовские бомбардировки были произведены потому, что Сербия отказалась вписываться в концепцию мирового порядка, навязываемую МВФ, США и Евросоюзом. Однако не только эта горячая (а не холодная) война сопутствовала экономической экспансии западного капитала, начавшейся после переломных 1989—1991 годов. **Расширение НАТО, похоже, является условием членства в Евросоюзе — иначе невозможно объяснить, почему каждая страна, вступающая в Евросоюз, прежде присоединяется к НАТО.** И не надо забывать: солдаты стран Евросоюза (в ряде случаев включая австрийских солдат) в настоящее время находятся в Косове, Боснии-Герцеговине, Македонии и (иногда) Албании.

Дискуссий на эту тему очень опасаются и потому избегают, как только заходит речь о движущих силах Второй мировой войны. О внешней агрессии и ее экономических причинах не говорят. Ведь то или иное восприятие фашизма и войны, если воспользоваться выражением нобелевского лауреата Пола Кругмана, является своего рода «оружием массового поражения».

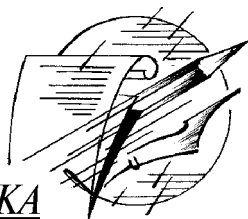
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ?

Приехали

Одним из главных мотивов вызвавших к жизни сборник «Вехи», явился позыв интеллектуальной совести русской интеллигенции «яснее уразуметь грех прошлого» как степень собственной причастности к рождению «духов русской революции».

Не пора ли и нынешней интеллигенции критически оглянуться на собственное деяние — либеральную революцию 90-х, по своим разрушительным последствиям явно превзошедшую исходные благие намерения? К сожалению, даже в свете «веховского прецедента» подобного поворота интеллигентской мысли не происходит — и немудрено, заблуждения прошлого видеть проще, чем осознать грехи настоящего. Об этом, в частности, свидетельствует статья С.Хоружева «Две три России спустя» («ЛГ», №14, 2009), предельно откровенная и честная в постановке диагноза современности и в то же время полностью лишенная подлинной рефлексии покаяния. Эту статью трудно оставить без ответа — и по вызывающему пессимизму ее выводов, и по тупиковой логике интеллигентского сознания.

Продолжая традицию «Вех» на уровне нашего нового века, автор выносит бескомпромиссный диагноз современной интеллигенции. Основной тезис



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

статьи неутешителен — «интеллигенции нет!»! Сказано веско, как констатация факта. И с этим трудно не согласиться. И тем более убедительна дальнейшая логика феномена иссякания: нет интеллигенции — нет Общества — нет Народа — нет Истории! Однако сама исходная позиция этого катастрофического ряда, запустившая процесс падения нынешней «очередной России» в историческое небытие остается не раскрытой. На вопрос: почему это так — почему оказалось, что «интеллигенции нет», и что же с ней такое случилось, ответа не дается. Между тем ответ просматривается в самом строе статьи, в полноте авторского самовыражения, в «чистоте безжалостного, идущего до конца жеста». В этом плане статья становится актом саморазоблачения интеллигентского сознания, последним вздохом его самоисчерпания.

Что вообще значит — «есть» интеллигенция, или ее «нет»? Это означает: выполняет она свою функцию в обществе или не выполняет. Если да, то как социально-культурный феномен она существует, если же нет, если не выдает на-гора некий исключительно ей свойственный общественный продукт — то ее нет. Ведь интеллектуалов как таковых в обществе достаточно, докторов наук, писателей, журналистов, деятелей культуры у нас хватает и вся эта когорта со своей профессиональной деятельностью вполне справляется. Так в чем же дело — почему интеллектуалы есть, а интеллигенции нет? Ответ в функциональной сфере: интеллектуалы не справляются с мировоззренческим вызовом истории — не могут сформулировать алгоритм национального будущего на уровне нового исторического горизонта. Интеллигенция исчезла недавно — на рубеже перевала 90-х. Здесь ее надо и искать!

Капитуляция

Функция интеллигенции в обществе исключительна — переводить идеальные смыслы национальной культуры в крупные формы общественного сознания способные преобразовать настоящее и предвирать будущее. По существу, это чисто идеологическая задача — осуществлять преемственность и развитие национальных идеалов в процессе истории. Интеллигенция оказывается ключевым духовно-мировоззренческим генератором идеологии как целостного выражения самосознания общества. Вот с чем никак не может справиться нынешняя интеллигенция! Она не выдает обществу новую идеологическую матрицу, адекватную запросу времени, не может проявить образ национального будущего — и поэтому ее «нет». И дело не в том, что не хватает интеллектуальных мощностей,

а в том, что вся сфера «национальной идеологии» признается как бы заранее (или уже) исторически проигранной в эпоху «советского тоталитаризма», якобы необратимо деформировавшего русскую историю на антропологическом уровне. Здесь, интеллигентно дистанцируясь от одержимого утопией «советского прошлого», современные интеллектуалы целиком предают национальную историю XIX—XX веков в ее самых возвышенных идеалах — признавая их поражение. Ведь речь идет не только о неудавшемся «коммунизме» как частном эксперименте большевиков, но фактически обо всей традиции русской мысли XIX века, которая, по словам Н. Бердяева, была «окрашена социалистически». В этом корень духовно-нравственной капитуляции современной интеллигенции перед лицом исторического вызова — в оставлении идей социальной справедливости, равенства и братства, выстраданных русской интеллигенцией XIX века и осуществленных в Советской России XX века, а также в неспособности подтвердить нравственную правоту и прогрессивность этого процесса. Вместо того, чтобы купировать ошибки советского опыта и теоретически преодолеть их на новом идеологическом уровне (как это сделал, скажем, Китай), сохранив тем самым органичность национальной истории и оправдав ее, нынешняя интеллигенция захлебнувшись в собственном диссидентстве 70-х, не смогла преодолеть внутренний «комплекс отрицания» и отказалась от русской истории как таковой, подписав акт ее идеологической капитуляции.

В итоге на сегодня у нас нет государственной идеологии, нет национального самосознания, нет исторического лица. Поэтому распадается наше общество, деградирует наш народ и иссыкает история. И вина в этом в первую очередь интеллигенции — в том, что ее «нет» как ведущего субъекта общественно-идеологической трансформации, в том, что она отвернулась от собственной истории и утратила логику национально-исторического развития.

А политика — дело второстепенное, в том смысле, что она следует за идеологией, вытекает из нее. И коль скоро мы, не моргнув глазом, отказались от собственного жертвенно-выстраданного «социалистического» проекта, то нам тут же предьявили западно-либеральный — капиталистический. И тут уж, как говорится, без обид. Вот и стоим у «разбитого корыта» собственной истории, молча наблюдая как ее пространство по-деловому заселяют не обремененные высокими материями «новые русские».

Статья С.Хоружева тем и симптоматична, что до конца последовательна и честна в этом отношении — в признании

факта национальной капитуляции. В отличие от многочисленных адептов чуда «православного возрождения» России на посткоммунистической разрухе или И. Шафаревича, нашедшего какой-то «третий путь» между «двумя путями к одному обрыву», она не строит иллюзий, а отрезвляет. В этом ее безусловное достоинство и значение.

Впрочем, кого сегодня смутит даже такой радикально-провокационный вывод? Безразличие к «последним вопросам» своей истории всего лишь следствие нового «национального выбора» — исторического конформизма, к которому все увереннее склоняется сознание новой интеллигенции. Может, правда, пришло время закончить русскую цивилизацию в этом режиме — пожить «как все», — чем не компенсация за отказ от пресловутой «самобытности»? Многим именно таким представляется окончательное решение «русского вопроса»: ни тебе Святой Руси, ни Третьего Рима, ни Светлого Будущего — а тишь и гладь обыкновенной истории.

Не случайно главным параметром политического действия становится ныне Прагматизм — альтернатива Идеологии. Но увы, на прагматизме далеко не протянешь, чтобы существовать в истории как цивилизация. Народу нужно большее — духовный потенциал национальной Идеи. Либо народ реализует эту идею в своей истории как «замысел Божий о данной нации» (по словам В. Соловьева), либо сходит с исторической магистрали. Таков и наш выбор: или мы найдем актуальный формат национальной идеи на уровне нового горизонта, или исчезнем как цивилизация, вспыхнув напоследок советским порывом XX века.

Наш выбор

Камнем преткновения для нынешней интеллигенции стала советская эпоха: ее не обойти, не объехать, ни столкнуть на обочину. Здесь фактически и происходит выбор. Если сказать кратко, то отношение к советскому прошлому как исходной интенции интеллигентского сознания приводит к следующим последствиям:

а) Отрицая подлинность Советской эпохи (как патологию «революционного припадка»), интеллигенция теряет опору истории и на рубеже очередной исторической трансформации оказывается неспособной сформулировать образ будущего. Идеологический процесс обрывается, не находя продолжения, — с ним обрывается и история. Идеологически отступаясь от прошлого, интеллигенция функционально стерилизует себя (интеллигенции «нет») — обрекая общество на

бессознательность, а народ на вырождение, и фактически подписывает акт капитуляции России. Дальнейшая русская история не имеет смысла.

б) Интеллигенция подтверждает легитимность Советской эпохи в качестве законной ступени русской истории, преодолевает барьер мировоззренческого перевала и в творческом синтезе формирует новую идеологическую альтернативу, открывающую врата будущего. Выполняя тем самым свою главную общественно-историческую миссию, подтверждая, что сама она — есть! Общество восстанавливает историческое самосознание, народ — исторический оптимизм, а русская история — перспективу.

Ведь этот выбор не задача политиков — они решают сугубо утилитарный вопрос о власти. Вопрос о национальной идее, о смысле национальной жизни, об образе будущего как цели национального бытия — это задача интеллигенции. И хотя эта задача сугубо идеальна, все же если интеллигенция найдет для нее адекватное историческое решение, то политики будут вынуждены с ним согласиться!

Настроена ли интеллигенция на подобную перспективу? К сожалению, нет. Контуженная политикой 90-х, сломленная крушением своих идеалов и убаюканная путинской «стабильностью», она, кажется, уже не способна к адекватному историософскому суждению. Будучи родом из СССР, плоть от плоти канувшей в Лету эпохи, она не может ни экзистенциально расстаться с ней, ни взглянуть на нее объективно. Поэтому подлинного осмысления советского опыта в национальном самосознании все еще не произошло. Да, наверное, и не могло произойти — большое видится на расстоянии. Только сегодня, почувствовав пустоту истории, мы можем ухватить главное в советском прошлом — его высокий цивилизационный смысл. Уже не в плане идей марксизма-ленинизма, а в контексте самой русской истории. И не в угоду политической «злобе дня», не знающей ничего святого, а ради исторической объективности и истины.

Именно здесь открывается непаханое поле для живой душой и совестью интеллигенции. Ибо то, что сказало о русской революции первое поколение «веховцев», и то, что думало о коммунизме диссидентство 70-х, не может быть окончательным приговором социализму — только нашему поколению интеллигенции, вставшему на краю гамлетовского вопроса «быть или не быть», принадлежит здесь последнее слово. На нас ответственность этой оценки, за ней — выбор будущего. Конечно, либеральные СМИ уже сейчас готовы предложить нам не один экземпляр обвинительного заклю-

чения — только подмахни, но, как присяжные в фильме Н. Михалкова, не будем спешить подписывать сомнительный приговор. Либералам здесь нечего терять, у них впереди «дом родной» — глобализация, у нас же на кону — вся русская история.

Пассионарность

Героизм русской интеллигенции, о духовной противоречивости которого говорил С. Булгаков, имеет помимо прочего историософское оправдание. Возможно, в этом и состоит исключительность русской интеллигенции как духовно-социального феномена. В контексте развития национальной истории этот героизм означал не что иное как нравственное чувство исторической перспективы, предчувствие нового, еще не освоенного исторического пространства, в котором возможна какая-то новая, более совершенная и справедливая жизнь. Отсюда всеобщая духовная «одержимость» социализмом и революцией, а не от соблазнов теоретического утопизма. Это было подлинное и живое чувство национальной истории, готовность к ее творческому и жертвенному преображению.

И этот порыв русской интеллигенции был оправдан — в истории было открыто и реализовано новое цивилизационное пространство — советская цивилизация, в которой так или иначе воплотились все чаяния русской интеллигенции. Да, с многочисленными издержками материализма, позитивизма и атеизма, которыми болел весь XIX век, но новое общество было построено. И это факт, а не утопия! И волевым энергетическим началом этого «будущего» был жертвенный подвиг русской интеллигенции. Да, авторы «Вех» смогли оглянуться на полпути, осознав духовное искажение общественно-исторической динамики (и были правы), но общий цивилизационный импульс был уже неостановим. Процесс пошел именно так, как он сформировался в русле реальной истории.

Нынешнее состояние российской интеллигенции характеризуется, увы, противоположным образом. Ни героизма, ни пассионарности, ни чувства будущего. Будущее заблокировано в тупике интеллигентского самосознания! Растерянность, а не героизм, апатия, а не подвижничество, безразличие, а не идеалы определяют сегодня состояние интеллигентского духа. В итоге русская история остановилась, обернувшись неммым вопросом к русской интеллигенции — что дальше?

Диссидентство

Казалось бы, накопленный десятилетиями диссидентский пафос должен был привести к исключительному творческо-

му всплеску при освобождении от оков «тоталитаризма», но этого не произошло! Диссидентство оказалось идеологически бесплодным состоянием интеллигентского духа. Пафос отрицания, как оказалось, не имел за собой достойной русской истории альтернативы, что и вылилось в итоге в унижительное принятие западно-либеральной модели развития не только в экономической сфере, но и в сфере мировоззрения и культуры. Конечно, здесь не обошлось без коварства политических манипуляторов, умело отодвинувших на задний план диссидентов-почвенников и поднявших на знамя национальной трансформации диссидентов-западников. Но и сами «почвенники» давно обрубали все концы, связывающие их с реальностью советского выбора. Вся плеяда выдающихся деятелей 70-х — Солженицын, Шафаревич, Бородин и др. — за редким исключением оказалась неспособна «наступить на горло собственной песне», чтобы удержать равновесие национальной трансформации, не обрушить ее в катастрофический сценарий. Даже откровенно-вероломный опыт 90-х не вернул их на землю, в реальность исторического процесса, не подвигнул к поиску путей торможения идеологического, политического и социально-экономического распада Советского Союза — объективного на тот момент носителя русской государственности, истории и культуры. В итоге нового синтеза прошлого и будущего как поступательного раскрытия русской цивилизации на новом историческом горизонте не состоялось. Россию ловко умыкнули те, кто был менее заметен, но более четко представлял, что с ней делать.

Почему проиграла «русская партия» и уверенно победила «либерально-демократическая», лихо управляющая сегодня русской историей? Не потому ли, что диссидентствующий пафос отрицания советского строя оказался в той же «русской партии» слишком чрезмерен, и под шум обвала дряхлеющего «марксизма-ленинизма» либералы выкинули «ребенка» русской истории XX века — социализм — воплощенную идею справедливого общества. Ведь это был законный наследник русской истории! Только с ним, с его ростом и развитием, одухотворением и возмужанием, могла быть связана будущая русская цивилизация. Но его выкинули под молчаливое согласие интеллигенции и недоумение общества, а теперь удивляемся, что русская история иссякла.

Ритуальное убийство «будущего» произошло в 93-м, — тогда же исчезла и интеллигенция как интеллектуальная совесть нации. Старая «диссидентствующая» интеллигенция посчитала свою миссию по «борьбе с коммунизмом» выполненной и отошла на покой, а новая уже не имела предметного осно-

вания для идеологического творчества (прошлого нет) и не смогла сформулировать реальной идеологической альтернативы. Тем более, что в рамках либерально-рыночной парадигмы, в координатах которой вдруг оказалась Россия, по Ф.Фукуяме просто нет выхода — это «конец истории». Именно поэтому тщетны все попытки проектировать российское будущее на этой основе, и именно поэтому не мудрствующий политический прагматизм встраивает Россию в структуры глобализации. А остаткам интеллигенции, соответственно, уже ничего не остается, как искать «национальное возрождение» в архивах дореволюционного прошлого.

Слишком катастрофичны оказались последствия «диссидентства». Простой констатацией того факта, что «целили в коммунизм, а попали в Россию» здесь уже не отделаешься — надо додумывать это исключительное обстоятельство до конца. Не означает ли оно, что коммунизм отныне цивилизационно неотделим от России на имманентном уровне, как неотделимо от нее православие или петровская модернизация? Россия сделала свой выбор в 1917-м — дух коммунизма слился с русской идеей в исторической реальности и этого никто уже отменить не может! Отвернуться от него, признать его ошибочным — значит лишь предать собственную историю, потерять ее смысл. Ведь это не отвлеченная игра в идеологические «измы», как полагает полуинтеллигентское верхоглядство, за этим выбором пот и кровь жертвенного подвига русского народа — наших отцов и дедов — смотреть на него свысока у нас нет никаких оснований. Они построили Великую Советскую Россию «от южных гор, до северных морей» — мы потеряли ее. Поэтому оставим на постаментах наше «бронзовое» прошлое, оно нам может еще пригодиться.

К сожалению, последнее невдомек так называемой «православной интеллигенции». Оказавшись прямым идеологическим наследником исторической России в ее духовно-мировоззренческом содержании, православная интеллигенция поддалась соблазну самоуверенного и беспощадного реванша по отношению к коммунистическому прошлому. Это отрицание советского периода с позиций «торжествующего православия» особенно болезненно для русского будущего, так как блокирует возможность нового исторического синтеза. Положим, у церкви свои счеты с коммунизмом, но надо же понимать, что, кидая камни в коммунизм, мы вновь и вновь попадаем в пострадавшую Россию. Хитон русской истории не может быть разорван, какой бы она ни была — это одна Россия!

Быть или не быть

Итак, что же дальше? Что делать с нашим огромным и неоднозначным историческим наследством — принять его или

предать забвению? В этом гамлетовском мотиве и состоит сакраментальный выбор интеллигенции: продолжить дело русской интеллигенции по утверждению на земле социальной правды — и «быть», или признать его бесславно законченным — и отойти в сторону. Можно сказать и более конкретно: вопрос о русской интеллигенции по-прежнему связан с социализмом. ... Не поздно ли об этом? — социализм мертв. Самое время. И не только потому, что капитализм в «кризисе», а потому, что в этом диалектика: конец «старого» социализма — знаменует новый социализм.

Есть такая перспектива. Как ни парадоксально, она в том резерве национального развития, о котором говорили авторы «Вех», обличая революционную интеллигенцию в забвении и отвержении христианства. Их голос не был услышан — так распорядилась история, чтобы до конца исчерпать иллюзии «атеистического социализма». Но это же обстоятельство подразумевает возможность нового возвращения к идеям социализма уже на одухотворенной, христианской основе — и в этом новая Идеология и новая История! Тема социализма в русской истории еще не снята, и тот же С.Булгаков в одной из поздних своих работ писал, что христианский социализм как таковой возможен и «думается нам, его не миновать в истории».

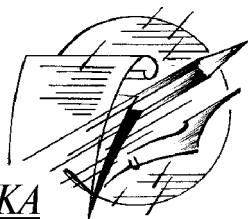
Но это, правда, будет уже другая история...

От редакции. Вся беда в том, что т.н. российская интеллигенция ни в какие времена не являлась «генератором идеологии как целостного выражения самосознания общества», о котором говорит автор данной статьи. К великому сожалению, интеллигенция как таковая всегда была тормозом и противником целостного самосознания русского народа и генерировала негативное отношение к национальным интересам Российского государства. Интеллигенция во все времена была диссидентствующей по отношению к России — в том числе и в XIX веке. Именно она, интеллигенция XIX века, привела к трем революциям начала XX века, морально и идеологически вскормила предательскую горбачевско-ельцинскую вакханалию и сыграла главную роль в разрушении Советского Союза. Другой интеллигенция не бывает и быть не может. Об этом — в следующем материале.

НЕВЕЖЕСТВО ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Помню, как в конце зимы 1997 года провел я целый месяц в ныне проданном подмосковном Доме творчества писателей «Малеевка», тогда уже еле-еле держащемся на плаву, да и то лишь благодаря банковским акционерам, совладельцам «Малеевки». Свое название этот «Дом творчества» практически в том году уже не оправдывал: за всю зиму, не считая меня, здесь побывали только два писателя — Валентин Распутин и Семен Шуртаков. Все остальные «отдыхавшие», в основном двухдневники, были работниками московских банков. Писателям же Дом творчества стал не по карману.

А ведь во времена благословенного «застоя», «партийной диктатуры», «советского тоталитаризма» и так называемой «командно-административной системы», ДТ «Малеевка» был излюбленным местом известных литераторов «демократической» национальности или, как они себя называли, «москowsкой литературной элиты». «Малеевка» исконно считалась их родным домом, государственной дачей, местечковой вотчиной, так как путевка сюда стоила копейки (львиную долю доплачивал Литфонд), но вот выбить ее в Литфонде «неэлитарному» русскому писателю было крайне проблематично.



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

В любое время года «Малеевка» была заполнена ее постоянными обитателями. Мало того, что многие из них жили здесь со своей родней, помимо этого на территории ДТ работал детский сад, где их чада находились в течение всего лета.

Не перечать бывших «элитарных» «законодателей литературной моды», перебивавших и кропавших тут свои серые, а нередко пасквильные, русофобские опусы: Рассадин, Сарнов, Урнов, Латынина, Ахмадулина, Мориц, Бек, Чудакова, Н.Иванова, Т.Иванова, Петрушевская, Карякин, Рейн и т.д., и т.п. Теперь и фамилий-то всех не припомнишь. Будучи литературным навозом для взращивания разрушительной, мертвящей идеологии, использованной прямыми врагами России в деле уничтожения великой Державы, многие из них поначалу растерялись, оставшись у разбитого корыта. Но потом с личной выгодой быстренько перекинулись в стан откровенных русоненавистников, дорвавшихся до власти.

Теперь у московских писателей остался только один Дом творчества «Перedelкино», но мало кто может себе позволить там отдыхать и работать: стоимость путевки туда такова, что лучше «творить» в московской квартире или у себя на даче, если она есть. Но из-за этих неудобств либерально настроенные литераторы ни разу не возмутились, точно все они запрограммированы на одну-единственную установку: чем хуже для России, для русских, тем лучше для них. Создается впечатление, что они, глядя на наши проблемы, действительно лучше себя чувствуют даже при всех собственных потерях, неудобствах, издержках, личных неприятностях. И рассуждают они примерно так: пусть мы испытываем сегодня временные трудности, но русским намного хуже, чем нам, и это хорошо.

Такого рода «творческая интеллигенция» не создала никаких духовных ценностей для народа и не способна была ничего значительного создать в силу своей эгоистичности, брезгливости по отношению к народной жизни и отчужденности от русского сознания.

Однако только эта «творческая интеллигенция» в прошлом безгранично пользовалась всеми благами советского строя и «тоталитарной системы». Несмотря на всё ее так называемое «диссидентство» и глухую ненависть к социализму, коммунистическая власть пестовала ее, нянчилась с нею, как с неразумными детьми, выкармливая чуть ли не с ложечки.

Вспомним, какими тиражами выходили книги «гонимых» и графоманствующих Евтушенко и Вознесенского! А Окуджаву в «Новом мире» (1997, №1) при всей своей неблагодарности к прежней власти откровенничал о том, как его бес-

счетом включали в творческие и зарубежные командировки, оплачивая за государственный счет дорогу и проживание в лучших гостиницах страны и Европы.

Тем не менее они всегда были недовольны той властью, той системой и народом, выстаивавшим в очередях за билетами на их выступления. Они всегда мечтали о разрушении «этой страны». Дождались... И кому теперь нужны Окуджава, Вознесенский, Ахмадулина? Где в последние десять лет жил Евтушенко, кричавший на наших стадионах о преступной Америке? И кто теперь читает «Новый мир», начисто отказавшийся от освещения современной жизни народа и болей страны?

Либеральная «творческая» интеллигенция, демократические журналисты и политологи, эксперты и «правозащитники» — вся эта циничная рать пошлых болтунов и ненавистников России — обозначились явно, стали видны и понятны каждому мало-мальски думающему человеку. Они ежедневно саморазоблачаются, без нашей помощи срывают с себя маски «защитников прав человека». Только, наверное, несмышленным детям не ясно, о чьих правах они заботятся и кого понимают под словом «человек».

Помню, как десять лет назад в передаче «Преступление без наказания» кукушка демократии С.Сорокина вместе с В.Познером и Е.Киселевым в своей обычной хамской манере бросали обвинения заместителю министра внутренних дел в нераскрытии убийства В.Листьева. Но эти и подобные им тележурналисты до сих пор не поняли, что Листьева убило то самое криминальное государство, создание которого он идеологически и морально подготавливал с первых дней своего участия в антисоветской, антигосударственной передаче «Взгляд». Исполнители этого и других подобных убийств выпитывали тот самый яд, разлагавший души подрастающего поколения, что изливался из «взглядовских» телепередач. И пуля, настигшая Листьева, не что иное, как бумеранг, пущенный им против Советского Союза и ударивший его в спину, когда этого государства уже не существовало.

Смешно было смотреть, как Е.Киселев проводил в «Итогах» «журналистское расследование» распродажи израильским компаниям высшими министерскими чиновниками акций приватизированных предприятий алюминиевой промышленности. Смелости Киселева хватило только на «разоблачение» причастности к этому беспрецедентному государственному преступлению давно оставшегося не у дел бывшего вице-премьера Сосковца. Но вот действующего премьера Киселев не трогал... И о Чубайсе не заикался... А ведь акции алюминиевых заводов скупались «гражданами Израиля» на чубайсовские ваучеры...

Антинародность интеллигенции была прямо обозначена еще в начале двадцатого века в известном сборнике статей «Вехи». Тема эта поднята многими публицистами и в наши дни. Но вся ли она обязана нести на себе вину антинародности? Ведь есть и всегда была, как нередко говорят оппоненты, национально ориентированная часть интеллигенции...

Например, Сергей Кара-Мурза в «Нашем современнике» совершенно справедливо изобличал российскую интеллигенцию в абсурдности мышления и чуть ли не в шизофрении. Он тоже обвинял в этом **всю** интеллигенцию, хотя имел в виду, конечно, ту самую, о которой тут говорилось выше, — либерально-демократическую, обладавшую евреизированным сознанием. Правда, сам он писал о «родовой болезни русской интеллигенции», заключающейся в том, что «в своих философско-экономических воззрениях она придает гипертрофированное значение распределению в ущерб производству». Но он напрасно называл ее русской. Этот камень, как говорится, был брошен не в тот огород.

И распределение, и приватизацию, и присвоение чужого в ущерб производству в своих убогих «философско-экономических воззрениях» предпочитает воспевать и оправдывать не кто иной, как только либеральная евреизированная интеллигенция. Русские же ученые, писатели, публицисты все «перестроечные» и «реформаторские» годы противостояли этим безжизненным «философско-экономическим воззрениям». Достаточно ознакомиться с патриотической прессой последних пятнадцати лет. И есть ли основания этот мыслящий слой творческих личностей относить к категории интеллигенции? Ведь известно, что понятие «интеллигенция» в русской литературе XIX века являлось отрицательной и даже издевательской характеристикой. И, в сущности, в наши дни ничего в этом смысле не изменилось.

Интеллигенция, не имеющая национального духовного стержня, всегда — вредная для государства категория общества. И приходится констатировать, что российская (читай — евреизированная) интеллигенция этого стержня не имеет. Она стоит в стороне от национальных интересов страны, космополитична, поверхностна, эгоистична и чаще всего враждебна ко всему, что созидательно и положительно для жизни нашего народа. Именно из ее рядов выходили диссиденты и отщепенцы общества, ведшие паразитическое существование, которые, в свою очередь, «теоретически» подготавливали предателей и духовных перерожденцев всех уровней.

В эту общественную прослойку, конечно же, никак не может входить русский, национально мыслящий слой образо-

ванных людей (под словом «русский» я понимаю дух, сознание, а не просто кровь). Кто-то склонен называть этот тонкий слой «русской национальной элитой». Но элита — понятие опять же космополитическое, предполагающее клановую замкнутость, нередко масонскую посвященность и отчужденность от народа. Интеллектуальная элита — это высший срез пирамиды интеллигенции.

Представители интеллигенции напичканы информацией в какой-то определенной области знаний. Но знания эти чаще всего бессвязны, не дают цельного представления о жизни человека в гармонии с природой и нравственными законами, данными людям свыше. Интеллигенция дремуче необразованна. Она кичится своим интеллектом, не понимая, что интеллект без работы души, без духовного зрения не способен познать всех сторон бытия, что интеллект без истинного образования — пустая форма, не наполненная жизнеобразующим и жизнеохраняющим содержанием.

Образование часто путают с получением каких-либо научных знаний. Но это — заблуждение. Понятие «образование» происходит от слова «Образ», причем в единственном значении — Образ Божий. Знания, полученные вне Божественного мироощущения и миропонимания, — безжизненны, бездуховны и поэтому — бессмысленны. Можно закончить несколько вузов и остаться человеком невежественным, н е о б р а з о в а н н ы м. И либеральная интеллигенция в России в основном атеистична, антиправославна.

Атеистическое «наукообразование» не может дать полных, органичных знаний о земной жизни, об окружающем мире и о человеке как части этого мира. Вот мы весь двадцатый век и осуществляли безумные промышленные и антиэкологические проекты, насилующие природу и человека: бесполезный Беломорско-Балтийский канал, равнинные ГЭС с затоплением сотен деревень и городов, вреднейшие АЭС и апогей безумства и вредительства интеллектуалов — попытка поворота северных и сибирских рек. (А ведь когда Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР утверждался проект поворота северных российских рек на юг для орошения среднеазиатских пустынь, другими политическими интеллектуалами-атеистами типа Шеварднадзе и А.Яковлева уже втайне планировались развал Советского Союза и отделение Средней Азии от России...) И кто спас наши реки от гибели? В жестокой схватке с либеральными интеллигентами тогда победили патриотически, национально и православно мыслящие русские, истинно образованные писатели и ученые.

Можно согласиться с Кара-Мурзой: интеллигенция не просто необразованна, она действительно шизофренично горда своим невежеством и своей необразованностью. В России мы сейчас наблюдаем ее полный моральный и интеллектуальный крах.

Чаще всего интеллигенцию называют либеральной, полнотью свободной в своей мыслительной деятельности от каких-либо сдерживающих нравственно-этических норм общества, государственных устоев, установок, запретов. Это так. Но слово «либеральная» ничего нашему народу не проясняет. В конце концов надо честно сказать: в России в настоящее время, как, впрочем, и в других странах Европы, либеральной интеллигенцией является исключительно еврейизированная часть интеллектуального общества. Именно эта интеллигенция подготовила у нас «перестройку», вскормила всех ее «вождей» от Г.Попова и Бурбулиса до А.Яковлева и М.Горбачева — этого бездарного, безграмотного, продажного «либерального интеллигента». Именно она, выбросив Горбачева на свалку истории, привела к власти Ельцина, разработала и осуществила грабительские гайдарино-чубайсовские «реформы» и со страниц демпрессы объясняла и оправдывала необходимость развала страны, уничтожения промышленности и обнищания народа.

Эта интеллигенция, сама того не сознавая, является раковой опухолью на теле российского общества, разрушающей его организм, чтобы затем погибнуть вместе с ним. От нее рано или поздно всем здравомыслящим народам придется освободиться, если они хотят иметь собственную культуру и национально ориентированную политику. Не случайно идеалом для нее всегда были и будут США — искусственно созданное, безнациональное, внекультурное, масонское государство, главным принципом политики которого неизменно остается экспансия интересов класса мировой олигархии, главных сионистских банкиров и наднациональной интеллектуальной элиты.

Опыт СССР показал: бессмысленно задабривать интеллигенцию любыми льготами, невиданными благами и красной икрой. Про эту неблагодарную публику давно сказано: «Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит!». Уж какими благами обладали Шеварднадзе и Горбачев!.. Но страсть к разрушению оказалась сильнее. Наш народ дал самое точное определение интеллигенции: г н и л а я.

Многие могут задаться вопросом: а что представляет собой техническая интеллигенция, неимоверно расплодившаяся в советское время? Как относиться к огромной армии пред-

ставителей так называемых бывших ИТР? Ведь среди них было вроде бы немало русских инженеров, конструкторов, младших научных сотрудников, служащих заводов, НИИ, учебных заведений... Вопрос справедливый. Вот только многие ли из них способны понять, отчего же они стали «бывшими»?..

Разве не итээровцы во все годы «перестройки» чуть ли не вприпрыжку, первыми прибегали на демократические тусовки и многотысячные митинги, с блеском в глазах слушая и воодушевленно поддерживая антигосударственные речи врагов СССР и русского народа? Разве не они составляли эти «многие тысячи», не имевшие ни ума в голове, ни Бога в сердце? Разве не они чуть ли не на руках носили Горбачева и Ельцина в периоды их наиподлейшей «славы»? Разве не они готовы были перегрызть горло любому, кто говорил про их «кумиров» правду?

Нет, не рабочие и крестьяне, а именно городские итээровцы привели к власти сионизированных «реформаторов», именно они ходили по квартирам и на всех углах агитировали за избрание в Верховный Совет и в Думу ставленников Сиона и «пятой колонны» ЦРУ.

Их не раз предупреждали в патриотической прессе: вы раньше других испытаете на себе все «прелести» перестроечной вакханалии, вы первыми станете жертвами «рыночных реформ». Но они ничего не желали понимать и слушать. И я хорошо запомнил, с каким диким восторгом на Манежной площади в 1990 году они встречали появление на митинговой трибуне Г.Попова, Старовойтовой, Новодворской, Гдяна, Каспарова, Коротича, Евтушенко и других витийствующих «демократов». С 1992 года их, зомбированных «сторонников демократии», действительно первыми повыгоняли с работы. Вот поэтому они теперь стали «бывшими» инженерами, «бывшими» научными сотрудниками. А те, кто еще не потерял работу, получают за нее смехотворные гроши или вообще ничего не получают. Но боюсь, что многие из них до сих пор не поняли причин своего бедственного положения.

Они по-прежнему называют себя интеллигенцией. Но кто из них способен открыто и громко сказать: я русский инженер, я русский конструктор, я русский ученый? Единицы. Это могли сказать Ильюшин и Туполев — русские конструкторы. Это мог сказать Курчатов — русский ученый. Это может сказать Калашников — русский инженер. Они — не интеллигенция, потому что интеллигенция этого никогда не скажет. Интеллигенция презирает русскость.

Эти строки пишутся не для того, чтобы унижить или оттолкнуть от нас тех, кто относит себя к интеллигенции. Наобо-

рот, моя цель состоит в том, чтобы пробудить в них национальное, патриотическое чувство, заставить их задуматься, спросить себя: с кем они, за что «боролись» и кто же они на самом деле? Сколько можно прятаться за это спасительное и бессмысленное определение: *интеллигенция?*..

Давайте вместе разберемся, отчего же интеллигенция стала такой. Кто-то может сказать: она не виновата в своей космополитичности и бесхребетности. Мол, таковой ее сделала система. В какой-то степени с этим можно согласиться. Безнациональная власть в СССР, система подавления русского самосознания действительно сделали свое черное дело, отбив у большинства русских людей всякое желание и всякую необходимость помнить о своих корнях, задумываться о великой истории русской нации и о ее предназначении в мире. И в первую очередь это касалось российской интеллигенции, обязанность которой состояла в распространении, в сохранении именно русской культуры, русской духовности, в утверждении патриотизма и приоритетов России в мировой политике.

Конечно, интеллигенцию прикармливали, холили, выпускали иногда за кордон, дабы посмотрела на «капиталистический рай», вкусила «благ цивилизации», ей давали понять: будете покладистыми — выпустим еще, повысим оклад, предоставим квартиру. Но всегда — держали на коротком поводке, запугивали партийными взысканиями, ярлыками шовинистов и антисемитов, после наклеивания которых карьера любого интеллигента рушилась мгновенно и бесповоротно. К тому же лица еврейской национальности мыслили свое существование в России только в качестве интеллигенции. И властями такой их статус всячески поощрялся. Среди всех наций СССР евреи прочно занимали первое место по количеству окончивших вузы (и дело тут, как многие понимают, не в их умственных способностях).

Все это было, и все это порождало в психологии интеллигента страх за карьеру, зависть, стукачество, подлое подсиживание друг друга, пресмыкание перед властью и «свободным Западом». Да, трудно было прорваться русскому сознанию сквозь все эти искусственные препоны «интернациональной» системы к пониманию истины Великой России. Соблазнов предательства было слишком много. Но ведь прорывались! Но ведь появлялись те, кто не приспособивался, а боролся за Россию, за русский народ, кто не боялся говорить правду, кто создавал истинные духовные ценности. Ведь знаем же мы бесстрашных, честных русских ученых: Ф.Я. Шипунова, Г.И. Литвинову, А.К. Цикунову (Кузьмича), Фе-

дора Углова, Михаила Лемешева, Михаила Антонова. Ведь знаем же мы русских художников Константина Васильева, Илью Глазунова, Александра Шилова, русских скульпторов Федора Викулова и Николая Селиванова, русского композитора Георгия Свиридова, знаем же мы наших русских писателей! Абсолютно неверно называть их интеллигенцией.

Как только человек умственного труда сознает себя личностью и ощущает в себе духовную силу, — он вырывается из космополитических, давящих объятий интеллигенции. Его душа прорывается сквозь оболочку материального, земного притяжения, где главенствуют выгода, страх, корысть, и устремляется в сферу духа, где наполняется мудростью, получает истинные знания, исходящие свыше, для русских — из небесной России. И тогда истина, творчество, Родина для этих людей становятся дороже всех земных удовольствий, личных выгод, и никакая власть не способна этих людей запугать.

ЗВЕЗДЫ НАД КОЛОДЦЕМ

РАССКАЗ

Одни просыпаются легко и беззаботно с уже приклеенной во сне улыбкой, другие, еще не открыв глаза, начинают хмурить брови, словно им заранее уже известны все неприятности наступающего дня.

Но хуже всего просыпаться с похмелья.

Еще не отпустили ночные кошмары, еще путается вчерашнее с привидевшимся во сне, а шум зарождающегося дня не несет ничего успокоительного.

Степан просыпался именно так. И почему-то на крыльце.

Почему на крыльце? Этот факт ему был неизвестен, но и причин знать не хотелось.

Затекла шея и левая нога. Первые движения отдались болью в изломанном досками теле.

Он проковылял босыми ногами к колодцу, жадно напился холодной воды, стуча зубами о край ведра.

Солнце только встало, но, судя по накиннутой на дверь щепке, жена уже ушла в поле. Сенокос.

Опять он никуда не попал. Квазит вторую неделю без выходных и отгулов.

Особенно по утрам становилось обидно и стыдно за себя, больно



ПРОЗА

было смотреть вслед уходящим на работу, не хотелось показываться на глаза соседям. Червяк презрения к самому себе начинал грызть ему душу, пока он хладнокровно не убивал его первым утренним стаканом.

Потом, казалось бы, все входило в привычный ритм, находились достойные оправдания его поведению, совесть затихала под грубым натиском сомнительных аргументов и последующих стаканов. Умолкала боль от ссоры с женой, отвернувшейся от него после третьего дня пьянки. Причин срыва Степан объяснить не мог, но старался уверить себя, что тут задето давно сдерживаемое, очень личное и ранимое. Он боялся признаваться себе, что это очередной запой, из которого ему самому вряд ли выбраться.

Солнце пронизывало влажные яблони и падало на стену старого, но добротного дома. Сколько дому лет, Степан точно не знал, но каждое поколение обновляло его, меняло подпревающие венцы, латало крышу и фундамент, и дом словно не старел.

Вот и сейчас дом ждал помощи, прося заменить потрескавшиеся наличники, покрасить крышу, перебрать полы в сенцах.

Степан все откладывал дела на лето, но вот оно и лето всю шпарит по горячей земле.

Помощь... Всем нужна помощь.

Помните, отец покойный как-то сказал: «Помощь требуется — глянь на икону. Понял?»

Какая там помощь. Видел он сверточек крохотный, внутри бумажка шуршит. Понятно — молитва.

Молитвой похмелью не поможешь.

Отец хоть и серьезный был, а видать, верил в эту дребедень.

В доме было тихо. Дети спали, отчего на душе Степана стало опять муторно. Он смотрел на лица спящих детей, и ему хотелось завывать от бессилия и пустоты в голове.

Стал привычно шарить по углам, ища выпивку, хотя прекрасно знал, что жена в периоды его запоев дома спиртное не держит.

Водку, видно, недопитую вчера, он обнаружил почти случайно. У порога, где висели телогрейки и его рабочие спецовки, стояли дряхлые валенки. В одном из них и стояла бутылка, в которой что-то оставалось.

Степан повеселел. Сбегал в огород за луком и редиской, отрезал хлеба. Похмелка — это праздник, и не надо суетиться и прятаться.

Аккуратно, в два приема, Степан одолел вчерашние остатки, убрал со стола крошки и растянулся на постели, бесцельно уставясь в потолок.

Потом взгляд его переместился на икону, и тут он понял, что в душе ему хотелось заглянуть в старую бумажку, где выцветшие, наверно, буквы хранят память о его предках.

Узелок на платке поддался туго, будто в раздумье. На ладонь выпала сложенная несколько раз бумажка.

Степан, почему-то нервничая, развернул старый листок и уставился в четкие, почти печатные, буквы отца:

« Степа! Я думаю, ты когда-нибудь обратишься к этому листку. Почему я так уверен? Не знаю, наверно, потому, что ты мой сын.

Если тебе будет особенно тяжело и нечем станет жить, сходи в подпол и найди в углу под горницей люк. А дальше... Дальше все поймешь сам. Твой отец».

Степан еще раз перечел пожелтевший листок с рубцами сгибов, почесал подбородок и задумался.

Что-то непонятно. Какой люк? Что там? Деньги, золото? Не верилось. Откуда?

Но в подпол Степан все-таки спустился. При свете тусклой лампочки вышвырнул из угла два пустых бочонка, откатил кадку с капустой, поскреб песок и наткнулся на лист железа. Квадратный кусок листового железа с приклепанной ручкой.

Степан не без труда отвалил крышку в сторону и заглянул в проем обмурованного колодца. Со дна ахнуло холодом и плесенью.

Степан уже явно заинтересовался. Ощупал верхние скобы колодца. Они держались надежно.

Степан сбегал в дом за спичками и свечой, выключил свет в подполе и с зажженной свечой стал осторожно спускаться вниз. Где-то метра через три скобы кончились. К последней была привязана вполне крепкая веревка, конец которой болтался в темноте.

«Значит, до дна недалеко», — решил Степан и повис на веревке. Свеча потухла. Он сунул ее в карман.

Веревка жгла руки, и Степан старался не спешить.

Но веревка, как и скобы, тоже кончилась, и Степан повис в непроглядной темноте в холодном чреве цементированного колодца.

Он попробовал подниматься вверх, но из этого ничего не вышло. Руки устали, а сердце после неожиданной нагрузки работало глухо и неровно.

«Придется прыгать, больше делать нечего. Не может здесь быть далеко до дна», — успокаивал себя Степан, постепенно ослабляя пальцы рук.

Падал он секунды две, но успел передумать кучу всяких нелепостей.

Упал в отвратительную вонючую воду, которая доходила ему до пояса. Но на ногах не устоял и ушел в воду с головой. Вода попала в нос и в рот, а когда он представил, что здесь могло плавать, если судить по запаху, его вырвало.

«Ну, куда меня черт понес! Сидел бы наверху, усваивал выпитые сто пятьдесят и плевал в потолок. Во, занесло!»

Он шарил руками по липким от плесени стенам, пока не понял, что откуда-то сбоку дует холодный поток воздуха. Он поднял руки выше и обошел колодец.

Наконец над головой наткнулся на выступ уходящего в бок хода и кое-как вполз на сухую землю. Здесь было теплее.

Степана бил озноб и нервная дрожь. Он понял, что наверх уже не подняться, а ползти по этой сомнительной дыре тоже не хотелось.

Спички намокли, и Степан швырнул их обратно в колодец. Потом пожалел: можно было попытаться их подсушить.

Дурак! Зачем он свет еще в подполе выключил и крышку прикрыл? Так бы жена заглянула, люк увидела, помогла бы.

Куда теперь? Степан пошарил рукой впереди. Земляной пол лаза, цементированные стены и потолок. Кому тут надо было рыться, и чего искали или прятали?

Ладно, деваться некуда, будем искать. Чего-то ведь отец намекал. Не зря, поди, намекал. За икону муру всякую не ложат.

Степан попробовал встать, но ход оказался очень низким, если идти, то, согнувшись пополам. Во всяком случае, лучше, чем ползти.

Он прошел шагов десять, опираясь левой рукой о стену, когда под ногами что-то хрустнуло. И тут же сзади с грохотом упало нечто тяжелое и металлическое. Степан вжал голову в плечи, ожидая пакости сверху, но все стихло.

Тогда он осторожно вернулся назад, чтобы узнать, что же там хряпнулось с такой силой? И вскоре нашел. Дорогу назад перекрыла металлическая решетка. Она шла от стены до стены, от пола до потолка.

Степан попытался приподнять железную калитку, перекрывающую путь домой, но та даже не шелохнулась.

Все было крепко и добротно.

Степан от души отmaterился и двинулся вперед. Но что за черт! Дороги дальше не было. Ход перекрывала точно такая

же, как сзади, решетка. Ну, попал! Спасибо, батя, за доброту и отеческий совет.

Степан сполз на пол и незряче уставился в темноту.

Если отец написал ему про этот лаз, значит, тут что-то есть. Вероятно, был здесь и сам. А, может, искать нужно было там, у колодца? Может, он пропустил где-то знак или записку.

Степан добрался ползком к противоположной стене и обшарил ее сверху донизу. И около самой решетки нашел керосиновую лампу. К ее ручке был привязан коробок спичек, облитый воском или парафином. Степан качнул лампу. Почти полная. Вот это удача!

Когда он разжег «летучую мышь», то сразу увидел на левой стене полку. Тут лежал кусок ножовочного полотна с деревянной рукояткой и еще один коробок спичек.

Назначение ножовки он понял сразу. Увидел на решетке и следы старых пропилов, снова стянутых швами ковки и клепки. Значит, ломиться все-таки нужно вперед.

С лампой стало веселее. Степан пристроился к нижнему концу решетки и стал неторопливо пилить толстый, с большой палец, прут.

Сначала он о чем-то думал, потом все мысли обрели один звук, издаваемый полотном, и Степан потерял счет времени.

«Вжик-вжик-вжик...»

Руки двигались автоматически, спина согрелась, и потянуло в сон. И он заснул, сидя у решетки и уткнувшись в нее лбом. И сразу увидел во сне отца.

— Ну, что, пилишь, сынок? — Голос отца звучал сухо и вроде бы с издевкой.

— Вот... — Степан неловко ткнул пилой в толстый прут.

— Ну, ну... А надо ли?

— Как так? — не понял Степан.

— А куда ты рвешься? К жизни или к пол-литру?

— Домой мне, — тихо прошептал Степан, чувствуя неожиданный страх. И очнулся.

Горела лампа. Полотно ножовки было еще теплым, выходит, и не спал он вовсе, а так лишь забылся.

Но в голове остался вопрос отца.

— Домой мне, — вслух повторил Степан и так заработал ножовкой, что поплыл дымок.

Прут лопнул.

Степан отогнул его в сторону, просунул в дырку лампу и протиснулся через решетку сам.

Здесь потолок стал выше, хотя стены сузились, идти можно было лишь боком, но во весь рост, и Степан тайно улыбнулся. Улыбнулся, но рано.

Ход повернул влево, потолок стал еще выше, пропал, и тут что-то произошло. Послышались нарастающий шорох и стук, Степан закрутил головой, и сделал шаг назад. Тут его и накрыло.

Сверху хлынула лавина каких-то камней, мусора, песка и грязи. Ему сразу забило глаза и уши, он закричал, закрывая собой лампу. Потом был удар, другой, еще и еще, а после — тишина.

Даже когда он очнулся, стояла та же первобытная тишина.

Он выбрался из завала, отыскал потухшую, но уцелевшую лампу и снова разжег ее.

Ход был почти завален, и если бы не последний шаг назад, то Степану вряд ли удалось бы выбраться из этого обвала.

«Понастроили, мудаки!» — Степан плевался грязью.

Особенно досталось спине и голове. Сорвало кожу на плечах.

Степан боязливо посмотрел вверх и пополз по обломкам досок и кускам известняка. Скоро он миновал зону обвала и снова встал во весь рост. Мысленно поздравив себя с удачным спасением, вытянул руку с лампой и зашагал дальше. Ход уходил вверх отвесным колодцем. Из боковой стены торчали ржавые скобы. Опять скобы.

Степан вздохнул и полез наверх, стараясь не уронить лампу. Наверху оказалась небольшая площадка, где стоял маленький грубый стол и нетесаная табуретка. На столе стояла короткая бутылка. Степан сначала решил, что она пуста, но когда взял в руку — увидел на дне граммов сто—сто пятьдесят светлой жидкости.

«Может, водка?» — радостно подумал Степан.

В бутылке действительно оказалась водка. Горькая и едкая.

Степан в три глотка вылил в себя угощение и вдруг подумал, что просто так тут не угощают. Или извиняются за физические травмы?

Прямо от стола ход круто шел вниз по наклонной плоскости. Степан вытянул фонарь, но дальше трех метров ничего не разглядел.

Он с сожалением оглянулся на пустую бутылку, вздохнул, как приговоренный к вечному мытарству, и шагнул вниз.

И тут же упал. Пол оказался мокрым и скользким. Его быстро, как с ледяной горки, понесло вниз с нарастающей скоростью, и он сжался, не ведая того, что ждет его дальше.

А дальше его ждала обычная банальная стена, которую фонарь высветил уже рядом, когда было уже слишком поздно. Но он еще успел как-то сгруппироваться, отвел руку с фонарем и вжал голову в колени.

Со всего маху его прилепило к влажной стене.

Перехватило дыхание, из разбитого носа пошла кровь. Фонарь выпал из руки, упал, но не разбился, хотя снова потух.

«А если бы стена была бетонная, — подумал Степан, — тогда — каюк!»

И вдруг он вздрогнул от внезапно пришедшей мысли.

«Этот ход никуда не ведет, эта записка — избавление от земных мук, я — лишний на земле, мне место здесь!»

Холодный, противный пот выступил под влажной рубашкой, морозец страха передернул мышцы спины.

«Не суетись! Еще не ясно, что дальше».

Степан с трудом разогнул разбитые колени, шмыгнув носом, выбивая на землю сгустки крови, и снова запалил лампу.

Сразу за стеной, в которую он воткнулся, куда-то вниз вел сужавшийся колодец.

Степан не обнаружил ни скоб, ни веревки. Бетонированные стенки вели круто вниз. Фонарь не просвечивал дальше трех метров густой мрак подземелья, и напрасно Степан силится что-то разглядеть за границей желтого пятна света.

Надо было на что-то решаться. Дороги назад не было, да и не преодолеть ее измотанному Степану.

Внезапно навалилась усталость и вязкая сонливость. Степан выбрал уголок посуше, загасил лампу и привалился боком к стене. Уснул он сразу, словно ухнул в темную утробу пещеры. И приснился ему сон, странный и неприятный...

Солнечный день, старые ветлы и корявая путаница сирени среди потемневших надгробий. Тихо переговариваются женщины в черных платьях, хмурые мужики стоят у новой могильной плиты. На плите четкая, выбитая строгим шрифтом надпись: «Зубов Степан Григорьевич». Там, где должна быть дата смерти — строка: «Пропал без вести».

У жены растерянное и удивленное лицо, но скорби почему-то не видно. Скорее легкая грусть.

Степан делает шаг к толпе.

«Вы что, мужики? Ведь я живой!»

Но его не замечают и не слышат, и Степан с ужасом осознает, что он лишь бестелесный дух, не похороненная по обычаю душа. Он пытается взять жену за плечо, но попытки его остаются незамеченными. Степан в отчаянии падает на землю и сжимает руками влажный песок свежего холмика...

Так он и просыпается с песком, зажатым в руке. Долго не может понять, где он находится, таращится в черную тишину и ощупывает шершавые стены пещерки.

Наконец все вспоминает и зажигает спасительную лампу. Он еще не знает, что скоро лишится и этого путеводного огня, останется один на один с темнотой и гнетущей тишиной.

Он высвечивает узкий тоннель вниз и, кусая в задумчивости губы, прикидывает возможную высоту, потом решается.

Фонарь укрепляет на груди и начинает осторожно спускаться, опираясь в стены ногами. Он понимает, что долго так не продержится. Если бы спуск был более вертикальный, он бы давно летел в пустоту.

Цемент больно врезается в ладони, режет спину через тонкую материю рубахи, ломаются ногти, кажется, что делает он это уже долго, но прошло лишь несколько томительных минут.

Нога срывается совсем неожиданно. Цепляться было не за что, и Степан безропотно отдался силе земного притяжения. Два раза его ударило, и он уже приготовился к худшему, но его встретила вода. Уйдя с головой, он где-то коснулся дна и вынырнул.

Вода, если стоять на цыпочках, доходила до подбородка. Лампу с груди сорвало, и она утонула. Вода была ледяной, и Степан суматошно стал искать во тьме выход.

Всюду были отвесные стены. Внизу колодец расширился, и водой было залито пространство метра три на три.

Степан торопливо проплыл по кругу, прошарил стены рукой, но ни на что путное не наткнулся.

Для отдыха пришлось становиться на балетный манер, но сам отдых в холодной воде удовольствия не доставлял.

Что делать? Надо было думать быстрее, долго в такой купели не продержаться. Он не морж. Теперь он плыл по стене медленно и шарил вверху высоко поднятой рукой.

Ага! Вот она. Металлическая скоба, стьялая и корявая от ржавчины. Степан подтянулся, повис на согнутой руке и подбородке и свободной рукой обшарил стену выше. Вот она! Вторая скоба. Подтянул тело вверх и встал на нижнюю скобу ногами. Перевел дыхание.

Путь вел куда-то ввысь, чуть в сторону от тоннеля, по которому он недавно пролетел обреченным мешком.

Скоб оказалось десять. Это был другой параллельный колодец.

Преодолев последнюю скобу, он вылез на сухую площадку. Хотел зажечь спичку, но коробки не оказалось. Теперь он был слепым и мог полагаться только на чуткость рук и надежность ног.

Боясь, как бы не упасть снова вниз, он обошел по стенке небольшое пространство. В противоположной от колодца стене начинался узкий лаз.

Степан согнулся, потом лег и медленно пополз вперед. Вскоре он заметил, что ход сужается. Теперь его плечи касались боковых стен, голову он почти не мог поднять. Потолок

был почему-то выложен битым щебнем, и при каждом неосторожном движении острые углы больно впивались в тело, рвали непрочную рубаху и кожу.

Больше всего Степан опасался оказаться зажатым в этом каменном гробу. При мысли об этом его начинало лихорадить, не хватало воздуха и хотелось громко орать. Он понимал, что это не замечаемая прежде боязнь замкнутого пространства. Он не помнил научного термина этой болезни, но полагал, что это пройдет. Надо только успокоиться, думать о чем-то другом. Как он, например, выберется наверх... И... что и? Опять налакается соседского самогона? Или будет клянуть у жены на пузырь?

А сколько, интересно, теперь времени? Неужели еще день? Или уже ночь? Сколько он спал в последний раз?

Левая рука провалилась куда-то вбок. Степан ощущал новое пространство. «Ясно. Боковой ход. Так куда лучше? Ладно, пока прямо». Но через несколько метров Степан уткнулся головой в стену. Тупик. Неуклюже пополз задом. Боковой ход был чуть просторнее. Степан пополз быстрее. Болели сбитые локти, саднили ладони. Особенно болели пальцы на ногах.

Навстречу повеяло сухим, но спертым воздухом! Стало теплее. Это почему-то оживило Степана.

Выполз он, по его понятию, в просторную пещеру или комнату. Ощупал стены. Встал во весь рост. Когда дошел до последнего угла, наткнулся на что-то громыхнувшее под ногами.

Нагнулся. Палки или ветки. Отполированные. И тут пальцы наткнулись на верхнюю часть находки. Это был череп. Перед ним лежал скелет человека. Степан попятился, пока не уперся спиной в стену, вновь лихорадочно ощущал все сверху донизу.

Пещера была тупиковой. Как и весь ход. Вот он — конец блужданиям. Скелет — ясный намек на тщетность дальнейших попыток.

Назад идти некуда. Там колодец вниз, вода. Колодец вверх не одолеть. Он вниз-то спуститься не сумел. Может, он где-то пропустил еще боковой ход?

Степан снова вполз в узкий лаз, дополз до развилки, потом до колодца, ощущал все стены и потолок. Дальше хода не было.

Возвращаться в мрачную пещеру к скелету не хотелось, но там, по крайней мере, было просторно и сухо. Степан одолел узкий лаз и уселся в углу пещеры.

Значит все, финал. Стоило столько карабкаться и пыжиться, чтобы доказать свою тягу к жизни. Лучше бы очокуриться там, за первой решеткой. Спасибо, папаня! Помог! А кто

же это в том углу? Родственник или так, случайный гость? Много вопросов, Степан, много. Ответов нет. Кури, Степа, приехали. Сколько же времени он тут? Наверное, не так много, как кажется.

Мысли толкались сначала хаотично, набегом, потом потекли плавно, ухватившись за нить воспоминаний...

Свадьба... Молодая и счастливая Наталья. Дымок белой фаты на улыбающемся лице. Полные и зовущие губы, озорные глаза. И неторопливые, нежные руки, незаметно, но настойчиво отбирающие у него стакан... Душная, угарная ночь. И алая полоска зари за надутым парусом тюля открытого окна.

Остатки ночной тишины в неподвижных кронах старых лип. И слова. Нежные и ласковые, как руки Натальи... Рождение дочери, потом сына. Новые заботы, новые обязанности и гордость, смешанная с удивлением при виде маленьких и пухлых рученок, тянущихся к материнской груди.

Откуда это все? Ведь из ничего. Научные разьяснения Степан принимал с согласием, но до конца не воспринимал сердцем и чувствами необъяснимую тайну рождения.

Ночами, когда утомленная Наталья засыпала, а дитя начинало капризничать, он осторожно распеленывал маленькое тельце и смотрел, как ребенок радостно брыкает воздух своими розовыми пятками и тарашит на него голубые глаза.

В такие минуты Степана обволакивала теплая волна нежности и любви. И он улыбался от сознания своей причастности к этому чуду..

Наталья первые годы была занята детьми и домом. Степан стал чаще пропадать у друзей, где встречи и прощания не обходились без выпивки.

Поздно вечером Наталья укоризненно смотрела на вернувшегося мужа, молча накрывала на стол и сердито вырывалась из объятий хмельного Степана.

Ночью он просил прощения, целуя ее заплаканные глаза, и потом не пил неделю-другую, суется возле семьи. А потом попойки стали чаще.

Наталья стала молчаливой и печальной. Прощение он теперь просил, когда запой высасывал из него все силы и дух. Наталья уже не верила клятвам и прощала просто, чтобы как-то жить дальше.

И если Степан не пил продолжительное время, глаза Натальи загорались тем чистым и трепетным огнем, в котором растворялась алая заря их первого семейного рассвета.

Улыбка возвращалась на ее нахмуренное лицо, и на щеках появлялись спрятавшиеся ямочки, от которых Степан всегда сходил с ума.

Воспоминания текли, переплетались, мешались со сновидениями... И очнулся Степан совершенно разбитым, вялым, замерзшим и голодным.

Вокруг по-прежнему стояла та же непроглядная тьма и непробиваемая тишина. У Степана появилась мысль. Почему скелет без одежды? Или он пролежал здесь так долго, что все сгнило? Он вновь с легким страхом ощупал гладкие ребра, но одежды, даже ветхих лохмотьев, не обнаружил.

Когда он шарил в тазобедренных костях, его рука нечаянно наткнулась на что-то металлическое, похожее на скобу в земляном полу. Но мешал скелет.

Степан, собравшись с духом, передвинул эту грудку костей в сторону. Скелет завалился набок, загремел, рассыпаясь окончательно.

Степан ощупал скобу, очистил землю вокруг и, наконец, сообразил, что под ним крышка люка. На душе посветлело, надежда на спасение забрезжила в потемневшем сознании.

Лист железа подался тяжело и нехотя. Снизу повеяло более свежим воздухом.

Опять скобы. Вниз. Их было лишь пять. Потом боковой ход в полроста, потом пологий подъем вверх, снова в сторону. Степан передвигался рывками. Ноги не слушались, были сбиты. Жгла жажда. Чувство голода притупилось, исчезло. Хуже всего угнетала темнота. Этот неподвижный, почти осязаемый на ощупь мрак.

Когда ход пошел резко вниз, Степан остановился. Присел у холодной стены, ощущая ее телом в разорванной рубашке. Теперь, когда похмельная дурь отходила, а голова прояснилась от сивушного дурмана, он стал ясно понимать нелепость всего происходящего. Откуда эти лабиринты? Кому нужно было цементировать эти тоннели: то в рост, то ползком?

Что-то не сходилось, или он что-то не понимал. А зачем он собственно лез, что хотел найти под землей? Деньги, золото, камни? Не далеко ли послал его папаша своим мудрым советом?

Степан сильно ослаб. Руки дрожали, все болело. Он снова впал в дремотное состояние. Снова видения замелькали перед взором...

Он ехал с отцом на мотоцикле. Сидел сзади, крепко обняв отца. Ему было тогда лет шесть-семь. Не больше. Старый «Иж» исправно нес их по натопанной дороге вдоль реки, когда наперерез бросилась лохматая собачонка. Она летела прямо под колесо, и отец резко вывернул руль влево. Колесо сорвалось с крутой бровки обочины, и они упали. Степка

помнил лишь мелькание травинок, пыль, а потом испуганное лицо отца. Белое-белое.

Отец осторожно его поднял, ощупал, спрашивая, где болит. Степка, отойдя от первого испуга, уже смеялся, а отец бессильно сел рядом и гладил его по русому ежику. Это одно из редких воспоминаний детства, ясно осевшее в памяти: травинки, пыль и белое лицо отца...

Почему он сейчас вспомнил об этом? Почему так давно память не выталкивала наружу давних воспоминаний, заваленных событиями более зрелых лет? Все почему да почему...

Степан очнулся. В теле так и осталась противная слабость, легкая тошнота и ломота во всех суставах. Как он еще не простыл окончательно в этом подземном вытрезвителе?

Надо было нести этот крест дальше. Это сравнение заставило его задать себе вопрос: почему он никогда не верил в Бога? Ни в малолетстве, ни после. Молитвы он ни одной не знал, кроме редких слов, слышанных от матери, когда та вечером шепотом вела беседы с Господом. Поминала знакомых за здравие, шептала свои непритязательные просьбы, а он тихо лежал в постели, слушая горячий шепот матери, и удивлялся, как этот Бог поспекает слушать всех, если молится вся деревня.

Поэтому, когда бывало особенно худо, Степан обращался мысленно к матери: «Мама, помоги мне, запутался я, непутевый. Хочу хорошо — получается плохо. Знаю, что нельзя, а делаю». Такие молитвы к матери Степан слагал в голове в зависимости от ситуации, но всегда начинал одинаково: «Мама, помоги!»

И теперь во мраке холодной и безучастной земли, отгороженный от мира ее многотонными пластами, он обратился к матери: «Мама, помоги мне выбраться из этого ада, прости за мои грехи и дурные поступки, не дай сгинуть тут одному без людского слова и ласкового взгляда. Да, я виноват. Перед женой, детьми, перед тобой и отцом, перед самим собой и всем миром. Все брошу, клянусь, брошу это зелье, в рот не возьму и детям зарок дам. Только выведи меня отсюда, задыхаюсь я здесь от тоски и бессилия, от страха и неизвестности. Мама, спаси!»

После этой мысленной молитвы в душе как-то полегчало, стало спокойнее, боли словно приутихли. Он полз вниз, повторяя эту молитву. Песок увлажнился, а потом руки его коснулись воды. Ход уходил под воду. Вверху оставалось лишь узкое пространство для головы.

Степану терять было уже нечего. Он полез в ледяную воду. Лез на корточках, подняв голову к потолку тоннеля, боясь, как бы не исчезла эта узкая полоска воздуха.

А потом потолок исчез. Рука не ощутила сверху ничего, кроме воздуха. Воды было по грудь. Он находился в колодце, обложенном скользким срубом. Вверху что-то едва-едва блеснуло, и Степан, боясь вспугнуть хрупкую надежду, всматривался во тьму над головой.

Нет, показалось. Никаких скоб и веревок не было. Как и сколько лезть вверх по этим словно намыленным бревнам, Степан не ведал. Он сомневался, что сил хватит, чтобы вообще приступить к подъему.

Но подгонял холод. Ледяная вода облепила его жгучим компрессом. Он нащупал выемку в подгнившем бревне, подтянулся, растянул циркулем ноги, встав на покатые бока бревен. Теперь и руки он разбросал в стороны.

Когда переносил левую ногу на бревно выше, то опирался на левую руку. Переносил правую — опирался на правую. И у него получалось. Пусть медленно и осторожно, но он двигался вверх. Все внимание теперь он сосредоточил на том, как правильно и удобно поставить ногу. Выше воды бревна пошли суше, но были покрыты предательским слоем скользкого мха.

Подводили немеющие руки, ломали икры на ногах. Степан боялся судороги и каждый раз замирал, когда мышцы скручивала боль. Совсем неожиданно к голове прикоснулось что-то металлическое. Степан машинально дернул руку, ухватив стальной карабин, привязанный к толстой цепи. Но этого движения было достаточно, чтобы он потерял непрочную опору. Он летел вниз под визг колодезного ворота, который где-то наверху сбрасывал с себя запас цепи.

Вода вновь, как и прежде, равнодушно и холодно приняла его в свои объятия, расступилась, проглатывая его с головой, потом нехотя выплюнула назад.

От удара Степан чуть не потерял сознание, судорожно рванулся вверх, выплевывая воду с осыпавшейся древесной трухой. Но в руке он крепко держал карабин, как последнюю нить к спасению.

Лезть по цепи и упираться ногами было легче, и этот подъем отнял у него меньше времени, но и остатки сил. Когда он ударился головой в доски, то понял, что это крышка подземного колодца. Что за ней? Какие еще каверзы и мытарства?

Он толкнул крышку вверх. Та распахнулась, и на Степана хлынули... звезды. Он чуть не упал назад от внезапной радости и неожиданности, и когда переваливался через край сруба на землю — из его глаз текли слезы.

Стояла тихая, безлунная ночь. Но чувствовалось приближение рассвета по серевшему востоку и особой предутренней тишине.

Степан огляделся. Этот колодец стоял в самом конце его делянки, и им почти не пользовались. Темная спина дома чернела чуть впереди за старым садом. Выходит, он плутал под землей не дальше своего владения. Древние строители наплели эти ходы то вверх, то вниз в двух шагах от дома.

«Но умереть можно и рядом с домом, — подумал Степан, — и никто этого не заметит».

Он уже шагнул в сторону дома, и тут словно что-то вспомнил. Он вернулся к колодцу, захлопнул его старую, выгоревшую на солнце крышку и провел по ней ладонью.

Он вспомнил, что на этой крышке была какая-то очень старая надпись, вырезанная старославянским шрифтом. Он никак не мог вспомнить, что здесь начертано, но почему-то решил, что это относится именно к нему.

«Ладно, рассмотрю днем», — решил Степан и поволок свое тело к родному крыльцу.

Окна дома были темны, но в окне горницы Степан заметил слабый огонек. Он встал на завалинку и сразу понял, что горит старая лампадка перед иконой Божьей Матери.

«Похоронили!» — горько хлестнула душу обида и жалость к себе.

Он сел на завалинку, спрятав лицо в изодранные ладони, тихо стонал и качался из стороны в сторону.

К двери он подошел, словно умирающий, дернул медную ручку и вдруг понял, что не может явиться в таком виде перед Натальей. Она же не поймет. Решит, что где-то пил, валялся, дрался.

И он опять ушел в тень ночного сада, в конец делянки к старому, заброшенному колодцу.

Здесь он просидел до рассвета в легкой полудреме, прислонившись к изъеденному вороньем и жуком-точильщиком срубку покосившегося колодца.

И когда заново отпечатанная небесами заря легла золотой ризой на спящую землю, Степан прочел на крышке старого колодца: «Прими из рук Господа и Судьбы спасение сие, как новое рожденье. Возрадуй себя и Небеса житьем праведным и помыслами светлыми».

Степан отыскал в саду ведро, достал из колодца воды и, скинув всю рваную одежду, смыл с себя грязь и пот скитаний, как грехи прошлого. Он принимал эту купель у колодца, как перед алтарем предков, и что-то очень чистое и совсем непривычно новое впитывали его тело и душа. И стирала заря летнего рассвета на лице его черты греха и порока...

А Наталье снилось море. Такое, каким она помнила его по первой встрече. Они тогда со Степаном после свадьбы на

подаренные деньги махнули на Черное море, где прожили «дикарями» две беззаботные и счастливые недели.

Первые дни она почти не вылезала из воды или лежала на горячей гальке. Слепленная солнцем и морем, оглохшая от прибоя и музыки, звучавшей в ее душе. А море было теплым и великодушным, как все большие и сильные люди...

Проснулась Наталья от той тревоги, что поселилась в доме за эти два дня. И сразу забылось и посерело радужное море, скомкались синие сновидения, кончилась далекая и безвозвратная сказка.

Пропал Степан. Исчез бесследно и непонятно. Никто не видел его во всей округе, он не был в магазине, не заходил к соседям за самогонкой, не выезжал из деревни. Самые дурные мысли лезли в голову, не давая покоя. Вчера, уложив детей, Наталья долго сидела за столом, перебирая фотографии, и плакала, плакала, плакала...

Солнце с улицы розовым светом легло на постель, на пустую подушку мужа, и стало Наталье до боли жаль заблудшую душу Степана, его пустые с перепоя, но, по-прежнему, еще милые глаза.

Взгляд Натальи через занавески спальни упал на угол горницы. Над потемневшей иконой с пятнами расплавленного воска едва заметно, мерцая крохотным язычком пламени, горела старая, стеклянная лампадка, бросая желтый отблеск на строгий лик Божьей Матери. Самое странное было в том, что лампаду Наталья не зажигала.

С забившимся сердцем она поспешно вышла из спальни, обошла дом. Нет. Это не Степан. Он не тяготел к вере, не относился серьезно к церковным праздникам и обрядам, иронично воспринимал вновь проснувшееся в людях поклонение Богу. Он как-то сказал: «Дом — вот мое царствие небесное, моя обитель и пристань вечная». Но если не Степан зажег лампадку, то кто?

Наталья подошла к окну и раздвинула занавески. Чистый свет воскресного утра показался ей каким-то необыкновенным и особенным, будто сулил ей нечто совершенно новое и радостное.

Потом сердце ее, вздрогнув, замерло, почти остановилось, на глаза набежали слезы, смазывая краски солнечного утра.

По тропе, раздвигая ветви яблонь, словно крейсер в зеленом море, спокойно и как-то очень уверенно шагал Степан. И Наталья сразу же поняла, что это уже не вчерашний Степан. И не только потому, что он был трезв и не морщился от головной боли. Просто он был совершенно другим.

Их взгляды встретились, и оба вдруг улыгнулись, как после долгой и вынужденной разлуки.

Наталья подняла шпингалет окна, впуская в дом перебродивший запах ночи.

Степан протянул ей руки, и она, как когда-то девчонкой, выпорхнула ему навстречу из окна большой белой бабочкой с вновь загоревшимися надеждой глазами.

Он ласкал ее плечи, голову, прижавшуюся к его груди, и молчал. Она заглянула ему в глаза и поразились перемене, отразившейся в глубине зрачков. Там смешались и боль, и раскаяние, осевшая горечь и затухающее отчаяние, народившаяся вера в себя и облегчение. А еще Наталья увидела тепло прежнего взгляда, который пьянил ее еще до свадьбы и грел до самых последних дней отчуждения.

Он вернулся. Вернулся новым и прежним, именно таким, каким она его любила.

Над старой иконой, сослужив свое путеводное предназначение, мигнув, погас светлый мотылек лампы. Подсвеченный утренним сиянием лик Божьей Матери был чист и светел. Как этот рожденный летний день. Как просветлевшая душа Натальи, как подсыхающая роса на малине, обвившей темный сруб старого колодца.

БЫЛИНКА

РАССКАЗ

Батальон связи Н-ского полка ожидал учений. Никто не знал, когда они начнутся, но поговаривали, будто полк снимут по тревоге. Офицеры построжали, требовательнее стали командиры подразделений, в ротах чувствовалось напряжение. Резче звучали команды и острее воспринимались они бойцами. Впрочем, все шло своим обычным чередом.

На плацу, звонко разбивая мокрую хлябь кончавшейся зимы, маршировали успевшие немного «опериться» с осени солдаты. Волосы у них коротко отросли, но все равно затылки казались высокими на еще не окрепших вполне, гусиных шеях.

Было утро, хотя казалось, что вечер: шел мокрый серый снег, и в нем шагали ребята в серых шинелях, ежась от противного озноба. И день стоял такой, когда вдруг возьмет и навалится грусть-тоска: просто не знаешь, куда себя деть.

К счастью, в этот день сержант Геннадий Грачев знал, куда себя деть: наконец-то ему был объявлен давно обещанный отпуск, и он сходил в каптерку, получил парадный мундир и ожидал, когда старшина уладит в штабе некоторые формальности. Глядя в окно, Гена вспомнил мать, ее лицо без единой морщинки, с мягкой



ПРОЗА

бархатистой кожей, совсем седые, легкие, ровно зачесанные наверх и собранные на затылке в тугий узел волосы; представил, что скоро он будет целовать мокрые от слез мамины щеки, — и у него больно, но сладко защемило сердце. «Сколько же мы не виделись с тобой, мама! А ведь встретимся — и будет казаться, только вчера расстались. А потом снова прощания, ожидания, встречи...». Грачеву представился вокзал, дорожная суета, воинская касса, где он первый раз возьмет билет по воинскому удостоверению, и радостное ощущение зашевелилось внутри, затолкало, заторопило куда-то... А у времени будто что-то сломалось, и оно ползло бесконечно долго.

Гена нетерпеливо оглянулся: когда же наконец появится старшина? Но в казарме было пусто, все ушли на занятия. Створки двери словно примерзли одна к другой, и безмолвно застыл у тумбочки дневальный. Гена вздохнул. Ничего не оставалось, как ждать, причем, ждать, вероятно, недолго, но само ожидание в такой момент казалось и нелепым, и глупым. Он сел на табурет у кровати и возбужденно захрустел пальцами.

«Все понятно, — думал Гена, — в штабе забот хватает. Да и старшина не особенно, видно, торопится. С одним поговорит, с другим. Ему сказано: отпустить сегодня — он выполнит. А когда сегодня?»

До армии Грачеву все было ясно и понятно, как дважды два. Причем, давно, класса с девятого. Электрический ток проходит по проводнику, создавая вокруг него электромагнитное поле, — элементарно! Валентность определяется по формуле... — элементарно! Пушкин — великий русский поэт — дураку известно! На тренировках по баскетболу отработывался прессинг. Он эффективнее зоны. Зона вообще анахронизм. Об этом даже нечего спорить. Наконец, Катя + Гена = любовь. Все четко.

Однако поступать в какой-нибудь колледж или институт Гена решил не торопиться, ибо ему в равной степени нравилось и то, и другое, и третье. Он сознавал: что-то должно выпасть в осадок, откристаллизоваться, поэтому не спешил. Да и куда спешить. Вся жизнь впереди!

Армии Грачев не боялся и не верил тем некоторым брюзжащим насчет службы дружкам, от которых неистребимо пахло надушенными платочками и чем-то до противного стерильным, таким, что и запаха не имеет: крахмалом, что ли. Гена мечтал о судьбе лондонского Мартина Идена и надеялся, что нечто похожее на жизнь любимого героя должно непременно случиться с ним самим. А когда однажды на имя Грачева при-

несли повестку, он не стушевался от неожиданности, не упал духом. Напротив, как-то весь внутренне подобрался, ожидая наступления чего-то важного и торжественного.

Гена вытер ладонями слезы с мягких материнских щек, поцеловал ее и на следующее утро отправился на овощную базу, где успел после школы поработать грузчиком среди студентов, бродяг-философов, физически крепких, веселых парней, которым никакой другой работы и не надо было. На базе он получил расчет и тепло попрощался с бригадой. А ребята по-дружески обнимали его, хлопали по плечу, и от этого Гена чувствовал себя еще сильнее, надежнее. Нет, у него не было и капли подозрения, что надвигается какая-то неминуемо тяжелая полоса жизни.

Незаметно в город пробрался вечер. Тихий, прохладный, с резким, настоящим на осенних листьях, воздухом. С разноцветными пятнами плывущих огней, с шелестом в кармане первых, полученных за свой труд денег, с ощущением молодости и здоровья.

Из автомата Гена позвонил Кате. В парадном было тепло, и он, стоя у темного квадрата окна, вдруг услышал, как на верхнем этаже хлопнула дверь, зацокали по лестнице каблучки.

— Ну вот, — сказал он, стараясь держаться спокойно, — поздравь будущего солдата. Получил повестку в армию.

Лица Кати он не видел. В сумраке обозначился лишь силуэт — темные плавные очертания.

— Я буду ждать, — прошептала она и неожиданно спрятала голову у него на груди. — Я и так жду тебя. Давно. От самой нашей первой ночи. Все было как в сказке. А ты все не приходил со своим дурацким спортом. Понимаешь, я люблю тебя. Но ты глупый, Грач... Какой ты глупый! Ты ничего не понимаешь. Но я все равно тебя люблю.

Гена почти физически ощутил нежную мягкость произнесенного Катей слова «люблю». Оно тихой вечерней птицей порхнуло в воздухе, закружило, унесло на мгновение в какой-то нездешний мир. Но лишь на мгновенье...

Ее волосы пахли яблоками. Руки тоже, а у губ был сладкий яблочный вкус.

«Буду ждать... Люблю...» Как странно.

Потом Гена часто вспоминал этот чистый яблочный запах. Но тогда... Тогда сердце улеглось. Ему стало так спокойно на душе, что он пожалел: «Зачем не я сказал первый — люблю?»

Впрочем, не в том дело, кто сказал первый. Главное — она любит, и будет ждать. Вот и весь разговор. Чего проще?

— Если недалеко, я приеду. Можно?

Гена по-отечески погладил Катю по голове:

— Конечно, приезжай. Можно, наверное.

— А если «горячая точка»?

Гена прижал Катю к себе.

— Не волнуйся. Со мной ничего не может случиться.

Катя вздохнула, и Гена почувствовал на своей щеке ее слезы.

На призывном пункте было людно. Пестрая толпа провожающих растворяла в себе землистые фуфайки коротко подстриженных ребят. Во дворе военкомата стоял ровный, сдержанный гул. Гена, высокий и казавшийся еще более худым оттого, что из-под шапки выглядывал голый затылок, присматривался к своим будущим товарищам. Они тоже украдкой озирались по сторонам, оценивали друг друга, уже не стесняясь родителей, курили. Чей-то подгулявший отец, измученный проводами, устало растягивал гармошку, встряхивал мокрыми волосами.

— Пра-ва-жа-ла, ру-ку жа-ла... — И сыну: — Гляди, Ваня, чтоб как полагается... Понял?

— Ну, дак...

— То-то. Школа кончилась.

Серьезные, веселые, растерянные — здесь были разные.

Вера Константиновна поправляла цветастый, подаренный сыном платок, улыбалась ласково, с грустью. Катя чувствовала себя неловко, мучилась, удерживая слезы.

Над ласковыми, подмороженными за ночь крышами висело неяркое солнце. Рыжими корабликами плавали в лужах сухие листья. Меж листьев стыли подернутые рябью облака.

На крыльцо военкомата, сверкая сапогами, вышел невысокий, плотно сбитый капитан с широкими, чисто выбритыми пепельными скулами. Капитан был подтянут, строг, с выпуклой грудью и казался вырезанным из куска твердого дерева. Гена вдруг понял, что с этого человека, с его команды: «Провожаящих прошу в сторону! Названным становиться в шеренгу!» — начинается новая, совершенно иная жизнь. И это поняли все, потому что люди разделились на две группы, и Гена неожиданно для себя очутился в кругу переминавшихся с ноги на ногу ребят, торопливо гасивших сигареты.

Вокзал находился недалеко. Вера Константиновна с Катей шли по тротуару, а колонна еще неумело, вразброд двигалась прямо по дороге, где останавливался транспорт, пропуская новобранцев.

Гена уже знал по именам тех, кто шагал рядом, и говорил с ними — строй сближал, связывал касавшихся плечами одной новой, будущей судьбой.

Вокзал шумел, вскрикивал, мельтешил. Но видел Гена только два лица, две пары милых глаз, оставшихся в памяти и плывших затем в далеком небе над поблекшими полями под перестук колес.

— Ты же пиши, сынок! Слышишь? Пиши маме!

— Я буду ждать, Геночка! Буду ждать всю жизнь!

Он улыбнулся из окна.

— Всю жизнь не надо. Глупая. Я скоро вернусь.

И с разных сторон:

— Не вылазь на остановках!

— Сначала курицу, Владик! Она сверху!

Поезд уже дрогнул, заскрипел — и съехали со своих мест станция, дома, деревья, а люди, идя вперед, пошли назад, и Гена, потеряв в толпе родные лица, устроился на сиденье. Грусть была недолгой, и скоро щенячье радостное чувство надвигавшейся новизны охватило его. Ему стал смешон сидевший напротив хлипкий рыжий парнишка, в огромном красном берете, делавшим его похожим на мухомор. Гена, улыбаясь, спросил:

— Зовут-то как?

— П-п-птицын, — заикаясь, ответил тот и мигнул большими испуганными глазами.

Гена расхохотался.

— Не тужи, Птицын! — и хлопнул его по плечу. — Вместе служить будем! Повеюем еще за Отечество! Ха-ха!

Но Птицын этой новости не обрадовался. Он как-то сжался в комочек, придвинул ближе непомерно большой для него чемодан, стал еще смешнее и неожиданно заплакал.

— Ну что ты, — засовестился Гена и, пересев к Птицыну, обнял его, как, предположим, младшего брата. — Эх, былинка!

Коля Птицын с самого начала, как только очутился в вагоне, в окно старался не глядеть. Он знал, что там, в шумящей толпе, потерянно стоит его отец, такой же маленький, как сам Коля, и плачет хмельными слезами, утирая их грубым от слесарного инструмента кулаком с черными навек ногтями. Мать хворала и прийти не смогла, — провожал один отец. Коля слышал крики за окном, до него доносились обрывки фраз, незнакомые ребята сновали взад-вперед, наполняя вагон запахами фуфаек, чемоданной искусственной кожи и табака. И от всей этой суеты вокруг, шума, беготни Птицыну казалось, будто на него обрушилась какая-то непостижимая беда, будто жизнь его, и без того не больно веселая, затрещала по швам, как старая рубаха, и что теперь с ней делать — неизвестно.

Коля даже не пытался найти среди провожающих отца: окна были наглухо забиты чужими спинами. В купе от этого стоял полумрак, и Птицын отрешенно сидел, обняв свой чемодан и глядя в одну точку, словно в ней сосредоточилась вся его прошлая, ничем, в общем-то, не выдающаяся жизнь. В ней, как в сереньком осеннем небе, редко появлялось солнце: болела, вечно болела мама, потому-то с раннего детства Коля научился ходить в доме на цыпочках и говорить шепотом. Отец время от времени попивал, стеснялся своей слабости, но сделать ничего не мог; напившись, тихо плакал в углу, размазывая по щекам грязные слезы.

Коля жил своим миром и рано появившимся увлечением — радиотехникой. Этому он отдавал всю душу. Правда, увлечение Коли стоило немалых затрат, но отец вдруг бросил выпивать, и деньги, бесследно исчезавшие раньше с винными парами, употреблялись теперь на покупку необходимых электронных принадлежностей. Был, к тому же заметим, человек, в котором Коля не чаял души, — сосед их, старикан с лохматой бородой. Он-то и увлек чумазого школьника Птицына в мир удивительных электрических превращений, в котором неожиданно и обнаружился смысл всей дальнейшей Колиной жизни. Школьные олимпиады принесли первую негромкую славу, первую радость. То, до чего в раздумьях и трудах доходил Коля, венчалось заслуженным признанием. О нем заговорили в школе. Его стали уважать. Комната Птицыных превратилась в мастерскую. Он обрел связь со всем огромным миром, но когда этот мир неожиданно позвал к себе армейской повесткой, Коля вдруг спасовал, испугался новой, непривычной жизни и опять стал маленьким и жалким.

Та неизвестность, которая страшила Птицына, Гену не тревожила. Он знал, что там, *в армии*, как везде и всегда, жизнь должна быть кем-то рассчитана, продумана и поэтому разумна, а разумным он полагал все, что есть вокруг, что было и что будет.

Однако на станции «Красная Армия» вышло иначе. Закружилось, понеслось кувырком, полетело вверх тормашками. Мир перевернулся с ног на голову.

Баня дышала паром. Под гиканье и смех осами летали мочалки, мелькали бронзовые тела. В предбаннике все стало одинаково белыми в нижнем белье, розовощекими, наконец, одинаково зелеными, несуразными поначалу в необычной одежде.

И тут началось: портянки комками сбивались в сапогах, пояса съезжали набок, но главное — никак нельзя было разобрать, кто где.

Старшина не спеша ходил по казарме и уже в который раз повторял команду:

— По росту в одну шеренгу!..

Суетились.

— Ты кто?

— Петров.

— А ты?

— Фирсов.

— А где Зайцев?

Никто не знал, где Зайцев, и Зайцев тоже не знал, где он есть. Никто никого не узнавал: одинаковые, стриженные, зеленые — не разберешь. Понятно Гене было только одно: он стоял за Зайцевым, у того — метр восемьдесят два, а у Гены — метр восемьдесят. Но Зайцев исчез. За кем стоять, Гена терялся.

Навалилось столько вопросов — просто трещала голова. Как одеться за сорок пять секунд? Как заправить койку, чтобы она была похожа на надувной матрац? Зачем застегиваться на все пуговицы, стоять ночь у тумбочки?

Однако постепенно все прояснялось. Прояснялось больше и больше. Мир снова обретал понятность.

В классе тихо. Ходит между столами старшина, поскрипывает сапогами. Они у него блестят, как крышка от пианино. Сколько он в них протопал, старшина Агеев, за свою жизнь? Сколько измерил долгих российских дорог? Кто знает?.. Старшина плюет на указательный палец и листает красную книжечку.

— Ну ладно. Пойдем дальше. Скажи-ка мне, рядовой Птицын, что такое караул?

Птицын так мал, что, и поднявшись, кажется сидящим за столом. Мигает испуганными глазами, заикается.

— Смелее, Птицын, — подбадривает старшина. — Солдат робости знать не должен, а устав обязан. Правильно, рядовой Птицын: «Вооруженное подразделение, наряженное...» Так... Э, братец, а вот тут неверно. Тут, Птицын, забывать никак нельзя. Не только, понимаешь, для охраны наряженное, но, что самое главное, для обороны военных объектов, имеющих большое, а иногда, можно даже сказать, стратегическое значение. Понимаешь? Ну вот. Молодцом. Хорошо, когда понимаешь.

Грачев нетерпеливо встал с табурета. «Действительно, сколько можно? Что так долго!»

— Дневальный! — резко выкрикнул Гена. — Сколько там натикало?

— Без трех пятнадцать, — безразлично зевнул красивый, крепкий в плечах парень. Казалось, он, может быть, самую малость устал за сутки от наряда и теперь, стоя у тумбочки, мечтательно думал о чем-то своем. Во всяком случае, от Гениных забот он был далеко.

«Не хватало еще опоздать на поезд...» Засунув руки в карманы, Гена стал ходить вдоль окон. Маета перерастала в беспричинную злость. А снег все падал, серенький, противный, сонный. Где-то далеко за забором ржаво тормозил трамвай. Гене захотелось бежать куда-нибудь, зачем-нибудь, лишь бы не сидеть на месте. В этот момент, как спасение, появился старшина. Гена радостно подхватился, бросился навстречу. Но старшина казался чем-то озабоченным, даже угрюмым. Глаза его даже не смотрели на Гену, а словно что-то искали по сторонам, и Грачев не решился показывать свои чувства.

— Собрался? — спросил старшина, поправляя значок на груди Гены.

— Так точно!

— Вот документы. Проверь, чтоб все в порядке... Бумаги спрячь как следует. Сейчас на инструктаж к командиру роты. Потом хватай вещи — и бегом!.. Бегом!.. — многозначительно подчеркнул старшина и тут же улыбнулся: — Мать небось заждалась совсем.

— Есть бегом! — просиял Гена.

Капитан Охталев говорил кратко. Говорил, чтобы Гена не расслаблялся, чтобы отдыхал, но не забывал, что он солдат, и везде держал себя с честью и достоинством, какие полагается иметь бойцу наших Вооруженных Сил.

— Давай, Грачев, езжай. Я за тебя спокоен. Счастливо! Возвращайся к сроку.

Гена круто, по-военному повернулся, четко, как отрубил, вышел из кабинета командира и почувствовал себя самостоятельным, сильным, по-настоящему взрослым.

«Ну, теперь успею, — подумал он. — Поезд в семь. Времени хватит. Наконец-то можно спокойно перекурить».

Гена вышел в умывальник и не спеша, вкусно выкурил сигарету. Затем он еще некоторое время глядел в окно и видел там мать, Катю, почему-то директора школы и себя, входящего в школу в парадном мундире, видел обступивших его учителей: вот он какой, наш Грачев! Ну, надо же!.. Было в этих предчувствиях что-то щемящее, давно желаемое, что жарко обжигало душу. И имя «Катя» вдруг стало таким заветным и зовущим, как никогда прежде. Ехать! Скорее ехать!

В роте Гена еще раз осмотрел свои вещи, купленные в увольнении недорогие подарки, попрощался с товарищами и вышел из казармы.

На плацу было пусто и тихо: солдаты обедали, отдыхали. До КПП оставалось метров пятьсот. Гена обернулся, увидел здание, в котором прожил чуть больше года, и неожиданно ему сделалось грустно, словно он надолго прощался с чем-то дорогим и близким. Глядя на свое новое и ставшее уже родным жилище, Гена постоял немного, но отпускное удостоверение, согретое сердцем, опять напомнило о себе, и он решительно направился к воротам части.

Снег падал реже, подмораживало, грязь, разбитая утром сапогами солдат, превращалась в острые скользкие бугры.

Возле ворот Гена остановился, чтобы достать документы для предъявления дежурному по части, и вдруг позади, в казармах, услышал знакомый пронзительный звук сирены. На какое-то мгновение он застыл в отчаянии и растерянности: всего два шага отделяли его от долгожданного отпуска, от того, о чем он мечтал в последние дни, что снилось по ночам, и должно было стать явью. И вот — тревога!

Мелькнула надежда, что, может быть, удастся все как-нибудь поправить, договориться с дежурным по части и проскользнуть, но дежурный сам выскочил на порог и крикнул: — Тревога! Всем на места по боевому расчету!

И Гена, отброшенный волной этих слов, кинулся к казармам, размахивая новеньким чемоданчиком. А навстречу бежали ребята при полном снаряжении, на ходу заправляли шинели, сыпались удары сапог, уже грозно рычали моторы.

Гена очнулся уже в машине среди молчаливо-сосредоточенных, серьезных товарищей, и почему-то вспомнилось ему, как в суматохе он бросил чемоданчик на свою кровать, а чемодан перевернулся и упал на пол — поднимать было некогда. Да, все как-то не сложилось у Гены в этот день. На душе скребли кошки, но служба есть служба — ничего не поделаешь.

Гена понемногу успокаивался: что ж, тревога дело не вечное, кончится, и отбудет он в положенный отпуск. Огляделся. Рядом, стиснутый солдатскими плечами, жался несчастный Птицын. Гена усмехнулся: вот ведь связала судьба! Да и в карауле посты их соседствовали. Птицына в крытом, полном людей кузове и видно-то не было, торчал только его остренький нос.

По боевому расчету на случай тревоги Грачев входил в состав действующего караула.

Первые два часа Гена отстоял, а вернее отходил сравнительно легко. Он снова думал о доме, о предстоящих радостных встречах и даже порой пел про себя. В караулке был весел, шутил, угощал ребят анекдотами, снова мечтал — короче, все шло как надо.

Выйдя через четыре часа снова на пост, Грачев задохнулся от колючего морозного ветра: непогода разыгралась не на шутку. Выносить такую стужу в легкой шинельке было не просто — вот тебе и март! А теплая шерстяная рубашка, связанная матерью, осталась в чемодане.

Гена ушел направо, а Птицын — налево.

Небо прояснилось, холодные звезды раскачивались на черных ветвях голых деревьев. Ветер налетал свирепо, выл, отчаянно рвал полы шинели. Сопrotивляясь ему, Гена брел вдоль проволочных заграждений, мимо цистерн с горючкой.

Было уже не до песен, все силы уходили на сопротивление ветру, лютому морозу, всему тому, что на армейском языке называлось тяготами службы. Один раз вдальеке Гена увидел маленькую неясную фигуру Птицына и подумал, что ему, Птицыну, при хилом сложении, должно быть совсем худо, но эта мысль оборвалась внезапным порывом ошалевшей стихии и улетела со свистом во тьму. Снова горькая досада жала все внутри: стоило выйти на три минуты раньше, ехал бы сейчас в поезде, не зная никаких забот и мучений, а через сутки — дома... Эх, что говорить!.. Впрочем, другие ребята сейчас в поле разворачивают радиостанции, а ведь там, пожалуй, похуже, чем здесь.

Гена вспомнил, как на прошлых учениях экипаж его машины первым вырвался на нужный рубеж и вышел на связь, и тогда, по сути, отличился не Гена (сержант Грачев), а рядовой Птицын. Это он оказался спокойнее и смекалистее других. Не кто иной, как Коля Птицын в две минуты установил неисправность, но особо отметили не рядового Птицына, а сержанта Грачева, начальника радиостанции. Про него же и в газете написали. Да что это он опять о Птицыне?! Гена чертыхнулся про себя, попрыгал на деревянных ногах — так и замерзнуть можно!

Свет отопительного узла лукаво подмигнул, словно хотел сказать: «Здесь тепло, а из окна виден почти весь пост. Даже если придет проверяющий, всегда успеешь выйти». Нет! Гена решительно шагнул назад. Пост есть пост! Оставить его нельзя!

И снова поплыли перед глазами черные строчки проволочных заграждений...

Сколько же времени прошло? У фонарного столба Гена посмотрел на часы и ужаснулся: всего пятнадцать минут. Над головой о железный обод колпака отчаянно билась лампочка, и по сверкающему снегу хищно метались худые черные тени. Становилось жутко. Гена озирался, вскидывал взгляд, но тут же снова прятал лицо от ледяных ожогов. Снежная

пыль, будто крапивой, хлестала щеки. Оттого, что все тело было напряжено, автомат, казалось, весил уже килограммов пятнадцать, и у Гены больно ныли плечи. Он дошел до караулки и повернул назад. Под деревянными навесами стояли в суровом молчании лобастые умные машины. Лишь они, ангары да столбы оставались в эту ночь неподвижными. Все остальное ходило, качалось, летало.

Гена попробовал двигаться быстрее, но это не принесло ни облегчения, ни тепла, только еще сильнее заныли, застонали плечи. Он подумал, что такой караул не первый. Сколько их позади? Но те все же были полетче. Или так казалось?..

У отопительного узла Гена задержался. Свет в небольшом кирпичном домике, занесенном снегом, горел зазывно и коварно. Там, меняясь через сутки, по очереди дежурили двое отставных военных пенсионного возраста. Солдаты любили их и частенько заходили в сторожку отдохнуть, выпить воды, поболтать. Ночами дежурные спали на кушетке под мерный гуд теплового газового котла, и Гена решил, что если он войдет и постоит в коридоре у батареи, то даже и не разбудит никого. Мысль же о преступности такого шага билась уже слабо, неуверенно и неожиданно была окончательно задушена новой судорогой озноба, передернувшей все тело Гены, словно электрическим разрядом.

Дверь, как тайная соучастница, открылась тихо, будто знала, что надо открыться именно так, и Гена очутился в темном коридорчике, где у окна меж двух дверей слабо обозначалась неясными ребрами спасительница батарея. Он жадно приник к горячему железу, обнял его окоченевшими руками. Тело начало оттаивать, зато больно защемило концы пальцев, однако боль эта была уже приятной, успокоительной.

Коля Птицын волочил тяжелые ноги по снежным буграм, думал свои думы о далеком городе Белгороде, где теперь, наверное, было уже тепло, и согревался этими мыслями. Согревалась, правда, одна душа его, а тело, стиснутое остервенелым морозом, давно уже превратилось в деревяшку. Ног Коля не ощущал и передвигал какие-то чужие ходули. На мороз он не обижался: что ж, тут ему и положено быть — не юг, и вот дорога, по которой приходилось следовать вдоль поста, его огорчала. Никто ее толком не расчистил, и Птицын прямо-таки штурмовал сугробы, таранил их непослушными ногами. Неся службу, Птицын трудился, как хороший рабочий. На особо тяжелых участках спина его покрывалась потом и тут же леденела, как только дорога становилась чуть легче. Коля припомнил вдруг, что такой же взмокшей бывала и у

отца рубаха, когда он, случалось, выходил из мастерской навстречу. Припомнил, и как-то легче стало, даже ветер вроде бы немного утих, словно оценил тяжелый труд Птицыных и то, как этого труда они, отец и сын, все-таки не боятся. А ведь действительно не боялся Коля Птицын! Он уже давно привык не бояться в армии никакой работы. Поначалу да, поначалу и правда было чего-то боязно, слишком строго, что ли, все было. Но время сладило, сдружило с новой жизнью, определило ее законы и порядок, в которые Коля уверовал быстро и беспрекословно. Он тихо и несказанно обрадовался, узнав, что судьба не разлучила его с любимым увлечением — радио, и отдал новым обязанностям все свое сердце. Кухня, караулы, спортподготовка выходили для Птицына тяжелым испытанием, но и здесь он привык превозмогать себя, исполняя долг до конца. Тут выбора не было и быть не могло.

Из темноты коридорчика действительно обозревался весь пост: качавшиеся деревья, тупые сигары цистерн, нахохлившийся ряд сонных ангаров. Гена прикинул: в том, что он здесь стоит, есть только одна опасность — согрившись, заснуть. Однако на сей счет он не беспокоился, ибо уверен был в своей силе победить сон, уж с этим-то он справится. В крайнем случае, если очень захочется спать, можно выйти, а мороз и ветер в два счета разгонят сонливость.

«В самом деле, — рассуждал Гена, оправдывая свой поступок, — если подумать, то чего ради околевать на морозе? Что случись, от меня, задубевшего, пользы — ноль целых... А так, чуть чего — я ко всему готов».

Остаток времени Гена провел в состоянии бодром, даже веселом. Опасения насчет сна не оправдались: спать хотелось лишь чуть-чуть. Скоро его должны были сменить, и в караулке Гена мог спокойно отдыхать. За постом он наблюдал зорко, так что здесь тоже было все в порядке. Короче, получалось, как в известной пословице: «И овцы целы, и волки сыты», и Гена решил, что в дальнейшем, если случится дурная погода, он снова использует выгодное положение. И все-таки время от времени что-то не давало Гене покоя, точило его изнутри.

Однако в караулке Грачев театрально стучал сапогами, ухал, клял непогоду, но вскоре забыл о ней и взялся пить чай. За чаем каламбурил потихоньку, не так, чтобы уж очень — все-таки тревога! — а чуть-чуть; посмеивался над Птицыным, не зло, шутя, отчего тот и сам улыбался, но как-то болезненно, через силу. В обязательный час отдыха Гена крепко

заснул и храпел не хуже пожарника. Ребята, стоявшие на разных постах в одно время с Геной, еще долго терли щеки, дули на пальцы, отогревались. Птицын даже этого не делал. Он и шинели-то не снял, лишь хлопал большими мокрыми ресницами.

— Что не раздеваешься? — спросил начальник караула. — Не захворал?

— Я так посижу, — отозвался Птицын и пожаловался чуть слышно: — Знобко на улице.

— Подрыгайся, — посоветовал кто-то, — враз жарче будет.

Птицын «дрыгаться» не стал, и о нем тут же забыли: сидишь, мол, и сиди.

Проснувшись, Гена с аппетитом съел кусок хлеба с салом, напился чаю и подумал с удовольствием, что так или иначе все скоро кончится, и он наконец-то отправится домой. В отпуск.

Последние два часа Гена снова проводил в отопительном узле, наблюдал пост и мечтал о родном городе, о Кате, которая его любит и которую, наверное, любит он, мечтал о какой-то новой жизни после армии, где он сможет полностью проявить свои силы, волю и характер. Мечтал Гена о многом — жизнь только открывалась.

Птицын перебрал автомат на другое плечо: прежнее затекло, саднило болью до самой поясницы. Ветер раздувал под фонарями серебряные костры. Снежная пыль искрилась в желтом обманчивом свете. И жгла, нещадно жгла щеки, нос, подбородок. Коля тер лицо грубой рукавицей до жара в теле и все шел, наступал, не сдавался. Плоскими зыбучими щупальцами вьюга терзала дорогу. Птицын уже не думал ни о чем, шел и видел перед собою живую осатанелую ночь, смутные очертания объектов, которые он, рядовой Птицын, должен был охранять и оборонять.

У склада с бензиновыми цистернами, возле которых был ангар с запчастями для машин, Птицын остановился. Дорога тут была особенно тяжелой, и Николаю этот участок, надо сказать, порядком надоел. Именно здесь Коля путался в длиннополой шинели, застревал в непролазном снегу, здесь взмокала, а затем дубела его гимнастерка. Сугробы не желали никуда отсюда двигаться и, напротив, заваливали дорогу мертвыми буграми.

Коля немного передохнул: долго стоять на стуже было невозможно, поправил автомат и шагнул к приземистому хранилищу, прерывисто озарявшемуся бледно-желтым светом хмельного фонаря. Видел вокруг Птицын плохо — мороз скле-

ивал ресницы, однако, когда он направился к складу, ему показалось, будто впереди метнулась чья-то тень.

«Померещилось, — решил Коля. В лютой кромешности чего только не привидится, но автомат на всякий случай снял и почуствовал, как остро ломануло освободившееся от тяжести плечо. — Вот черт! — выругался Птицын. — Придумают же такое наказание человеку. Возьмешь в руки — вроде бы ничего, а поносишь по морозу — спина отваливается».

До склада оставалось метров десять. Подозрения Коли развеивались. «Показалось, — все больше уверял он себя. — Сейчас не поймешь, где тень, а где...»

Расплющив запорошенные инеем глаза, Птицын оторопело остановился: из-за края деревянной стены, чуть выше уровня его головы, толчками вылетал густой пар. Было ясно: за углом стоял посторонний человек. Что-то привело его в эти запретные места, и Птицын не мог не понять этого.

Сердце туго заходило в Колиной груди, и он беспомощно оглянулся, ища хоть чей-нибудь поддержки. Но в ту минуту он, Птицын, оказался один в ночном ледяном мире, и как бы в подтверждение тому жутким голосом где-то запело под ветром дерево, а из-за черного угла змеисто поползла поземка. Коля вздрогнул и машинально перевел затвор. Нужно что-то делать! Но что?! Вспомнил: рядом пост Грачева! Быстро, с надеждой оглянулся, но там, позади лишь холодно мерцала паутина колючей проволоки, да издали выкарабкивался из тьмы исхлестанный ветками деревьев свет отопительного узла.

Птицын все стоял неподвижно не в силах принять какое-либо решение. Прошла всего минута, но и она показалась веком. Он вроде бы уже ясно слышал чужое дыхание в двух метрах от себя и, затаившись, ощутил, как к стонам ветра примешивались еще удары его сердца. С тоской посмотрел Коля на столб с сигнализацией, вмерзший в землю метрах в пятнадцати напротив него.

— Эй! — крикнул Птицын в никуда, и не услышал своего голоса. В ответ резко взвыли провода, снова хрипло запело дерево.

Гена снял с батареи теплые сухие портянки, переобувшись, удовлетворенно постучал сапогами об пол: теперь хоть в бой.

«Хорошо, если бы действительно что-нибудь приключилось, — подумал он, — а то служишь, служишь... Потом дембель, а за ним и останутся в памяти лишь кухня, караулы, учения. Правда, без этого тоже нельзя — служба есть служба. Потом придет кто-нибудь другой и станет так же служить, как мы. Будут писать ему письма. Сначала много, потом

меньше. Кто-то дождется его там, вдалеке, или забудет. Кому что... До нас здесь были ребята и после будут. Эх, братишки, зеленые мальчишки!»

...Гена блаженно потянулся, ощущая сквозь одежду тепло батареи, и снова уставился в окно. От стекла тянуло холодком бушевавшего за ним ветра.

«Я распахну пошире страницы армейской шинели, — приплыли откуда-то из ночи поэтические строчки. — Выйду один на дорогу и душу подставлю метели, — сложилось дальше. — Надо же! — обрадованно удивился Гена. — Никогда не сочинял, а тут вдруг проклюнулось».

К стихам он был равнодушен. Считал их по меньшей мере блажью и сентиментальностью. Не все, конечно. Маяковский — вот это да! Его он уважал. В Маяковском мощь, сила, гранит! А остальные? Так, пустая трата времени. Но когда неожиданно сам придумал строфу, остался собою доволен. Попробовал рифмовать дальше, но ничего не получилось. И махнул рукой: «Чепуха! Просто хорошее настроение».

Вспомнились напутствия командира роты, и Гена улыбнулся: строгого, требовательного Охталева он любил.

«Я за тебя спокоен».

— Все будет нормально, дорогой мой кэп.

Тьма зыбко качалась в желто-синем свете, а из-за угла склада отчетливо порывами вылетал пар, будто человек, стоявший там, отдыхал после бега или тяжелой работы. Ноги Птицына, окончательно задеревеневшие, отказались вдруг служить ему, мелко задрожали, сгибаясь в коленях, и, чтобы не упасть, Коля шагнул вперед, к тому незнакомцу, и крикнул каким-то не своим, девчачьим голосом:

— Стой!!!

Человек этот и так стоял, привалясь к стене кургузым полубубком. Он даже не пошевелился, не среагировал на появление Птицына, только зыркнул на него удивленными жалкими глазами и прохрипел негромко:

— Не шуми, сынок. Сердце, вишь, подкачало. Так колет, аж тот свет видать. Подмогни лучше, не разогнусь никак.

Птицын растерянно опустил автомат.

— Как же вы тут очутились? — пробормотал он. — Надо, наверное... — И обрадованно вспомнил: — У нас аптечка есть. Только до караулки дойти.

О постороннем в запретной зоне, о четкости Устава Птицын в этот момент забыл. У человека болело сердце — вот что утвердилось в Колином сознании единственным фактом, не откликнуться на который он не мог: ведь большое сердце было и у его матери.

— По такой погоде заплутаться — раз плюнуть, — выдавил со стоном человек.

Сомнение Коли относительно появления незнакомца в неполюженном месте обратилось в стыд за недоверие к нему, и Птицын, укорив себя, подставил плечо.

Первый удар был тупым и небольшим. Птицын удивился полыхнувшим в глазах искрам и остался стоять, ощутив под шапкой влажное тепло. Видно, железка, которой ударил Колю чужой человек, не попала точно в цель, а скользнула по виску. Через мгновение Птицыну, как и в первый раз, сыпануло в глаза холодным огнем, и, валясь в пустоту, он бесполезно и слабо попытался защититься рукой. Третьего удара Птицын уже не почувствовал: упал в сугроб и жадно хватанул губами соленый снег.

Сознание ушло лишь на какую-то минуту, и, очнувшись, Коля нелепо подумал о варежках: не потерял ли, когда падал? Еще ничего не видя, в полном мраке, он поискал рукой вокруг себя и обжегся холодом автомата. Тьма расплзлась, и одним глазом — второй залило чем-то липким, — Коля смутно различил горбатый черный силуэт, у стены склада, мохнатую, как ему показалось, удалявшуюся фигуру нарушителя. Птицын подтащил оружие, нащупал курок и, не целясь, не поднимая головы, выстрелил в сторону заборов — автоматически сработало: предупредительный. Где-то, ухнув, отлетела доска, автомат больно ударил в плечо, отчего голову снова обдало жаром. Мгновение Птицын видел небо, полное будто сошедших с ума, беснующихся звезд, но и в их хороводе опять тенью проступила фигура пробиравшегося через сугробы человека. Из последних сил Коля напряг казвившее болью зрение, поймал стволом нарушителя и, удерживая мутящееся сознание, иступленно нажал на спуск.

— Все будет нормально, — еще раз повторил Гена, вспоминая командира роты, и в этот момент в порывы ветра ворвался какой-то далекий, похожий на выстрел, чужеродный звук. Он повторился через некоторое время, и Гена взволнованно напряг глаза, пытаясь отыскать во тьме то, чему поверить было страшно.

Дверь отворилась, и Гена вздрогнул от неожиданности. Из «топки», как говорили солдаты, то есть из внутреннего помещения узла, в коридор, где прятался Гена, вышел дежурный в серой фуфаечке — дядя Михаил, для солдат просто дядя Миха.

— Умерз, — улыбнулся спросонья дядя Михаил и сообщил доверительно, — побрызгать надо.

Он, старчески кашляя, вышел во двор и вскоре вернулся, пыхтя и чертыхаясь.

— От воеет, гадюка, тряся ее матери... Как вы в такую лихомань гуляете туточки?

— Я на минуточку, дядь Миха, — попробовал оправдаться Гена и соврал зачем-то: — ног не чувствую.

— Погрейся, — разрешил дядя Михаил. — Не жалко. Только гляди, не спи, капуста. А то меня вместе с тобой чекрыжить будут. Был случай.

— Я чуть-чуть, — заверил Гена. — Собственно, уже иду. Скоро смена. А вы ничего не слышали? Выстрелов не слышали?

— Выстрелов? — встревожено обернулся у двери дядя Михаил. — Выстрелов не слышал. У меня агрегат гудит ровно, как в ракете, за ним разве чего учуешь. А ты что ж сидишь? — совсем очнулся от сна старик. — Ты, брат, с этим делом не шуткуй. Время-то, сейчас какое? И люди лихие есть. В трех верстах на поселении живут. Им что? Обворовал склад, запчасти утром — шоферам. И будь здоров. Деньги-то нужны. А то — целую цистерну спустят. Протянут шланг, и не заметишь. Да подорвут еще, чего доброго, все к чертовой бабушке.

— Как же они про склады знают? — боялся верить словам дежурного Гена.

— Ты что, с луны упал? — совсем уже разозлился дядя Михаил. — Бежи, я тебе говорю, капуста!

Свет фонаря, как ртуть, взлетал по штыку сержанта Грачева при каждом его прыжке. Бежал Гена быстро: внутри то сворачивалась, то расплзалась противная скользкая тревога.

Уставшие воевать с бураном деревья ленивоплыли навстречу, чуть помахивая костистыми лапами. Мазутное небо ползло, обнажая сухие голубые звезды, — светало.

У склада с запчастями Гена остановился, перевел дыхание. Ветер теперь совсем утих, и Гена, поправляя шапку, ясно различил, как тикали под рукавом его шинели часы, будто жил в них и торопился по своим делам маленький железный зверек. Гена проскрипел по снегу еще три-четыре шага и вдруг с ужасом, не веря себе, услышал — нет, не показалось, — что за углом автосклада кто-то стонет. Ошалело срывая затвор, Гена бросился за угол и замер: поджав под себя ноги и окунувшись лицом в сугроб, лежал, будто спал, Коля Птицын. Рядом валялись его автомат и шапка с блестящей при свете фонаря звездочкой. Гена опустил на колени, повернул Птицына к себе и, тихо ойкнув, сел на землю: лицо Коли было залеплено темной снежно-кровой маской. Гена вдруг по-

чувствовал, как дробно и неудержимо застучали зубы. Тупо глядел он на товарища, страшась прикоснуться к его лицу, чтобы вытереть кровь.

— Коля, — позвал он наконец слабым, каким-то неживым голосом.

Птицын молча смотрел черным лицом в серое небо, по которому плыли уже легкие рассветные облака.

— Птицын! — заорал Гена, сознавая, что душа его сейчас не выдержит и порвется от горя и боли, каких никогда в жизни он еще не испытывал. — Птицын!!!

Коля тихо застонал, и маска на его лице зашевелилась в том месте, где должен быть рот.

— Живой, родимый, — давился словами от горькой радости Гена, — живой...

Он быстро, но осторожно снимал снежную кровавую кашлицу со лба и щек Птицына, и все шептал, шептал, как в очищенье, тяжелые слова: «Живой, родимый...»

Птицын часто задышал освободившимся ртом, закашлялся и снова застонал. А Гена был несказанно счастлив и дыханию друга, и кашлю его, и стону.

— Дыши, землячок. Ничего, отойдешь. Милый ты мой, дыши. Былинка, — повторял он, все больше приходя в себя, и теперь зорко и зло оглядывался по сторонам. Зрение, обретая лютую остроту, медленно нанизывало каждый предмет: ангар, столбик, качнувшуюся ветку. У дальнего забора автопарка, где кончался пост Птицына, глаза Гены застыли на шевелившейся фигуре не то зверя, не то человека.

«Он», — понял Гена и, подтащив Птицына к стене склада, заботливо надел на его голову шапку.

— Погоди, браток. Пять минут погоди.

Птицын опять застонал и тихо покашлял, а Гена уже несся по сугробам, ощущая в мышцах упругую, звериную силу.

— Стой! — закричал он издали.

Но человек еще судорожнее задергался, забарахтался в снегу, пытаясь достичь забора, который был уже совсем близко от него. И тогда Гена вскинул на бегу автомат, остервенело пальнул в мгlistое небо.

— Стой, сволочь! Все равно не уйдешь!

Человек проковылял еще несколько шагов, упал и замер. Тяжело дыша, Гена последним длинным прыжком настиг его. Тот взвыл от боли — видно, достала-таки его пуля Птицына, — захрипел в снег:

— Суки... Убить же могли.

Утро Гена встретил во дворе госпиталя. Он сопровождал Птицына до больницы. В машине держал Колю на руках и все

удивлялся, как мало весит Птицын. Будто вез Гена куда-то одну легкую, как соломинка, его душу, и от этого ощущения что-то рвалось внутри, смыкалось острыми частями, болело и снова рвалось. Одуревшие за ночь от метели деревья оцепенело стояли в пуховом сиреневом бреду, и под ними, придавленный ослепительным солнцем, пластался красный снег.

Гена нервно вышагивал возле приемного отделения, с тоской ожидая сообщения врача, сухого, строгого, как ему показалось, капитана, который принимал Птицына. В машине Коля очнулся, узнал Грачева и попытался, как понял Гена, отстраниться от него, но это принесло лишь физическое страдание Птицыну. Он напрягся, заскрипел зубами и выдохнул: «Ты...» Глаза его закрылись, а Гена подумал о себе то, чего не досказал товарищ.

— Отец ко мне должен приехать, — вдруг произнес Коля, не разжимая век, — так скажите, мол, ничего страшного, ушибся маленько.

— Скажу, скажу, — поспешил успокоить его Гена, — все скажу.

И тут же почувствовал лживость своих слов, мелких, не тех. Нужно было что-то другое, но что?

Теперь, вытапывая снег под окнами с белыми занавесками, Гена снова ощутил, что душа его крепко опутана чем-то подлым, низким, и спасения от этого нет.

Дверь отворилась, и на порог вышел капитан в чистом наглаженном халате. Он посмотрел на Гену спокойно и устало, и Грачеву показалось, что врач знает какую-то огромную тайну и о нем, и о Птицыне, обо всем мире.

— Курево есть? — спросил капитан.

Гена достал нераспечатанную пачку сигарет, но раскрыть ее дрожащими пальцами никак не мог.

— Ладно, не надо, — бросил капитан. — Ты, что ли, спас его?

Гена не ответил: в этом «спас» почудилась ему жестокая ирония.

— Доложишь в части: состояние больного весьма тяжелое. Проникающая травма черепа — штука не простая. Но... Сделаем все возможное. Тут уж, как говорится, жизнь парня в руках Господа. Вот такие дела. И Чечня вроде бы далеко, а забот и тут хватает. Но не горюй, сержант. Бывало хуже.

Весть о нападении на пост облетела полк мгновенно. Выяснилось, что за нарушителем давно охотилась милиция, что рядовой Птицын нес службу как положено, но пострадал (от этого никто не застрахован), и что героически отличился в данном карауле сержант Грачев. Все только о нем и говорили, и,

когда Гена вернулся из госпиталя в часть, ему тут же объявили перед строем благодарность, и он, опустив глаза, тихо сказал: «Служу России». Тихий голос его сочли за усталость и скромность, а старшина, как только строй разошелся, хлопал Гену по плечу: «Молодец, Грачев! Не подкачал, — и протянул отпускные документы. — Держи. Пока ты в больницу мотался, я тут все переоформил на сегодня. Езжай теперь домой с чистой совестью».

Гена вздрогнул от слов старшины и побоялся встретиться с ним глазами, но отпускное удостоверение взял. «Скорее бы вырваться! Забыть все хоть ненадолго». Он чуть ли не бегом бросился в казарму. Чемоданчик его кто-то поднял и заботливо поставил под кровать на блестящий от мастики пол. Гена бросил в чемодан туалетные принадлежности, и, уклоняясь от распросов товарищей, заспешил уходить, но у двери его остановил дневальный.

— Пляшите, товарищ сержант! — и помахал конвертом.

Гена буркнул: «спасибо», сразу угадав почерк матери, но читать было некогда; он сунул письмо в карман шинели и выскочил во двор.

Мороз отпустил. Снег отяжелел, набряк, его разбивали в грязь маршировавшие на плацу солдаты. Гена вздохнул и ускорил шаг.

Вокзальная суতোлка немного отвлекла. Вокруг кипела совсем иная жизнь, словно он попал совсем в другой мир, где до него не было никому никакого дела. Суетились, спешили, толкали.

Гена присел на скамью в зале ожидания. До отправления поезда оставался час. Грачев устал от пережитого, от мыслей, от борьбы с совестью. Не хотелось ни о чем думать, ничего вспоминать. Не было ни радости, ни горя — была гудящая монотонная пустота, движение лиц, чемоданов, сонный седой снег за окном.

И рядом:

— Куды народ едет? Вроде город не ахти... А все едут, едут... Че ехать? Ну, мне понятно — внук родился. Солдат — тоже понятно: в отпуск, небось... В отпуск, что ль? Слышь, солдат?

Гена рассеянно обернулся — рябое лицо, ушанка с ухом набок, маленькие быстрые глазки.

— Я говорю, в отпуск, что ль?

— В отпуск, — подтвердил Гена.

Старик придвинулся, радуясь собеседнику.

— За какие ж таки заслуги? Али время пришло?

— Время.

И поднялся. И пошел.

Гена бесцельно бродил в толчее, ждал, когда объявят посадку на его поезд. Был легкий, не обременяющий ничем ве-

чер, и по возбужденным лицам, по мягкому хрусту снега под ногами, по его свежему речному запаху чувствовалась близкая весна, но от этого почему-то становилось еще грустнее на душе, еще тяжелее.

Но жизнь, наверное, утратила смысл, если бы ее горькие часы превращались в месяцы и годы. Поэтому все вокруг — предметы, люди, звуки, запахи, цвет — неожиданно вновь родилось для Гены. Где-то недалеко запели о прекрасной Олесе «Песняры», свежо и влажно потянуло от мягкого весеннего снега далекой речкой, и ярко расцвели за перроном васильки путевых огней. Девушка с румяными щеками озорно улыбнулась сержанту Грачеву, что-то зашептала своей подружке. Та громко и озорно рассмеялась.

Объявили посадку. Гена, приосанившись, подал документы пожилой проводнице, и она заинтересованно спросила:

— В отпуск?

— В отпуск, — легко ответил Гена.

— Своего вот тоже никак не дождусь, — сообщила проводница. — Ты проходи, проходи. Место у тебя хорошее. Проходи, милый. Позже чаек принесу.

Место действительно было хорошее. Гена отряхнул в коридоре шинель и устроился на нижней полке у окна. И тут вагон взорвался шумом, смехом, звоном гитар — это студенты разъезжались на каникулы. Купе Гены, да и соседние тоже наполнились бойким, веселым народом.

— Эй, поэт, давай сюда! И Нинку, Нинку бери! Место королеве! Прошу вас, Нинель! Туже струны, Андрей. Страна ждет певцов и героев! Ба! Да с нами молодой защитник. Магистр, бургундского! Как зовут вас, корнет?

Оглушенный, Гена натужно улыбнулся.

— Геннадий.

— Прекрасно, Гена! Едем вместе.

Парень, возглавлявший компанию, был высок и строен. Смоляными усами, блеском горячих, черных глаз он сам походил на бравого корнета, и по тому, как смотрела на него Нинель, как все покорялись ему, как покровительственно Серго — так называли парня — говорил, Гена понял: он среди товарищей лидер — и испытал к новому знакомому неприятное чувство. Он представил, что, может быть, вчера эти ребята, провожая друг друга на студенческой пирушке, вот так же пели и веселились, а Птицын, рядовой солдат Птицын в это время рисковал жизнью и едва не погиб. И снова на сердце легло что-то тяжелое, необъяснимое. Со студентами Гена был примерно одного возраста, но он вдруг ощутил себя неизмеримо старше их, даже не старше — взрослее, умудрен-

нее. А поезд, грохоча, бежал все дальше и глубже в ночь. В окне вагона, как в крышке от пианино, маслянисто отражались желтый эллипс гитары «поэта», белобрый парня в очках, красное пятно свитера Нинель, зеленый китель Гены.

— Эх-д, загулял-д, загулял-д, загулял пар-нишка молодой, — вытягивали студенты под перебор «поэта».

— Подпевай, корнет! — крикнул Серго.

Гена безразлично посмотрел на него и твердо сказал:

— Давайте-ка в тамбур со своей балалайкой.

«Поэт» прекратил играть и виновато проговорил:

— А и правда, мешаем людям. Поздно уже — не общага.

Серго уязвлено поднялся:

— О-о!.. Это уже поступок. Бери пример, Андрюха. Что ж, в тамбур, так в тамбур. Отдыхай, служивый.

Купе опустело. Гена разостлал постель — поскорее бы заспать тягучую, как заноза, боль в душе. «Перекурить, что ли, перед сном?» — подумалось. Он сунул руку в карман шинели и вдруг обнаружил письмо, маленькое материнское послание.

Первые же строчки воскресили глуховатый, родной, далекий и близкий голос, чуть различимый в перестуке колес.

«Сыночек, дорогой мой! Так я рада, что у тебя все в порядке: начальство уважает, товарищи тоже. Молодец. Служи как следует. Меня соседи спрашивают: что Гена? И я, гордая, всем показую фото с газеты, где ты на учениях отличился. Хотела написать командиру вашему, поблагодарить — и постеснялася: сколько ж, думаю, вас там... У него голова, небось, пухнет.

Это хорошо, что ты сержанта достиг. Старайся, сынок. Папа твой старшиной с войны вышел и погиб уже на трудовом посту. Как герой. Ну, ты это знаешь, так что будь достоин. Когда б он мог поглядеть, какой ты стал. Не дождался папка. Все говорил: «Гена подрастет — на паровоз определю». Очень хотел, чтоб ты паровоз с ним водил. Только не пришлось.

Каждый раз пишу до тебя, а сама плачу. А чего плачу? Хотя сколько мы горя с папкой вынесли, пока тебя растили. Сколько я намучилась, пока одна была? Волосы просто не белеют. Но ты не огорчайся из-за мамы, сынок. Так хочется, чтоб у тебя все хорошо сложилось.

У нас по-прежнему. На фабрике, правда, меня тоже выделили: грамоту дали за пятнадцать лет безупречной работы, значок и пятьсот рублей деньгами. Так я побежала по магазинам — купила тебе рубашку светленькую такую, в полобочку. Приедешь, как раз переоденешь.

На днях заходила Катенька. Посидели, чаю попили. Редко пишешь ты до нее, сынок. Я говорю: службы, наверное, много. Пиши ей, Гена. Сильно она переживает, как у вас дальше...

Хочет свитер тебе теплый связать. Очень мне Катя за это нравится. Ласковая девушка. И все у нее разговор только за тебя. И то Гене надо, и это надо. Дай бог, чтоб у вас все было хорошо. И мне спокойно под старость лет. Хоть до внуков дожить. Друзья твои провели вчера, Коля и Саша. Оба в институте учатся. Но ты правильно, я считаю, поступил, сынок, что не пошел, куда не хотелось. Жить надо трудно, тогда и радость будет вдвое больше. Детей вырастишь — поймешь.

Слушайся командиров, Гена. Не спорь. Ты иногда спорить любил. Веди себя так, чтоб на тебя другие равнялись.

Очень скучаю за тобой. Сижу вечером дома и думаю: вот сейчас бы сынок пришел. Может, тебе отпуск какой выйдет — дай телеграмму, я тебя встречу. Вот радости будет!

Чувствую я себя терпимо, так что не волнуйся, служи как надо. Ну, все. Поздно уже. Завтра рано на фабрику. Целую тебя крепко. Твоя мама».

Стучали колеса. Светилась в черном окне золотая лампа. Тихо подрагивал подстаканник. И Гена вдруг понял: он *не туда едет*. Как-то случилось, где-то и когда-то, что его поезд отправился *не туда*.

Он понял, что сейчас не может ехать домой, не может показаться матери, Кате, друзьям...

Гена сошел на первой остановке. Среди цветущих снегом деревьев уютно теплилась огнями маленькая станция. С ее тяжело нависшей крыши с шепотом падала капель. В теплом небе таяли и мокро блестели льдинки звезд. Стояла какая-то вселенская тишина, лишь поезд, отдыхая, ровно дышал позади. Покой спящего невдалеке леса и голубого подлунного поля за станцией невольно передался Гене. Он обогнул вокзал с певучим названием «Окоемово» и по глубокому снегу добрел до раскидистой серебряной ели. Дух весны незримо витал в воздухе.

Гена упал навзничь, широко раскинув руки. Лежать было мягко и хорошо. Меж разлапистых мохнатых ветвей сияла чистая звезда, от нее отросла — так захотел Гена — тонкая, как травинка, световая полоска. Гена протянул руку и потрогал стебелек света. Он был прохладным и, должно быть, хрупким, и Гена осторожно отпустил луч. Стебель качнулся, но не исчез, и некоторое время еще горел неярко и прозрачно. Гена улыбнулся звезде, как старой знакомой, и вскочил на ноги — ведь нужно было послать матери телеграмму, что сейчас отпуск отменяется. И ель обрушила на него сырой, пахнущий рекою снег.

Лев ЛЕБЕДЕВ,
протоиерей

КЛЕВЕТА СРАБАТЫВАЕТ БЕЗОТКАЗНО

В период 1911—1913 гг. была задумана и спланирована 1-я Мировая война, главной целью которой было низвержение России.

Мировая война — явление особое, ранее не бывавшее в истории человечества, явление апокалиптическое. Отвечая на вопросы учеников о признаках Второго Пришествия и кончины Мира, Христос сказал: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите не ужасайтесь: ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это — начало болезней» (Мф.24.6—8.). Спрашивается, неужто до Христа не было войн, «военных слухов», гладов, моров и землетрясений? Были. И Господь знал об этом. Значит, в приведенных словах Он имел в виду не такие, как обычно, войны, не обычные глады и землетрясения. Какие же? Ответ содержится в выражении: «народ на народ и царство на царство». В древней, да и в новой истории войны велись между двумя-тремя народами или царствами, иной раз между группами царств (народов), но никогда не было такого, чтобы все народы, все царства Мира так или иначе «восстали» бы друг на друга!.. Такое случилось только в XX веке,



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

пока дважды. «Глады, моры и землетрясения» тоже стали необычными и в значительной мере связанными с мировыми войнами, если понимать под этими явлениями нечто буквальное (скажем, последствия разрывов крупных бомб, особенно — ядерных). Но глады и моры вызваны в XX в. также и политической геноцида Русского и некоторых иных народов со стороны «своих» же правителей, чего раньше никогда не бывало! А под «землетрясениями» можно также с большой долей вероятности понимать общественные потрясения, вызванные революциями («земля» в Писании часто — синоним «народа»).

Но как стали возможны мировые войны? Обычно их пытаются объяснить обострившимися противоречиями империалистических держав как чем-то «объективным» и «закономерным», тем паче, что на стадии «империализма» эти державы стали обладать сверхмощным оружием как одним из результатов тоже якобы «объективного» развития мировой промышленности и экономики. Однако на самом деле ничего «закономерного» здесь нет. Мы видели, что многочисленные противоречия народов и держав вполне могли разрешиться не только военными, но и дипломатическими средствами. Мы видели также, как Государь Николай II в 1898—1899 гг. предложил всем державам Мира как раз во избежание «восстания царства на царство» путь международных мирных конференций, Третейского суда, решительного прекращения гонки вооружений, сокращение их, запрета наиболее разрушительных военных средств! Было бы желание и воля! Но мы помним также, как говорил К. Маркс о «мировой войне», которая должна «стереть с лица земли» целые «реакционные народы», как Энгельс указал, что прежде всего стирать с лица земли нужно «Русское государство». До чего точно выразался! Не сказал ведь — «правительство» или «Российскую Империю», а именно — «Русское государство», то есть государство Русского народа... Это значит — Русский парод как таковой. Мы помним также, как о мировых войнах рассуждали Пайк и Гинцберг. Значит, это была давняя еврейская идея! И в XIX в. вождям иудео-масонства казалось (по множеству военных конфликтов), что они уже близки к ее осуществлению, что никто не может им помешать. И вдруг — Россия, Русский Царь и Гагская конференция по его настоянию! Возникла реальная угроза, что Православная Россия, достигшая такого громадного влияния на мировые дела, может и похоронить навсегда идею мировой войны!..

Не будет поэтому натяжкой и преувеличением предположить, что предварительный приговор России был вынесен

иудео-масонством именно после 1899 г. (что подтверждается и всем ходом событий) в связи с ее мирными инициативами, отраженными на Гаагской конференции! Окончательный же приговор состоялся в 1912 г. Все это дает нужный ответ на вопрос о том, как возможны стали войны мировые? Они стали возможны по причине расселения евреев по всему миру и приобретения их вождями власти и влияния на финансы, промышленность и правительства крупнейших стран, и в той или иной мере — всех стран!

По достижении полного идейно-политического единства мирового еврейского движения в 1911 г. организация им мировых войн стала реально осуществимой возможностью. Первая мировая война замышлялась, как было отмечено, для устройства революции прежде всего в России. Но для этого нужно было создавать и поддерживать (финансировать) определенные революционные силы внутри страны. Мы же помним, что после 1907 г. от революции и ее идей отшатнулось большинство российской общественности и даже такая удобная для внутренних врагов часть ее, как интеллигенция. В такой обстановке привлечь общественность к каким-то антиправительственным настроениям можно было только под прикрытием патриотической идеи, то есть не во имя разрушения, а во имя сохранения государства, общества, даже — самого монархического строя от... плохих государственных и общественных деятелей, плохого правительства и плохого монарха. В то же время никак нельзя было оставлять и упорных революционеров-разрушителей, которые хотя и потеряли популярность, но могли бы вновь ее приобрести при «удачном» для них обострении обстановки.

Так, после смуты 1905—1907 гг. в России были созданы два основных эшелона или подрывных движения — буржуазно-дворянское и пролетарское, или «умеренное» и «разрушительное», или — относительно «национальное» и полностью «интернациональное». То и другое, как мы не раз увидим, направлялось и руководилось из одних и тех же заграничных центров, одним и тем же скрытым иудейским «мировым правительством». Две личности особенно выделялись в этих двух руках одного монстра — А.И. Гучков и В.И. Ульянов (Ленин), будучи наиболее типическими выразителями указанных движений и наиболее сильными и влиятельными в них.

Гучков — «не торгующий купец», из очень богатой старообрядческой семьи. Добровольцем пошел участвовать в Англо-бурской войне 1899—1902 гг. на стороне буров. Побывал в плену у англичан и, возможно, там и был приобщен к ма-

сонству. В 1905 г. он уже видный и известный деятель, масон высоких степеней, лидер партии «октябристов». По личным убеждениям — сторонник конституционной монархии. Прославился как решительный поборник крутых мер и репрессий в подавлении революции 1905—1907 гг., за что прослыл «реакционером». Гучков — человек очень большой внутренней силы! Но эта сила — темная. Достаточно взглянуть на его портрет: в его глазах — тьма. Крайне тщеславный, как и все самозванные политики, Гучков поначалу сделал ставку на то, что ему удастся подчинить своему влиянию и «обаянию» лично Государя Николая II. Но Государь распознал, почувствовал его и вполне «охладил» Гучкова, дав ему неоднократно понять, что никакого влияния на Царя он иметь не будет. Это крайне раздосадовало «сильную личность» и Гучков с 1909 г. занял почти откровенно враждебную Государю позицию. При всей своей гордости Гучков, однако, был политиком обычным. У него не было никакого своего, особого учения и мессианских претензий.

Другое дело — лидер второго революционного направления полуеврей и дворянин (из служащих) Ленин! Этот был точным слепком с основателя социал-демократического «пролетарского» движения К.Маркса. Он понял главное в Марксе и марксизме и создавал не просто политическую революционную партию на основе экономической и социальной «научной» теории марксизма: он создавал — религию и притом такую, где «богом» являлся бы он сам! В этом суть всех разногласий Ленина с легальными марксистами, вроде Струве и Плеханова, с «меньшевиками», то есть со всеми, кто по наивности и явному недомыслию воспринимали марксизм как именно «научную» теорию, могущую послужить «светлому будущему» человечества, начиная с России... Для Ленина, как и для Маркса, важна и нужна была исключительно и только личная власть с непременным обожествлением собственной персоны, не терпящей ни от кого не только возражений и критики, но даже просто недостаточного раболепства. Ленин (как и Маркс) мнил себя не иначе как «мессией» — «учителем» и «вождем» не российского только, а мирового значения. Это была психология антихриста, отражавшаяся и на учении Ленина о «партии нового типа», и о «мировой революции», и о построении социализма в России, и на его «философии», и на методах «руководства», когда он с «товарищами» пришел к власти. В области политики Ленин всегда, изначально являлся законченным уголовником. Для него не существовало каких-либо юридических, этических, или нравственных ограничений. Все средства для него,

смотря по обстоятельствам, были допустимы для достижения цели. Ложь, обман, клевета, предательство, подкуп, шантаж, убийство — вот почти повседневный набор средств, какими он лично и его партия пользовались, сохраняя при этом для рядовых партийцев и масс личину «кристальной честности», порядочности и гуманности, что, конечно, требовало исключительного искусства и изощренности во лжи.

Особенное удовольствие Ленину всегда доставляли известия о безнаказанных убийствах, как одиночных, так наипаче — массовых! В таких случаях он приходил в искреннее веселье. В этой кровожадности разгадка той особенной силы, какую «вождь Мирового пролетариата» получал от дьявола и ангелов бездны. В области философии Ленин был на удивление бездарен. Как поудачней соврать — вот что было, в сущности, единственной его заботой в идейной сфере. А когда ему всерьез приходилось думать, тогда он допускал ляпсусы, непростительные для «гения». Так, взявшись защитить материалистическое марксистское учение от новейших соблазнов в книге «Материализм и эмпириокритицизм», Ленин вынужден был озаботиться точным философским определением того, что такое «материя». Он не сумел придумать ничего лучшего, чем утверждение, что «материя есть категория объективной реальности, данная нам в ощущениях». Эта реальность, по Ленину, существует вне и независимо от человеческого сознания и отражается им. Но под такое определение подходит все, что угодно, в том числе — «объективная идея» Гегеля и даже бытие Божие, т.к. все это тоже «объективная реальность» и тоже «данная в ощущениях», вне и независимо от нашего сознания!.. Что же касается Бога, то для Ленина, как и для всех марксистов, единственной «логикой» было: Его нет потому, что Его «не может быть никогда» (по Чеховскому «соседу»). Вполне законченное философское тупоумие. Несостоятельность же экономических и социальных положений марксизма-ленинизма давно и всесторонне показана и доказана крупнейшими учеными в этой области. Эти положения опровергнуты и самой жизнью. И теперь каждый непредвзятый читатель может обнаружить, что все учение «классиков» или «вождей» марксизма — это искусное сочетание некоторых точных наблюдений над противоречиями жизни со сплошными натяжками, подтасовками и просто выдумками, столь же правдоподобными, сколь и далекими от всякой правды.

Но вот вопрос: как на такой идейно скудной, примитивной основе можно было создать учение, захватившее миллионы умов и сердец в России и по всему Мiру?! Достаточный ответ

никогда не может быть дан, если не принять во внимание главного: марксизм-ленинизм — не просто учение, это — религия, культ личности его основателей и каждого из очередных «вождей», питаемая (вдохновляемая) не человеческими, а демоническими силами из «глубин сатанинских». Поэтому действие ее на умы происходило одновременно с бесовским наваждением, ослепляющим и помрачающим рассудок. Чтобы получать такую поддержку из преисподней, нужно было особенным образом это заслужить, погружаться в сатанизм («посвящаться»). И Ленин с наиболее «сознательными товарищами» погружался (в частности и через пролитие невинной крови), начиная с 1905 г., хотя нет данных о том, что он лично убивал кого-нибудь. «Вождь» должен был сохраняться «незапятнанным»... В отличие от некоторых других сатанинских религий, религия большевизма носит выраженный характер почитания человеко-бога (и его сочинений как священного писания). Это глубоко неслучайно, т.к. здесь формируется не что иное, как религия грядущего Антихриста. Ленин — один из наиболее ярких прообразов Антихриста, один из его предтеч, вплоть до уподобления «зверю» в некоторых конкретных деталях жизни (получение «смертельной раны» и «исцеление» от нее). При жизни Ленин не мог создать себе всеобщего культа, т.к. вынужден был делить поклонение партии и масс с такими соратниками, как скажем, Троцкий. Ленин, обозвавший религию «труположеством», явился основателем религии собственного трупа — главной «святыни» большевизма даже до сего дня! Все это и обусловило чрезвычайную, из ряда вон выходящую силу Ленина и его партии-секты, снискавших чрезвычайную в себе заинтересованность диавола и вдохновляемых им иудео-масонских сообществ.

Давно замечено, что свою теорию «научного коммунизма» Маркс скопировал с мессианских теорий талмудического иудаизма, толкующих об избранности «еврейской сверхнации», призванной господствовать миром, и о лжемессии — «великом иудейском царе», который установит золотой век необычайного благоденствия «избранного» народа. Если понятия избранного еврейского народа и его мессии (сверхчеловека, человекобога) заменить понятиями «мирового пролетариата» и его «вождя», то и получится марксизм. В 1908 г. А. В. Луначарский (Хаимов) написал, что марксизм является «пятой великой религией, формулированной иудейством». Вот так прямо, откровенно и предельно точно! Но почему идеология «избранности Израиля» подхватывается в других народах и трансформируется в идеи всемирного господства от-

дельной нации и «мирового пролетариата»? И почему сами иудеи (через масонство) поддерживают такие, казалось бы, совсем не еврейские идеологии? Все становится на свои места, если учесть, что их вдохновителю — диаволу нужно приготовить сознание всех народов к принятию идеи Антихриста как действительно всемирного вождя, способного будто бы «облагодетельствовать» человечество «золотым веком» сущего «рая на земле». Это очень древняя идея (вспомним Неврода и его Вавилонское столпотворение). Она паразитирует на смутном знании и памяти человечества о своем первоизданном блаженстве в Раю до грехопадения. Отсюда, как оказывается, любому народу планеты не чуждо стремление к «райской жизни», где царит блаженство всеобщей справедливости, добра, равенства и изобилия всяческих благ.. Точное знание о том, что в земных условиях в состоянии греховности это невозможно, но возможно лишь в Царстве Небесном, после Второго Пришествия, общего воскресения мертвых и Страшного Суда для тех, кто подлинно был едином со Христом, — такое точное знание хранит только Святое Православие. Поэтому диаволу и слугам его очень нужно стереть Православие с лица земли... Поэтому такая ненависть сил мирового зла к подлинной Церкви Христовой в Русском народе и к самому Русскому народу как ее хранителю и носителю.

Вот почему и диавол и вожди иудаизма до определенного времени особенным образом поддерживали как тех евреев или полуевреев, которые в силу личной гордости нетерпеливо «выскакивали» из чисто иудейской религиозной традиции с тем, чтобы себя видеть чем-то вроде «мессии», так и тех немцев, грузин, китайцев или корейцев, которые в силу той же гордости претендовали на ту же самую роль. Идею «всемирного вождя и учителя» нужно было прорепетировать во всех основных ветвях человеческого рода. Но очень мешала, невероятно мешала Православная Самодержавная Великороссия! Для ее уничтожения нельзя было представить лучшего орудия, чем маниакальные изуверы убийства, лжи и гордости коммунисты-большевики во главе с Лениным. Однако взять власть над православным Русским народом (обычным путем через Думу или Парламент) со своими богохульными идеями они не могли. Нужно было расчистить им дорогу, приготовить место, условие для захвата власти. Эта задача возлагалась на российское масонское движение во главе с Гучковым.

После манифеста 17 октября 1905 г., даровавшего известные свободы, в России начинают быстро возникать легаль-

ные масонские ложи, ранее запрещавшиеся. И хотя тайное масонство в России никогда практически не прерывалось, отсутствие легальных лож являлось для него большим препятствием по уже памятным нам причинам. «Резерв» подготавливался во Франции «Великим Востоком». Еще в 60-х годах в Париже во французское масонство вступили некоторые русские. Среди них — писатель И.С. Тургенев, позже — Великий Князь Николай Михайлович (ложа «Биксио»), затем философ В.Вырубов, психиатр Н. Баженов, ученый физик П. Яблочков, историк М. Ковалевский. В 1887 г. там же для русских создается ложа «Космос» (№ 288) — писатель А. Амфитеатров, земский деятель В. Маклаков, деятель культуры В.Н. Немирович-Данченко. С 1900 г. в Париже начинает работу масонская Русская школа общественных наук, возникает еще одна русская ложа «Гора Синай». В начале 1906 г. с согласия «Великого Востока Франции» М. Ковалевский открывает в России ложи французского подчинения. В первую такую ложу входят уже известные Ковалевский, Баженов, Маклаков, Немирович-Данченко, а также новые — С. Котляровский. Е. Кедрин (юрист), историк В.О. Ключевский, князь С. Урусов, врач и адвокат М.Маргулиес, дипломат И. Лорис-Меликов и другие. От этой ложи ответвляются два основных филиала: в Москве — «Возрождение», в С.-Петербурге — «Полярная звезда». Их «открыли» прибывшие специально из Франции два высоких масона — Сеншоль и Буле. Позднее, в 1908 г., они предоставили «Полярной звезде» право открывать в России новые ложи без предварительного согласия с французскими.

Появились многие ложи с разными названиями, но ведущую роль продолжала играть «Полярная звезда», руководимая графом А. Орловым-Давыдовым, куда принимались только масоны не ниже 18-й степени посвящения. В масонство входили также кадет А. Колюбакин, князь Бебутов, барон Г. Майдель, сотрудник публичной библиотеки А. Браудо, историки Н. Павлов-Сильванский и П. Щеголев, адвокаты С. Балавинский, О. Гольдовский, октябрист А.И. Гучков, его товарищ по партии М.В. Родзянко, кадет Н.В. Некрасов, трудовик А.Ф. Керенский (с 1912 г. через ложу «Малая Медведица»), меньшевики А. Гальперн, Чхейдзе, Скобелев, большевики Троцкий, Луначарский, Скворцов-Степанов, Красин, Бокий, Серeda, Чичерин, миллионеры Н.И. Терещенко, А. Коновалов, П.П. Рябушинский (с двумя родными братьями), князь В.Оболенский, графиня С.В. Панина, барон В. Меллер-Закомельский (не путать с генералом), М. Горький, его жена Е.Пешкова, его крестник Зиновий Пешков

(брат Я.Свердлова), их подруга Е.Д. Кускова (масонка высших степеней), ее муж С. Прокопович, князь Г. Львов (председатель Земского и Городского союзов), князь А. Хатисов (городской голова Тифлиса), князь П. Долгоруков, генерал-майор П. Половцев (33-я степень), меньшевик Г. Аронсон, художник Марк Шагал, кадет В. Велихов и очень многие другие видные деятели того времени. В списках русских масонов не числится кадет историк П. Милюков (он скрывал свое масонство), но только потому, что давно состоял в масонстве чисто французском... Масонские ложи возникали и действовали, кроме Москвы и Петербурга, также в Киеве, Одессе, Нижнем Новгороде, Минске, Витебске, Твери, Самаре, Саратове, Тифлисе, Кутаиси и других городах. По словам Кусковой, перед 1917 г. вся Россия была покрыта сетью масонских лож, куда в общей сложности входили многие тысячи людей.

Кроме лож структуры «Полярной звезды» существовали ложи мистического направления. К ним относились мартинисты (старинное течение) во главе с «великим мастером» графом Мусиным-Пушкиным, куда входили многие из аристократии и даже из Императорской Фамилии — Великие Князья Николай Николаевич, Петр Николаевич, Георгий Михайлович. Среди них одно время очень активно действовал знаменитый масон и оккультист Папиус. Папиус даже надеялся привлечь Государя Николая II, но не удалось! К мистикам относились и масоны-филадельфы, куда входил Великий Князь Александр Михайлович (брат Георгия) и ряд аристократов, всего около тысячи человек.

Основные их занятия — спиритические сеансы (мнимое «общение» с духами и душами умерших), чем тогда очень увлекались довольно многие в интеллигенции. Наконец, была и прямо сатанинская ложа «Люцифер», включавшая многих из «творческой» среды, в основном декадентов, — Вяч. Иванова, В. Брюсова, А. Белого. Ложей интересовался А Блок.

Масонство по прямому заданию «Великого Востока Франции» пускало щупальцы в государственный аппарат, в дипломатический корпус. Так, по данным Н. Берберовой в ее книге «Люди и ложи», масонами на дипломатической службе были: К.Д. Набоков (Англия), А.Д. Кандауров (Франция), Г.П. Забелло (Италия), А.В. Неклюдов (Швеция), И.Г. Лорис-Меликов (Норвегия), К.М. Ону (Швейцария), Б.А. Бахметев (США), Н.А. Кудашев (Китай), А.И. Щербатский (Бразилия) и т.д.

Все виды и ложи масонства России были связаны и сообщались как между собой, так и с заграничными центрами,

прежде всего — с «Великим Востоком Франции», а всем вкупе управляло чисто еврейское сообщество (называемое то «ложей», то «орденом») — Бнай Брит, ставшее во главе объединенного мирового сионизма, с центром в США.

Важнейшим, с политической точки зрения, для Западных центров было, конечно, российское политическое масонство структуры «Полярной звезды». В 1909 г. оно заявило о самороспуске. Это был хорошо известный нам со времен П. Пестеля маневр с целью, с одной стороны, избавиться от «балласта» и шпионов, проникших в его среду, а с другой стороны, — создать новое тайное объединение для политической борьбы, не подвергая подозрению и опасности своих легальных «братьев». Так в том же 1909 г. была создана глубоко конспиративная «Военная ложа», во главе с А. И. Гучковым, а в 1910 г. — ложа «Малая Медведица» для работы со «штатской» общественностью, где главную роль постепенно стали играть князь Г. Львов, М. В. Родзянко, А. Ф. Керенский, Н. В. Некрасов, П. П. Рябушинский, М. И. Терещенко, А. Коновалов... Над ними, то есть над всем российским масонством этого направления тяготела масонская клятва верности «Великому Востоку Франции», данная еще в 1908 г. в виде особого документа под названием «Обязательство». Это клятвенное обязательство сохранялась свято до и после «самороспуска» и возникновения нового руководства и новой структуры. В 1910 г. это руководство объявило о формальной независимости русского масонства, но — с согласия французов «Великого Востока». Новое руководство значительно упростило прием новых членов, отказалось (в целях конспирации) от многих элементов масонской символики и обрядности и, таким образом, стало на языке масонов «незаконным», но именно с конспиративной целью (чтобы в случае чего мировое масонство могло заявить о своей полной «непричастности» к заговорщикам и заговору). На самом же деле всем ходом заговора руководили и контролировали его как раз иностранные масоны (через посольства Германии, Англии и Франции в России).

В 1910 г. Гучков, давний член Госсовета и III Гос. Думы, стал ее председателем. Однако в 1911 г. он добровольно ушел с этого поста, занятого тут же его «братом» Родзянко. В 1913 г. Гучковым и иными «братьями» был создан тайный «Верховный совет народов России», куда входило до 400 членов, но председатели лож знали только его секретарей — Некрасова, Керенского, Терещенко. Новые ложи включали не более 12 человек каждая. Совет и его «Конвент» координировали действия «Военной ложи» и структур «Малой Медведицы». Гуч-

ков в это время возглавлял Военный комитет Государственной Думы, ведавший вопросами обороны. «По долгу службы» он оказался связан с Генеральным Штабом, виднейшими военными, дипломатами и промышленниками. Постепенно одного за одним Гучков вовлек в свою «Военную ложу» генералов Н.Н. Янушкевича, А.С. Лукомского, А.А. Поливанова, А.З. Мышлаевского, В.И. Гурко, полковника барона Корфа, затем — генералов А.В. Алексеева, Н.В. Рузского, А.М. Крымова, Л.Г. Корнилова, А.А. Брусилова, А.А. Манниковского, В.Ф. Джунковского и многих других видных офицеров.

У Гучкова в 1909—1913 гг., по существу, уже был готовый общий план действий, который он позаимствовал от масонов — «младотурков» в 1908 г. в Турции, куда специально ездил для изучения опыта турецкой революции. Суть плана состояла в том, чтобы высшие офицеры армии, в том числе из ближайшего окружения Царя, в нужный момент смогли изолировать своего Монарха от всех рычагов управления и принудить его к такому действию или заявлению, какое нужно было бы в тот момент заговорщикам.

Как видим, в масонстве состояли видные деятели и члены руководства почти всех партий и крупных организаций. Керенский потом вспоминал, что в масонстве они никогда не позволяли себе нарушить единство «братства» партийными разногласиями. А «на публике» между партиями шла острая полемика, борьба, иногда казавшаяся публике непримиримой! Так что какая бы партия в случае революции ни пришла к власти, у кормила этой власти все равно оказались бы «братья-каменщики»!

Привлечь к тайной деятельности против Государя и государства, сделать изменниками генералов и офицеров-дворян с их еще высоким чувством офицерской чести и верности присяге было не так-то просто. Гучков и его «братья»-масоны действовали разными способами, смотря по обстановке и учитывая личные особенности привлекаемых генералов, но было одно общее «универсальное» средство — клевета! Клевета на правительство, якобы никуда не годное, неспособное, клевета на ближайших к Царю лиц, как «дурно влияющих» на него, наконец, клевета на самого Государя и его Семью! С 1909 г. и по февраль 1917 г. это средство пускалось в ход против каждого действительно преданного Государю министра или сановника, против целого кабинета министров, если он был негоден масонам. Использовались любые недочеты и недостатки в руководстве, в самом течении дел, вполне неизбежные и естественные у любого правительства. В

обычной обстановке никому бы и в голову не пришло винить за них министров, тем паче — Царя. Но в той обстановке винули (и подчас патетически громко), создавая в обществе все более и более представление о негодности министров, иных деятелей и даже «режима» в целом. А если недостатков не было, — их выдумывали. Массонская служба «слухов» действовала безотказно! Сочинялись ложные высказывания тех или иных высоких лиц и даже — Государя и Государыни! Это всегда приходится иметь в виду при знакомстве с «воспоминаниями» и иными сочинениями деятелей того времени, особенно если они были масонами; у них правда обязательно смешивается с ложью и сознательной клеветой.

Вот когда пригодился и в полную силу стал работать на разрушение России идеологический и психологический истукан или идол «служения России» как высшей ценности бытия, созданный, как мы помним, еще со времен Петра I. Для людей, подверженных такому идолопоклонству, воспитанных в нем, кто бы они ни были, достаточно было явно или тайно указать на министра или на самого Царя, как на людей, которые «губят Россию» или вредят ей, и эти люди, забывая и Бога, и веру, и присягу, и долг послушания Царю, становились против него, вплоть до участия в прямом заговоре с целью свержения! Они почему-то полагали, что в лице Государя они присягали России, а не Царю лично... В полной мере «заработала» и давняя, древняя неприязнь родовитой знати к русским Самодержцам! Здесь родовое и личное тщеславие и надмение действовали особенно пагубно. Трудно было тогда найти среди отпрысков древних родов людей, которые бы без злорадства не ловили все дурные слухи и сплетни, бросающие тень на Царя, на его Семью. Они верили слухам и сплетням, потому что хотели верить. И не брезгали передавать их «ниже» — в общественность, которая разносила каждый такой слух буквально по всей России!

Особенно «удобной» для клеветников фигурой оказался Григорий Ефимович Распутин. Его имя начинает склоняться в обществе, в печати как раз в 1908—1909 гг. Распутин появился около Царского Двора в октябре—ноябре 1905 г. Его рекомендовали Государю и Государыне, как уже признанного целителя, для помощи больному Цесаревичу Алексею. Он вполне оправдал рекомендацию, т.к. мог останавливать угрожавшие смертью кровотечения Наследника и облегчать его боль в тех случаях, когда никакие врачи, никакая медицина не могли ничего сделать. Это и было (и осталось до смерти Распутина) главным в особенной привязанности к нему Царицы-матери. К тому же его восприняли еще и как выра-

зителя и представителя простого Русского народа. Распутин и был таким. Сам он никогда не пытался выдать себя за «святого» или «старца». Он себя называл «опытным странником» и очень хотел проповедать Слово Божие добрым людям, а также по мере сил помогать бедным, больным, обездоленным... Царь и Царица искренне почитали «нашего друга», как они называли Распутина, дали ему новую фамилию — Новых. Но на Г.Е. Распутина было вылито тогда и потом столько помоев клеветы и лжи, что приходится отвлекаться на описание его личности, чтобы понять суть случившегося.

Распутин (1869—1916) происходил из крестьян села Покровского Тобольской губернии. Никогда он не был в секте «хлыстов», как многие полагали. И не был конокрадом. Вероисповедания он был православного, а жизни, в самом деле, весьма типичной для многих русских, в том числе и «из народа». Он искренне чтит православное благочестие, тянулся к нему. Пятнадцать лет ходил по монастырям, усердно молился, много познавал от духовных людей и в итоге очень хорошо знал, что такое настоящее православное подвижничество и благочестие. Они были его целью, в чем нет никакого сомнения. Он обладал очень одаренной, способной натурой. К народной проницательности и смекалке («мужицкой мудрости») присоединялись у Распутина еще некоторые особые свойства — сила слова и сила целительного влияния, похожая на гипнотическую способность. Со всем этим сочеталась еще и широта действительно очень доброго и отзывчивого сердца! Получая в пору своей знаменитости очень большие денежные суммы от очень богатых людей, Распутин почти все раздавал на церкви, богадельни, нуждающимся людям и просто нищим. Около него постоянно кормилось великое множество самого разного люда... После его убийства в доме у него нашли лишь ничтожную сумму денег (и — никаких счетов в банках!). Искренне любя людей, Григорий Ефимович иногда мог быть в общении с ними проницательным до прозорливости, так что видел человека «насквозь», а иногда — как ребенок, доверчивым и потому нередко ошибался в людях. Распутин никогда не блудил и никогда не пьянствовал. Все рассказы «очевидцев» о «баньках» со знатными дамами просто вымыслы. «Банек» никогда не было. Самое удивительное в том, что распутником Распутин не был! Святой о. Иоанн Кронштадтский чтит его и очень хорошо о нем отзывался. В свою очередь, Распутин очень почитал о. Иоанна.

Интимная личная переписка Государя и Государыни, особая Чрезвычайная Следственная комиссия Временного правительства в 1917 г. по поводу «темных сил при Царском Дво-

ре», воспоминания объективных очевидцев, подлинные безхитростные писания самого Распутина и, наконец, простое сопоставление множества фактов неопровержимо свидетельствуют о том, что: 1) Распутин никогда не оказывал никакого влияния на государственные дела и на назначения высших должностных лиц, и 2) что он никогда не был «монстром» — исчадием «темных сил». Появлению Распутина содействовали Великие Княгини Анастасия Николаевна и Милица Николаевна (урожденные Черногорские княжны, бывшие замужем за Великими Князьями Николаем Николаевичем и Петром Николаевичем), а также три очень видных и авторитетных владыки — епископ Сергей (Страгородский), ректор столичной академии, епископ Феофан, духовник Царской Семьи, и Саратовский епископ Гермоген. Последний отличался особенной неприязнью к либералам и демократам, в чем вполне сходиллся с Распутиным.

Распутин, попав в столичные круги, довольно скоро освоился и понял очень многое в расстановке общественных сил. Он в целом (хотя и не без ошибок) чувствовал людей лживых и враждебных Царю и тех кто был искренне предан Государю, и старался говорить в пользу последних. Нужно заметить, что у него была некая действительная способность к предвидению. Так, Распутин говорил Царю: «Моя смерть будет и твоей смертью». В начале войны он предупредил о том, что многие короны полетят с голов монархов. Предсказывал он и некоторые житейские события. Однако по твердому свидетельству родной сестры Государя Великой Княгини Ольги Александровны, Царь и Царица никогда не считали Распутина «святым» и неспособным грешить. Тогда что же они в нем почитали? Искренность в отношении к Богу и людям и великую способность к действительному смирению. Из личной переписки Царя и Царицы конца 1916 — начала 1917 г. очень хорошо видно, что Царь не придавал особого значения советам и предсказаниям «друга», о которых Государыня изредка сообщала мужу, и ни один из этих советов не исполнил. Государю нравилось в Распутине именно его народность, простота, непосредственность суждений, духовность. Царская Семья ценила в «друге» человека «из народа». Он отчасти (конечно, далеко не в полной мере, а лишь отчасти) восполнял то общение с народом, которого так не хватало Государю. Распутина необычайно почитала фрейлина Императрицы А.А. Танеева-Вырубова, которую очень любила Государыня за редкую чистоту души, наивность, открытость, простоту, чего не было во всех почти окружающих Царский Трон. Массонская клевета потом объявила Вырубо-

ву «наложницей» и Царя, и Распутина, главной участницей ужасных «оргий» Распутина. И этому верила вся «образованная» Россия! Каково же было удивление самих клеветников, когда Чрезвычайная комиссия Временного Правительства, подвергнувшая арестованную Вырубову принудительной медицинской экспертизе, обнаружила, что она вообще — девственница!..

Подобным же образом после дополнительных проверок в марте 1917 г. обнаружилась лживость и всех, буквально всех клеветнических наветов на Царскую Семью и ее окружение! Но это случилось уже после февральской революции. А до этого, начиная особенно с 1912 г. клевета распространялась, действовала с огромной силой. Этому в известной мере невольно способствовал и сам Распутин, любивший в разговорах намекнуть на свое значение при Дворе. Перед ним начинали заискивать, задаривали его, прося похлопотать перед сильными Мира. И он часто хлопотал, но, как выяснилось, лишь перед некоторыми министрами и за лиц, ничего не значащих в политике, к примеру — за некоторых чиновников, нуждавшихся в пенсиях или повышении по службе или бедствующих вдов. Но и таких вполне безобидных «протекций» оказалось достаточно, чтобы масоны из окружения Гучкова и Родзянко создали миф о «страшном», «роковом» влиянии Распутина на Царя и всю политику России. Первым начал клеветать на Распутина Великий Князь Николай Николаевич, обозленный тем, что ему не удалось сделать Распутина орудием своего влияния на Царя. Князь обвинил Распутина в «хлыстовстве», что потом было полностью опровергнуто особыми проверками. Затем по указке масонов министр внутренних дел Хвостов, его помощник Белецкий, масон-жандарм Джунковский стали фабриковать якобы секретные сведения полицейских наблюдений, которые тут же размножались левой и еврейской прессой. Но подлинные дневники полицейских наблюдений за Распутиным, ведущихся днем и ночью с 1912 по 1916 гг., сохранились в архивах, и в них нет ни одного компромата на Распутина!

Поверив клевете о второй, теневой стороне жизни Распутина, от него резко отшатнулись и епископ Феофан, и епископ Гермоген, и иные лица, ранее благоволившие ему. Гермоген в 1911 г. в Саратовской епархии с молодым иеромонахом Илиодором (Сергеем Труфановым) деятельно выступал против либерализма местных властей. В Царицыне Илиодор собирал многие тысячи людей сильными проповедями, в которых иногда всех министров объявлял «жидо-масонами». Приглашенный в заседания Синода Гермоген рассорился с си-

нодалами по поводу некоторых впрямь сомнительных предложений о молитвах «за инославных» и об учреждении (точной возродении в Церкви) древней должности «диаконисе». В 1912 г. Гермоген с Илиодором решили принудить Распутина воздействовать на обер-прокурора Синода В.К. Саблера. «Старец» отказался. Произошла безобразная ссора. Илиодор с одним своим приверженцем в присутствии Гермогена побил Распутина, отобрав у него при этом какие-то письма членов Царской Семьи. За выступления против Синода Гермоген был удален из столицы, а Илиодору назначалось отбыть в монастырь на покаяние. Однако сей ревностный борец с «жидо-масонством» официально отрекся от Православной Веры. В интервью газете «Речь» (9 января 1913 г.) Илиодор сказал: «Колдуном я раньше был, народ морочил. Я — деист. Языческая религия — она была хорошая». В 1918 г. Илиодор-Труфанов стал сотрудником ЧК по личному приглашению Дзержинского. А тогда, в 1912 г., используя особенности выражений, стиля подлинника, злодеи составили фальшивое «письмо» Царицы и «письма» ее дочерей Распутину. Мнимое «письмо» Государыни давало основание для гнуснейшего подозрения о ее интимной связи с Распутиным. Вмешалась полиция. Подлинники были найдены. Но фальшивки уже вовсю пошли в общество... Впоследствии, бежавший за границу расстрига Илиодор использовал эти фальшивки, а также придуманные им «рассказы» Распутина в своей книге о нем под названием «Святой черт». И решил в 1915 г. подзаработать на этом, предложив Российскому МВД выкупить у него рукопись за 60 тысяч рублей. Когда это стало известно Государыне, она с возмущением отвергла предложение, заметив: «Белое не сделаешь черным, а чистого человека не очернишь». В 1912 г. создание фальшивых писем приписывалось многими Гучкову. Но даже его противники полагают, что не он их фабриковал. Возможно. «Мастеров» такого рода хватало. Известно, к примеру, что подложные «воспоминания» Вырубовой были состряпаны историком-масоном Щеголевым. Над фальшивками мог потрудиться он, или такой как он. Несмотря на давно доказанную поддельность указанных писем, они и по сей день публикуются как якобы подлинные в некоторых вполне современных и делающих вид «объективности» изданиях. Клевета на Царскую Семью не кончается. А тогда она только начиналась.

9 марта 1912 г., выступая в Думе, Гучков дерзнул произнести речь, в которой с пафосом сказал: «Хочется говорить, хочется кричать, что церковь в опасности и в опасности государство... Вы все знаете, какую тяжелую драму пережива-

ет Россия. В центре этой драмы — загадочная трагикомическая фигура, точно выходец с того света или пережиток темноты веков (имелся в виду Распутин. — Авт.)... Какими путями этот человек достиг центральной позиции, захватив такое влияние, перед которым склоняются высшие носители государственной и церковной власти? Вдумайтесь только — кто же хозяйничает на верхах, кто вертит ту ось, которая тащит за собою и смену правления, и смену лиц, падение одних, возвышение других ?!»

Речь произвела огромное впечатление на общественность. Государь Николай II был возмущен до глубины души. Он, всегда оберегавший свою монаршую власть от посторонних влияний, почитая ее священным личным долгом пред Богом, не мог расценить заявления о мнимом «влиянии Распутина» на государственные дела иначе, чем наглое незаслуженное оскорбление. «Поведение Думы глубоко возмутительно. Особенно отвратительна речь Гучкова», — написал он по этому случаю и тогда же сказал В.Н. Коковцову: «Я просто задыхаюсь в этой атмосфере сплетен, выдумок, и злобы!» Государь был совершенно прав! Современный историк О. Платонов дал себе труд проверить все архивные документы о Распутине и установил, что все, буквально все, сведения о скандальных похождениях Распутина, его пьянках, оргиях, блуде и т.п. являются клеветническими выдумками! Результаты исследований Платонов опубликовал в книге «Жизнь за Царя. Правда о Григории Распутине». («Россияне», М. 1992, №№8—10). В книге хорошо показано, как масонские центры (Гучков и К°) разработали и начали эту клеветническую кампанию с целью дискредитировать Царскую Семью и вообще Русскую Монархию. Доводы царских родственников о том, что как бы то ни было, слухи о Распутине все равно компрометируют Царскую Семью, что его поэтому в любом случае нужно удалить, не могли подействовать. Ноудалить Распутина значило бы в какой-то мере подтвердить обоснованность клеветы. А у Царя и Царицы на клевету мог быть только один ответ — презрение. Никто не мог им, как и любым независимым людям, диктовать, с кем им иметь чисто личные человеческие отношения, а с кем — нет. Царская Семья понимала, что клеветников остановить невозможно; не будет Распутина — они найдут непременно что-нибудь другое, какой-то иной предмет клеветы, что потом и подтвердилось. И сверх всего того Распутин был нужен для исцеления царевича Алексея, чего никак не хотели понять даже некоторые царские родственники.

Дело кончилось тем, что Распутин во время 1-й Мировой войны стали винить в том, что он является едва ли неглавным

человеком, склоняющим Царя и Царицу не более и не менее, как к измене, к заключению сепаратного мира с враждебной Германией. Тогда 16 декабря 1916 г. якобы во имя спасения Монархии и России, во имя победы над врагом, группа заговорщиков в доме князя Юсупова зверски убила Распутина. Главным «исполнителем» явился «монархист» Пуришкевич, участвовал Великий Князь Дмитрий Павлович. Человека сперва с ног до головы оклеветали, а потом и убили просто ни за что! Впрочем, с точки зрения масонов, было за что! За то, что Григорий Ефимович являлся если и не святым, то достаточно благочестивым, добрым и твердым в вере человеком, чтобы силой искренней молитвы лечить Наследника, духовно поддерживать Царя и Царицу, чтобы, не боясь, говорить им о нуждах народа, о его подлинных настроениях и чаяниях...

Обвинение Царской Семьи в «измене» было делом особым и не связанным прямо с одним Распутиным. Массонская клевета, конечно, не могла ограничиться использованием одного только этого человека. Клеветали на всех, кто не входил в число заговорщиков или мешал им. Так, подвергся нападкам председатель Совета Министров Б.В. Штюрмер и за свою немецкую фамилию, и за то, что он якобы «ставленник Распутина», в шпионаже в пользу Германии обвинили военного министра В.А. Сухомлинова. Подверглись резким нападкам «общественности» и многие другие министры и сановники. Впервые громко намекнул на «измену» в верхах масон П. Милоков в одном из своих нашумевших выступлений в Думе. Наконец, в ход была пущена «утка» о том, что Царица как «немка» желает победы Германии, содействует немецким шпионам, что у нее в Зимнем дворце есть секретный «прямой провод» с Берлином, что она во всяком случае хочет сепаратного мира с немцами и даже вынашивает план захватить власть, подавить нарастающую революцию с помощью немецких войск. Чего стоили эти измышления мы уже знаем из приведенных высказываний Государыни в письмах. Но общество, а также обыватели («массы») этих писем не знали и... верили лжи. У лжи были «длинные ноги». Некоторые очень пожилые люди, дожившие до наших дней и помнящие те времена, рассказывали, к примеру, следующее. В далеком волжском селе (!) к местному священнику по праздникам и «на картишки» собиралась сельская «интеллигенция»: земский учитель с учительницей, пристав, земский начальник, акцизный надзиратель (с женами), заезжий студент Краковского университета. За столом говорили о войне, о Царской Семье, о Распутине, с полной убежденностью

повторяя указанную клевету и называя Государя не иначе, как «Николка-дурачок»...

В марте 1917 г. Временное правительство создало специальную Чрезвычайную Следственную Комиссию по расследованию злоупотреблений бывших министров, главноуправляющих и других высших должностных лиц, известную также как Комиссия по расследованию преступлений царского режима. Были вскрыты все личные бумаги Государя и Государыни, все секретные документы всех ведомств, обследованы (ощупаны!) все кабинеты и жилые комнаты и Царской Семьи и членов правительства. Ничего, подтверждающего хоть один из указанных клеветнических слухов, найдено не было! Зато во множестве были обнаружены документы и письма, свидетельствующие о такой высоте, широте и благородстве чувств, мыслей и планов Государя и Государыни, что многие ранее предубежденные против Царской Семьи члены Комиссии совершенно переменили свои взгляды! Так, один еврей из революционных следователей созрел: «Что мне делать? Я начинаю любить Царя!». Другой следователь, профессиональный юрист В.М. Руднев, будучи поначалу противником Царя и его «режима», получил задание Керенского особо исследовать «деятельность темных сил» при Царском Дворе. К «темным силам» причисляли таких людей, как Распутин, Вырубова, князь Андронников, доктор-бурят Бадмаев, некоторых других. Руднев поднял всю личную переписку Царя и Царицы, произвел обыски, какие хотел, собрал горы (!) документов, допросил, кого хотел, и выяснил то, о чем уже говорилось: Распутин никогда никакого влияния на политическую жизнь страны не оказывал. Приписываемые его «внушениям» назначения министров Хвостова, Штюмерера, Протопопова и иных на самом деле происходили помимо каких-либо его «внушений» или «советов». Он вообще бывал при Дворе крайне редко и только для лечения Наследника. Доктор Бадмаев виделся с Государем в официальной обстановке по случаю представления своих сочинений о Бурятии и истории бурятского народа. Методами тибетской медицины он никого при Дворе не лечил и в придворной жизни никак не участвовал. Распутин интересовался им, но к его медицине относился отрицательно. Князь Андронников совсем никогда не бывал в Царской Семье. Он, будучи ловким авантюристом, умел в обществе создавать впечатление о своей мнимой близости ко Двору, пользуясь приемами совершенно жульническими. Законченный лжец и к тому же мужеложник Андронников и близко ко Двору не отступался. А Анна Вырубова-Танеева, как уже было сказано, оказалась просто

большим, милым ребенком, даже при всем желании не могущим принимать хоть какое-нибудь участие в политике... О всех лицах, подозревавшихся в пагубном влиянии на государственные дела, было выяснено, что они такого влияния не оказывали. Выводы Руднева не понравились. На него «надавили» с целью побудить хоть как-то дискредитировать Царскую Семью, из-за чего он тут же подал в отставку. В 1919 г. он написал теперь уже знаменитую записку «Правда о Царской Семье и «темных силах», которая была не раз издана и всем доступна. Разумеется, никакого сепаратного мира с Германией ни Царь, ни Царица и не думали заключать! «Немка», как мы знаем, оказалась настоящей русской! Телефонного провода с Берлином тоже не было.

Но во все эти и подобные небывлицы (особенно насчет Государыни) в 1914—1916 гг. верили генералы Алексеев, Корнилов, Брусилов, Рузский, протопресвитер Армии и Флота о. Георгий Шавельский, члены Государственной Думы, деятели земств и городов, благороднейшие и почтеннейшие политические деятели, а от них (а как таким людям не верить?) клевета распространялась даже до далеких волжских и сибирских сел... Клеветническими нападками были один за одним удалены почти все по-настоящему преданные Царю министры.

Так, ложью и клеветой Государь оказался изолирован, как бы отрезан от российского общества. Его решающая масса снова сложилась против Царя. Россия была морально как бы обезглавлена. Не хватало только отрезать голову самому Царю. Но скоро будет сделано и это.

Кто-нибудь может подумать, что такая клеветническая кампания против законного Монарха и его Семьи — это нечто новое, некое особое достижение Гучкова, Львова, Родзянко, Керенского, Милюкова и всей их масонской «братии». Ничего подобного! Это точное (даже до некоторых мелких деталей) повторение того же средства, к какому уже прибегали масоны-творцы «Великой» Французской революции 1789 г. Старые, классические средства срабатывают и действуют в греховном человечестве безотказно...

БЫЛ ЛИ ЗАГОВОР ВОЕННЫХ?

(ГЛАВА ИЗ КНИГИ «10 МИФОВ О 1937 ГОДЕ»)

На XXII съезде КПСС Н.С. Хрущев публично объявил о том, что советские военачальники во главе с М.И. Тухачевским были арестованы по ложным обвинениям. По его словам, материалы, сфабрикованные в гестапо, германская разведка сумела передать президенту Чехословакии Э.Бенешу, который, в свою очередь, передал их Сталину. Эту версию повторял и Д.Д. Волкогонов. Сталина и его окружение обвиняли в слепом доверии к гитлеровской фальшивке и нежелании поверить Маршалу Советского Союза и другим военачальникам. Однако в беседе с Ф.Чуевым в декабре 1971 г. В.М. Молотов говорил: «Мы и без Бенеша знали о заговоре, нам даже была известна дата переворота».

Еще в середине 30-х гг. усилились оппозиционные настроения и в руководстве Красной Армии, среди которого было немало выдвиненцев Троцкого. Борьба различных группировок среди советских военачальников, которую подробно описал Сергей Минаков, сосредотачивалась на противостоянии между руководством Наркомата обороны во главе с К.Е. Ворошиловым и рядом лиц, во главе которых стояли Гамарник, Якир, Тухачевский и другие. Это противостояние усиливалось, по словам Минакова, «перед лицом надвигающейся катастрофической для страны угрозы войны «на два фронта».



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

С самого начала создания антиправительственного заговора военная составляющая играла в нем все возрастающую роль. Значение военных заговорщиков возросло после падения Енукидзе и Ягоды. Исследователь заговора военных Сергей Минаков подчеркивал: *«Всем своим поведением военная элита, сложившаяся в 1931 г., обнаруживала неповиновение, оказывала давление как на внутривнутриполитические процессы, так в особенности и на внешнеполитические, настаивая, по существу, на изменении политического курса».* Одновременно, как отмечал Минаков, военная элита *«пыталась заставить Сталина и его властное окружение пойти на кардинальное изменение системы и структуры высшего руководства страной: передать один из ключевых постов — наркома обороны — своему представителю, военному профессионалу...»*

Сложившаяся обстановка провоцировала поиск альтернативных Сталину лидеров, гальванизируя интерес политической и военной элит к бывшим «вождям», все внимательнее приставиваясь в условиях надвигающейся войны к «вождю» военному, «угадывая» такового прежде всего в Тухачевском».

Тем временем по мере арестов троцкистов реальных и мнимых в руки работников НКВД попадали и военные участники заговора. Арестованный в июле 1936 г. комдив Д. Шмидт стал давать показания против командующего Киевского военного округа И. Э. Якира. Когда Шмидта доставили в Москву, Ягода сообщил об этом участнику заговора Я. Гамарнику. Как подчеркивали Р. Баландин и С. Миронов, «видимо, этим сообщением Ягода хотел показать, что вынужден был арестовать человека из окружения Гамарника и Ягоды, ибо обстоятельства следствия вышли из-под его, Ягоды, контроля, и теперь этим делом занимаются Ежов и преданный ему Агранов».

После ареста Д. Шмидта в августе 1936 года один из обвиняемых на процессе Зиновьева, Каменева и других, И. И. Дрейцер сообщил, что среди военных существует оппозиционная группа, в состав которых входят заместитель командующего Ленинградским военным округом комкор В. М. Примаков и военный атташе в Великобритании комкор В. К. Путна.

В ходе процесса «параллельного центра» прозвучали слова, которые могли быть истолкованы как предупреждение Тухачевскому. Подсудимый К. Б. Радек заявил, что в 1935 году «Виталий Путна зашел ко мне с просьбой от Тухачевского». Правда, на вечернем заседании того же дня Радек, заявив о принадлежности Путны к подпольной организации, решительно отрицал причастность Тухачевского к деятель-

ности троцкистского «параллельного центра». И все же тень подозрений на заместителя наркома обороны была брошена.

Очевидно, что первые сведения о заговоре военных в Москву поступили из Парижа. Есть свидетельства, что Ежов направил Сталину записку с материалами РОВСа (парижской белоэмигрантской организации «Русский общевойсковой союз»). В ней шла речь о том, что «в СССР группой высших командиров готовится государственный переворот... Утверждалось, что во главе заговора стоит маршал М.Н. Тухачевский. Сталин направил записку Орджоникидзе и Ворошилову с резолюцией: «Прошу ознакомиться». Возможно, Сталин неспроста направил Орджоникидзе записку о заговоре Тухачевского. В отличие от Ворошилова, которого Сталин решил ознакомить с этим сообщением, потому что Тухачевский был его замом, вероятный смысл жеста Сталина по адресу Орджоникидзе можно было истолковать так: вот, мол, посмотри, что сообщают о человеке, которого ты защищал.

О военных заговорщиках было немало рассказано различными деятелями третьего рейха. Им было известно о сотрудничестве между рейхсвером и Красной Армией в период действия тайного соглашения с 1923 по 1933 гг. В ходе этого сотрудничества были установлены тесные личные связи Тухачевским и рядом других советских военачальников с германскими генералами. Об этом, в частности, поведал один из самых информированных людей нацистской Германии, личный переводчик А. Гитлера Пауль Шмидт, который писал свои книги под псевдонимом Пауль Карелл. (Не случайно в своей знаменитой книге «Подъем и падение Третьего рейха» Уильям Ширер не раз восхищался информированностью Шмидта и не раз цитировал его, описывая историю гитлеровской Германии.) В своей книге «Гитлер идет на восток» Пауль Шмидт-Карелл подробно описал, как Тухачевский, Якир и другие старались реанимировать те связи, которые были установлены с германскими военачальниками в период действия соглашения Радека — Секта. Об этом же писал в своих воспоминаниях и знаменитый руководитель внешней разведки Германии Вальтер Шелленберг.

Пауль Шмидт-Карелл изложил сведения, известные верхам нацистской Германии о заговоре военных и политических деятелей СССР, во главе которого стояли М.Н. Тухачевский и Я.Б. Гамарник. Опорой заговора являлась Дальневосточная армия, которой командовал В.К. Блюхер. Как утверждал Шмидт-Карелл, «с 1935 года Тухачевский создал своего рода революционный комитет в Хабаровске... В его состав входили высшее армейское начальство, но также и некото-

рые партийные функционеры, занимавшие высокие посты, такие, как партийный руководитель на Северном Кавказе Борис Шеболдаев». Хотя Шмидт-Карелл не знал многих сторон заговора и состава его участников, он верно отметил его «военно-политический» характер.

Как утверждал Пауль Шмидт-Карелл, когда в начале 1936 г. Тухачевский, возглавлявший советскую делегацию на похоронах короля Георга V, по пути в Англию и обратно проезжал через Берлин, он имел встречи с «ведущими германскими генералами. Он хотел получить заверения в том, что Германия не воспользуется какими-либо возможными революционными событиями в Советском Союзе в качестве предлога для похода на Восток. Для него главным было создание российско-германского союза после свержения Сталина».

В значительной степени это было обусловлено тем, что Тухачевский, как и другие заговорщики, опасался вооруженного столкновения с Германией. Схожие опасения испытывали и германские военачальники. Полностью подержав приход Гитлера к власти и его действия по перевооружению Германии, они знали, что Германия еще не готова к войне. Правда, не были готовы к войне и другие страны мира. Это было в значительной степени связано с тем, что прогресс в военной технике не поспевал нигде за темпами в перевооружении армий на всей планете. Расчет Гитлера строился на том, что к концу 30-х годов другие великие державы несколько отстали от Германии в своих военных приготовлениях. В то же время он считал, что время работает против Германии, а потому западные страны и СССР наверстают это отставание. Поэтому Гитлер считал необходимым воспользоваться временным преимуществом в вооружениях и милитаризованности третьего рейха для нанесения сокрушительных ударов по соседним странам.

Открыто против авантюристического плана Гитлера на совещании 7 ноября 1937 года выступили министр обороны и Верховный главнокомандующий Германии фельдмаршал фон Бломберг и командующий сухопутными вооруженными силами генерал фон Фрич. Они отвергли этот план не потому, что стремились к миру, а потому, что осознавали: реализация гитлеровского плана приведет Германию к еще более грандиозному военному поражению, чем в 1918 году. Вскоре оба военачальника были грубо скомпрометированы и отправлены в отставку.

Однако расправа с ведущими военными руководителями Германии не остановила роста оппозиции среди немецких генералов, не желавших вести страну к поражению. Среди

военных созрел заговор против Гитлера, в котором на первых порах участвовали высшие руководители Вооруженных сил Германии. Они откликнулись на предложение о заключении тайного «пакта о ненападении» между военными Германией и СССР. Не исключено, что уже на этом этапе они были готовы гарантировать Тухачевскому и другим невмешательство в дела СССР во время военного переворота в обмен на невмешательство установленной в СССР военной диктатуры после аналогичного переворота в Германии.

Между тем слухи о тайном сговоре между военными двух стран стали поступать в столицы европейских государств. Посланник Чехословакии в Берлине Мастный в январе 1937 г. с тревогой сообщил президенту своей страны Бенешу о том, что немцы утратили интерес к переговорам, которые они в это время вели с Чехословакией о решении спорных вопросов, потому что стали исходить из неизбежности резких перемен в советской внешней политике после ожидаемого скорого государственного переворота в СССР. В случае прихода к власти в Москве прогерманских сил Чехословакия не могла уже рассчитывать на поддержку СССР, с которым была связана договором о взаимной помощи 1935 г.

Это подтверждается заявлением Бенеша в его беседе с советским полпредом Александровским 7 июля 1937 г. Как говорится в записи беседы, Бенеш с января 1937 г. *«получал косвенные сигналы о большой близости между рейхсвером и Красной Армией. С января он ждал, чем это закончится. Чехословацкий посланник Мастный в Берлине является исключительно точным информатором... У Мастного в Берлине было два разговора с выдающимися представителями рейхсвера...»*

Разумеется, встречи Тухачевского и другие контакты советских военных с германскими не могли пройти мимо внимания гестапо. Узнав от агентов гестапо о тайном сговоре между военными двух стран, руководитель РСХА Р.Гейдрих проинформировал об этом Гитлера. Разумеется, Гитлер мог бы арестовать заговорщиков. Однако все его планы строились на пропаганде военной мощи Германии. Любые массовые репрессии в рядах вооруженных сил подорвали бы веру в их всемогущество, в то время как Гитлер на первых порах полагался главным образом на грубый блеф. Поэтому он решил сорвать сговор между советскими и германскими военными, не раскрывая того, что ему было об этом известно.

В своих мемуарах В.Шелленберг писал, что, получив сведения о заговоре военных двух стран, «Гитлер распорядился о том, чтобы офицеров штаба германской армии держали в неведении относительно шага, замышляемого против Тухачев-

ского». «И вот однажды ночью Гейдрих послал две специальные группы взломать секретные архивы генерального штаба и абвера, службы военной разведки, возглавлявшейся адмиралом Канарисом... Был найден и изъят материал, относящийся к сотрудничеству германского генерального штаба с Красной Армией. Важный материал был также найден в делах адмирала Канариса. Для того чтобы скрыть следы, в нескольких местах устроили пожары, которые вскоре уничтожили всякие признаки взлома». Это произошло примерно 1—3 марта 1937 г.

Как подчеркивал Шелленберг, «в свое время утверждалось, что материал, собранный Гейдрихом с целью запутать Тухачевского, состоял большей частью из заведомо сфабрикованных документов. В действительности же подделано было очень немного — не больше, чем нужно, чтобы заполнить некоторые пробелы. Это подтверждается тем фактом, что всё весьма объемистое досье было подготовлено и представлено Гитлеру за короткий промежуток времени — в четыре дня». Досье произвело сильное впечатление на Гитлера, и он одобрил предложение передать эти материалы Сталину, руководителю самой враждебной для нацистской Германии Советской державы. Для передачи информации было решено использовать людей, участвовавших в германо-чехословацких переговорах.

Карелл утверждал, что Бенеш получил информацию о готовящемся перевороте в Москве и одновременно такая же информация была направлена германской разведкой в Париж. Тогдашний министр обороны Э.Даладье сообщил советскому послу в Париже В. Потемкину о «возможности перемен в Москве» и «делке между нацистским вермахтом и Красной Армией». Александровский записал, что «кажется, 22 апреля» Бенеш поставил перед ним вопрос о возможности сделки между Германией и СССР. Однако, судя по словам Александровского, во время этой беседы Бенеш говорил лишь туманными намеками.

Уточняя, каким образом передавалась информация через Прагу в Москву, В.Шелленберг писал: «Решено было установить контакт со Сталиным через следующие каналы: одним из немецких дипломатических агентов, работавших под началом штандартенфюрера СС Беме, был некий немецкий эмигрант, проживавший в Праге. Через него Беме установил контакт с доверенным другом доктора Бенеша... Доктор Бенеш сразу же написал письмо лично Сталину, от которого Гейдриху по тем же каналам пришел ответ установить контакт с одним из сотрудников советского посольства в Берли-

не. Так и поступили, и названный русский моментально вылетел в Москву и возвратился в сопровождении личного посланника Сталина, имевшего специальные полномочия от имени Ежова». Очевидно, к этому времени Сталин уже получил достаточно много сведений для того, чтобы подозревать в нечестной игре военных и их союзников среди партийных руководителей, но все же точные имена и доказательства еще не были представлены. Кроме того, информация из Берлина свидетельствовала о том, что заговорщики обратились за поддержкой к военным Германии — страны, враждебной Советскому Союзу.

К этому времени заговорщики существенно продвинулись в своей подготовке к военному перевороту. Аресты ряда участников заговора, а также опала Енукидзе и Ягоды заставляли заговорщиков действовать быстрее и энергичнее. К тому же после отстранения от власти Енукидзе и Ягоды военное крыло заговора стало играть в нем решающую роль. В середине февраля 1937 года заместитель наркома внутренних дел Украины Зиновий Канцельсон сообщил своему родственнику А. Орлову (Фельдбину) о том, что руководители Красной Армии «находились в состоянии «сбора сил». Хотя в то время заговорщики «еще не достигли согласия в отношении твердого плана переворота... Тухачевский считал, что следует «под каким-либо благовидным предлогом» убедить «наркома обороны Ворошилова... просить Сталина собрать высшую конференцию по военным проблемам, касающуюся Украины, Московского военного округа и некоторых других регионов, командующие которых были посвящены в планы заговора. Тухачевский и другие заговорщики должны были явиться со своими доверенными помощниками. В определенный час или по сигналу два отборных полка Красной Армии перекрывают главные улицы, ведущие к Кремлю, чтобы заблокировать продвижение войск НКВД. В тот же самый момент заговорщики объявят Сталину, что он арестован. Тухачевский был убежден, что переворот мог быть проведен в Кремле без беспорядков». Канцельсон был уверен в успехе: «Тухачевский — уважаемый руководитель армии. В его руках Московский гарнизон. Он и его генералы имеют пропуски в Кремль. Тухачевский регулярно докладывает Сталину, он вне подозрений. Он устроит конференцию, поднимет по тревоге два полка — и баста».

Тухачевский считал, что после захвата власти Сталина надо было немедленно застрелить. Однако сам Канцельсон, а также ряд других участников заговора, в частности, первый секретарь ЦК КП(б) Украины С. Косиор и нарком внутренних

дел Украины Балицкий, считали, что «Сталина надо было представить на суд пленуму ЦК». Действия заговорщиков ускорились после завершения февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б).

Одновременно с чисткой в НКВД было продолжено наступление Москвы против украинского руководства. 17 марта Постышев был освобожден с поста второго секретаря ЦК КП(б)У и избран первым секретарем Куйбышевского обкома партии. В Киеве разворачивалась кампания против «небольшевистских методов работы» Постышева. Тем временем в Западной Европе стали широко распространяться слухи о том, что в Москве готовится военный переворот. В «Бюллетене оппозиции» Троцкий писал о том, что «недовольство военных диктатом Сталина ставит в повестку дня их возможное выступление». 9 апреля 1937 г. начальник ГРУ Красной Армии С.Урицкий сообщал Сталину и Ворошилову о том, что в Берлине ходят слухи об оппозиции советскому руководству среди военачальников страны. Урицкий, правда, оговаривал это сообщение замечанием о том, что в эти слухи мало верят.

В апреле были арестованы заместитель начальника автобронетанкового управления РККА М.М.Ольшанский, командир 9-го стрелкового корпуса Московского военного округа Г.Н.Кутателадзе, бывший начальник охраны правительства В.Паукер, бывший комендант Кремля Р.А.Петерсон, заместитель коменданта Кремля дивизионный комиссар М.А.Имянинников.

Эти события заставили участников заговора ускорить время выступления. По словам Карелла, на 1 мая 1937 года было назначено выступление. Выбор дня переворота был обусловлен главным образом тем, что «проведение первомайского военного парада позволяло бы ввести военные части в Москву, не вызвав подозрений». Однако в развитие событий вмешались внешнеполитические обстоятельства.

В конце апреля в Лондоне было объявлено, что 12 мая 1937 г. состоится коронация Георга VI, вступившего пять месяцев назад на престол вместо отрекшегося от трона Эдуарда VIII. В Москве было решено, что советскую делегацию на эту королевскую церемонию вновь возглавит Тухачевский. По словам Карелла, узнав о своей командировке в Лондон, Тухачевский решил воспользоваться этим случаем для того, чтобы еще раз договориться с немецкими генералами о сотрудничестве во время и после переворота. «Тухачевский отложил переворот на три недели. Это было его роковой ошибкой».

Существуют сведения о том, что действия заговорщиков были предотвращены в последнюю минуту. Празднование

1 Мая в Москве для посвященных в суть дела прошло в обстановке тревожного ожидания непредвиденных событий. По свидетельству моего отца, находившегося 1 Мая 1937 г. на одной из трибун Красной площади, во время парада среди присутствовавших распространился слух о том, что вот-вот будет взорван Мавзолей, на котором находились Сталин и другие руководители страны. Ходили слухи и о других готовящихся терактах.

Английский журналист Фицрой Маклин, присутствовавший 1 Мая 1937 г. на Красной площади, писал, что ему бросилась в глаза повышенная напряженность в поведении руководителей, стоявших на Мавзолее Ленина: «Члены Политбюро нервно ухмылялись, неловко переминались с ноги на ногу, забыв о параде и своем высоком положении». Лишь Сталин был невозмутим, а выражение его лица было одновременно «и снисходительным, и скучающе-непроницаемым». Напряжение царило и среди военачальников, располагавшихся у подножия Мавзолея. Как писал бежавший из СССР В. Кривицкий, присутствовавшие на Красной площади заметили, что Тухачевский «первым прибыл на трибуну, зарезервированную для военачальников... Потом прибыл Егоров, но он не ответил на приветствие Тухачевского. Затем к ним присоединился молча Гамарник. Военные стояли, застыв в зловещем, мрачном молчании. После военного парада Тухачевский не стал ждать начала демонстрации, а покинул Красную площадь».

Судя по всему, в то время Тухачевский готовился к отъезду в Лондон. 3 мая 1937 г. документы на Тухачевского были направлены в Посольство Великобритании в СССР, а уже 4 мая они были отозваны. Главой советской делегации на коронации Георга VI был назначен заместитель наркома обороны по военно-морскому флоту В.М. Орлов. Очевидно, что подозрения, усилившиеся после 1 мая, заставили руководство страны внезапно пересмотреть решение относительно отъезда Тухачевского.

Тем временем 6 мая был арестован комбриг запаса М.Е. Медведев. Как сообщалось в «Известиях ЦК КПСС» (1989, №12), через день после ареста Медведев сообщил о своем участии в заговорщической организации, «возглавляемой заместителем командующего войсками Московского военного округа Б.М. Фельдманом».

В ночь на 14 мая был арестован начальник Военной академии имени Фрунзе командарм А.И. Корк. Р.Баландин и С.Миронов писали: «Через день после ареста Корк написал два заявления Ежову. Первое — о намерении произвести пе-

реворот в Кремле. Второе — о штабе переворота во главе с Тухачевским, Путной и Корком. По его словам, в заговорщическую организацию его вовлек Енукидзе, а «основная задача группы состояла в проведении переворота в Кремле».

Арестованный 15 мая Б.М. Фельдман на четвертый день после своего ареста стал давать показания на других участников заговора. К этому времени через полтора месяца после своего ареста стал давать показания на Енукидзе, Тухачевского, Петерсона и Корка Г.Г. Ягода. Показания на своих коллег по заговору примерно через месяц после своего ареста стали давать арестованные работники НКВД Гай и Прокофьев.

22 мая был арестован Тухачевский и председатель центрального совета ОСОАВИАХИМа комкор Р.П. Эйдеман. Через три дня после своего ареста Тухачевский стал давать признательные показания. В книге Н.А. Зеньковича «Маршалы и генсеки» опубликованы показания Тухачевского, написанные им во внутренней тюрьме НКВД. Он писал, что переворот первоначально планировался на декабрь 1934 года. Но его пришлось отложить из-за убийства Кирова. Заговорщики испугались взрыва народного негодования. Р.Баландин и С.Миронов не исключают и того, что после 1 декабря 1934 года «была усилена охрана руководителей государства».

24 мая Сталин за своей подписью направил членам и кандидатам в члены ЦК ВКП(б) для голосования опросом документ, в котором говорилось: «На основании данных, изобличающих члена ЦК ВКП(б) Рудзутака и кандидата в члены ЦК ВКП(б) Тухачевского в антисоветском троцкистско-правом заговорщическом блоке и шпионской работе против СССР в пользу фашистской Германии, Политбюро ЦК ВКП(б) ставит на голосование предложение об исключении из партии Рудзутака и Тухачевского и передаче их дела в наркомвнудел». В тот же день кандидат в члены Политбюро и заместитель председателя Совнаркома СССР Я.Э.Рудзук был арестован. Примерно в это же время был арестован бывший полпред СССР в Турции Л.К.Карахан. Последовали другие аресты. 11 июня М.И.Тухачевский, И.П.Уборевич, И.Э.Якир, Б.М.Фельдман, Р.П.Эйдеман, А.И.Корк, В.К.Путна и В.М.Примаков предстали перед судом Военной коллегии Верховного суда СССР. В тот же день был вынесен приговор.

Сталин категорически отказывался объяснять действия заговорщиков их идейно-политическими убеждениями. Как и на февральско-мартовском пленуме, Сталин отвергал огульное осуждение людей за их былую приверженность к троцкизму. Сталин отверг и объяснение участия в заговоре

ряда лиц их «классово чуждым» происхождением. Он заявлял: «Говорят, Тухачевский — помещик... Такой подход, то варищи, ничего не решает... Ленин был дворянского происхождения... Энгельс был сын фабриканта — непролетарские элементы, как хотите. Сам Энгельс управлял своей фабрикой и кормил этим Маркса... Маркс был сын адвоката, не сын батрака и не сын рабочего... Мы марксизм считаем не биологической наукой, а социологической наукой».

Отметая те обвинения, которые могли бы стать основой для развязывания репрессий по идейному или классовому признаку и тем самым дестабилизировать советское общество, Сталин в то же время подчеркивал, что в СССР нет условий для массового недовольства существующим строем и политикой правительства.

Сталин говорил: «Вот мы человек 300—400 арестовали. Среди них есть хорошие люди. Как их завербовали?». Сталин утверждал, что завербовать могли лишь «малостойкие люди». Казалось, он размышлял вслух: «Я думаю, что они действовали таким путем. Недоволен человек чем-либо, например, недоволен тем, что он бывший троцкист или зиновьевец и его не так свободно выдвигают, либо недоволен тем, что он человек неспособный, не управляется с делами и его за это снижают, а он себя считает очень способным. Очень трудно иногда человеку понять меру своих сил, меру своих плюсов и минусов. Иногда человек думает, что он гениален, и поэтому обижен, когда его не выдвигают».

Сталин говорил: «Если бы прочитали план, как они хотели захватить Кремль... Начали с малого — с идеологической группки, а потом шли дальше. Вели разговоры такие: вот, ребята, дело какое. ГПУ у нас в руках, Ягода в руках... Кремль у нас в руках, так как Петерсон с нами, Московский округ, Корк и Горбачев тоже с нами. Все у нас. Либо сейчас выдвигнуться, либо завтра, когда придем к власти, остаться на бобах. И многие слабые, нестойкие люди думали, что это дело реальное, черт побери, оно будто бы даже выгодное. Этак прозеваешь, за это время арестуют правительство, захватят Московский гарнизон, и всякая такая штука, а ты останешься на мели. Точно так рассуждает в своих показаниях Петерсон. Он разводит руками и говорит: дело реальное, как тут не завербоваться? Оказалось, дело не такое уж реальное. Но эти слабые люди рассуждали именно так: как бы, черт побери, не остаться позади всех. Давай-ка скорей прикладываться к этому делу, а то останешься на мели».

Исходя из того, что ядро заговора малочисленно, а в него вовлекались лишь немногие малостойкие люди, Сталин при-

звал ограничить масштабы репрессий: «Я думаю, что среди наших людей как по линии командной, так и по линии политической есть еще такие товарищи, которые случайно задеты. Рассказали ему что-нибудь, хотели вовлечь, пугали, шантажом брали. Хорошо внедрить такую практику, чтобы если такие люди придут и сами расскажут обо всем — простить их».

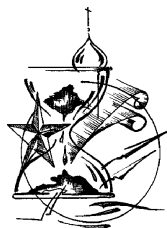
Совершенно очевидно, что военно-политический заговор, в котором участвовали видные деятели Красной Армии, был реальностью. В то же время ясно, что в ходе его разоблачения Сталин и его окружение стремились ограничиться на первых порах понижением по должности видных военных деятелей, а после ареста 300—400 военных деятелей не расширять круг арестованных, даже если имелись люди, вовлеченные в заговор. Эти обстоятельства опровергают миф о том, что обвинения о заговоре военных деятелей были лишь следствием слепого доверия Сталина гитлеровской фальшивке или его стремления расправиться с неугодными ему военачальниками.

«СТАЛИНИЗМ» — ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА РУССКОЙ КАТАСТРОФЫ

Парламентская ассамблея ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) приняла резолюцию, в которой приравнивала «сталинизм» в СССР к нацистскому режиму в Германии. Резолюция, которую лоббировали Литва и Словения, подчеркивает, что оба эти тоталитарных режима нанесли серьезный ущерб Европе и что в обоих режимах наблюдались проявления геноцида и преступления против человечества.

Итак, «сталинизм», как решили европейские парламентарии, — главное наряду с нацизмом зло в истории XX века. Другого равновеликого зла они не видят или не знают. Или не желают знать.

Но каким годом следует датировать **начало** «сталинизма»? Ведь когда умер Ленин в 1924 году, в руководстве его партии, в Центральном Комитете (который тогда насчитывал всего около дюжины человек) все его члены были равны, практически несколько лет существовала диктатура РКП(б) — ВКП(б), но в самой партии и особенно в руководящей головке первые годы после Ильича была свобода мнений и своеобразная «демократия». Одно время даже Л.Б. Каменев руководил заседаниями ЦК. Только к концу



20-х годов, примерно к 1928 году, Сталин постепенно при поддержке соратников, равнодушных к «мировой революции», сконцентрировал административные полномочия в своих руках и установил режим личной власти.

А что же было до «сталинизма»? Что же было в России до 1928—1929 годов? Тишь и благодать? Либеральная демократия?

Была, повторяю, диктатура большевистской партии над народом, которая в партийных бумагах именовалась «диктатурой пролетариата». Самый страшный, самый чудовищный период этой диктатуры падает на первые 5 лет «пролетарской революции». Более других в этот период свирепствовали Троцкий и Ленин. Приехав в Курск в июне 1918 года и выступая перед губернским большевистским активом, Лев Давидович изрек: «Мы пока убивали тысячи и десятки тысяч классовых врагов, но скоро, очень скоро мы будем убивать миллионы». Даже некоторые большевики при этом людоедском вопле вздрогнули и оцепенели.

В июле того же 1918 года была зверски убита Царская Семья. Был расстрелян Император Николай Второй, который издал Манифест о свободе слова, печати, партий, уличных собраний и шествий, о созыве парламента, в котором заседали и большевики. Будущие убийцы Царя легально издавали «Правду» и другие подрывные издания. Была расстреляна его венценосная супруга, юные ни в чем не повинные дочери и 14-летний сын. «Заодно», «попутно», так сказать, радители пролетариата убили врача Боткина, повара, камердинера и горничную. Тем самым они дали пример своим последователям: надо убивать, и убивать, и убивать — за происхождение или «связь» с «буржуазией». Так именно и расправлялись, начиная с конца 1917 года. Сразу после Октябрьского переворота («буржуазное» Временное правительство Керенского не сопротивляясь, практически мирно передало власть своим оппонентам) ловили по Петрограду офицеров, священников, «буржуев», то есть предпринимателей, дворян, аристократов, загружали ими баржи и топили в Финском заливе.

Еще в день создания ЧК (Чрезвычайной комиссии) Ф. Э. Дзержинский заявил на заседании Совнаркома: «Не думайте, что я ищу формы революционной справедливости. Нам не нужна сейчас справедливость, идет война лицом к лицу, война до конца, жизнь или смерть. Я предлагаю, я требую органа для революционного сведения счетов с контрреволюцией». Ему вторил сподвижник, чекист Лацис: «**Мы истребляем буржуазию как класс.** Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или

словом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, **какого он происхождения, воспитания, образования или профессии.** В этом смысл и сущность красного террора».

17 сентября 1918 года во влиятельной тогда газете «Северная коммуна» было опубликовано беспрецедентное требование третьего (после Ленина и Троцкого) человека в руководстве, члена ЦК РКП(б) и председателя Петросовета Г.Е. Зиновьева-Апфельбаума: «Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из 100, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить — их надо уничтожить».

11 сентября 1918 года при взятии Казани Троцкий устроил «образцово-показательное» подавление «буржуев»: «Жителей богатых кварталов, священников, купцов, интеллигенцию целыми семьями, с женщинами и детьми, толпами гнали на баржи, набивали в трюмы и пускали на дно Волги» (В. Шамбаров. «Белогвардейщина», Алгоритм, 1999, с. 167). В Киеве тот же Троцкий приказал по спискам перестрелять всех членов патриотических организаций. В тот период большевики клеймили патриотизм как «буржуазную идеологию», претворяя наказ Маркса: «Рабочие не имеют отечества».

В первые 5 лет троцкистско-ленинского террора, т.е. в 1918—1922 гг., безбожный Интернационал, союз отщепенцев разных наций, уничтожил 17,9 миллиона человек, или 12% населения России. Офицеры, дворяне, интеллигенты, купцы, предприниматели, крестьяне и даже рабочие — все шли под нож сатанинской революции. Убийство 12% населения страны, или почти 18 миллионов человек — это **подлинный Русский Холокост, подлинная Русская Катастрофа.**

И вот эту катастрофу 20-х годов XX века тщательно скрывают и маскируют все, у кого нет жалости к русскому народу, к другим дружественным нам народам России. Всё внимание у этих недругов России сосредоточено не на 1918—1922 годах, а на «сталинизме», преимущественно на политических репрессиях 1937—1938 годов. Да, репрессии имели место. Цифра смертных приговоров за всё время т.н. «сталинизма» составляет 642 980 человек, не мало, но это все-таки 0,4% тогдашнего населения страны. (См. ж. «Молодая гвардия», 2010 г., №1-2, с. 247. — Ред.) Кстати, добрую половину репрессированных в эти годы составляли «свои» палачи — каратели 20-х годов, преступники типа Тухачевского, Ягоды и Якира. Пусть не за «связь с японской разведкой», но за свои кровавые преступления они возмездие получили. Между прочим, Сталину, помимо наркома Ежова, в эти годы усердно помогал будущий «либерал» Н.С. Хрущев на посту пер-

вого секретаря МК ВКП(б), а затем в качестве руководителя ЦК Компартии Украины, равно как и другие партийцы. Ретивого Никиту Сталину пришлось даже тормозить: «Уймись, дурак!»

Не забывая преступлений т.н. «сталинизма» во время коллективизации, раскулачивания и гонений против Церкви, все же пора наконец **перенести акценты**. Хватит прикрывать и маскировать «сталинизмом» 30-х годов Русскую Катастрофу первых **пяти лет** большевистской революции, когда не столько Сталин, сколько Ленин, Троцкий, Зиновьев, Дзержинский и их сообщники сознательно и целенаправленно осуществляли геноцид русского народа и других народов России. Этим извергам нужна была так называемая «мировая революция», и в угоду ей они бросали Россию и русский народ в костер вселенского пожара.

Считается, что нацисты якобы отправили на тот свет 6 миллионов евреев. Но безбожный, христоненавистнический Интернационал уничтожил 18 миллионов русских, или **втрое больше**. Что же вы помалкиваете об этом, господа из Европейского парламента?..

УКРАИНА — ОТОРВАННАЯ ЧАСТЬ РОССИИ

1 октября 1653 года в Москве собрался Земский Собор, который рассмотрел вопрос о воссоединении земель ранее единого, мощнейшего государства — Киевской Руси. В наше драматическое время весьма болезненного разделения некогда единого славянского мира полезно вспомнить, как и почему русские люди, имеющие единый славянский корень, стремились навстречу друг другу, что и привело в конце концов к историческому воссоединению Украины с Московской Русью.

Воссоединение Малороссии (так называлась тогда Украина) с Московской Русью соответствовало жизненным интересам и чаяниям насильственно разобщенного населения древнерусского государства и было обусловлено всем предыдущим ходом истории. Как известно, русские и украинцы имеют единый национальный корень. Предками как малороссов, так и великороссов были восточнославянские племена, с древних времен заселявшие территорию от Карпат до Волги и от Балтийского до Черного моря. В VI—VIII вв. н.э. они образовали самую крупную в Европе единую древнерусскую народность. Иначе сказать, все мы — и русские, и украинцы, и белорусы — по своему этническому происхождению русичи, потомки единой древнерусской народности.



Интересы общественно-экономического, политического и культурного развития, а также необходимость обороны от внешних врагов привели к созданию одного из самых больших и могущественных государств в Европе — Киевской Руси. Однако в силу законов развития феодального общества древнерусское государство разделилось на ряд отдельных княжеств. В XIII в. монголо-татарское нашествие с востока, немецкая и шведская агрессия с запада, враждебные отношения с поляками и венграми поставили Русь в исключительно тяжелые условия. Она смогла отразить немецкие и шведские нападения, но не смогла устоять против монголо-татарских полчищ.

После монголо-татарского нашествия древнерусское государство оказалось существенно ослабленным, чем не замедлили воспользоваться соседи. Уже в XIV в. Западную Русь (ныне Белоруссия), Волынь, Восточную Подолию, Киевщину, Чернигово-Северщину, а также Смоленские земли захватили литовцы. Поляки в это же время захватили юго-западные русские земли — Галичину и Западную Волынь (а в XV веке и Западную Подолию). Буковина была включена в состав Молдавского княжества, а Закарпатская Русь еще в XI в. попала в руки венгров. В XV веке Турция захватила Молдавию и южнорусские земли северного побережья Черного и Азовского морей — Новороссию (ныне часть Украины) и поставила в вассальную зависимость Крымское ханство, которое к тому времени отделилось от Золотой Орды. В XVI веке уже у Литовского княжества Польша, по существу, отторгает Восточную Волынь, Брацлавщину и Киевщину с частью левобережья Днепра. В результате всех этих захватов Киевская Русь оказалась разорванной на территории, попавшие под власть различных стран. Таким образом стремление к единению русских и украинцев обусловлено прежде всего объективной необходимостью защитить себя от внешних врагов, сохранить государство, спасти от истребления своих потомков.

История знает немало примеров, когда, попадая в столь трагические условия, народы и государства исчезали с лица земли, были уничтожены или растворялись среди покоривших их народов. А Русь, однако, выстояла, окрепла, возродилась и стала могущественной державой. Даже в тяжелейших испытаниях древнерусская народность не поддавалась ассимиляции: сказался ранее достигнутый высокий уровень экономического и культурного развития, ее внутренняя прочность. Этнические, экономические, культурные и политические связи были сохранены и продолжали развиваться.

Идеи национального единения и необоримый дух независимости, о чем свидетельствуют, в частности, Киевская и Галицко-Волынская летописи, прочно укоренились в сознании всего русского народа еще в период феодальной раздробленности Киевской Руси. Поэтому, внутренне упрочившись, народ повел освободительную борьбу против поработителей, стремясь восстановить свое единство.

Свободолюбие, неудержимое стремление наших предков к независимости, как мы знаем, получило ярчайшее воплощение в целом ряде произведений литературы — у Пушкина, Гоголя, Шевченко, в балете и музыкально-оперном искусстве, в живописи... Стремление к единению проявлялось, прежде всего, в форме переселения жителей Малороссии в Московское государство. Начиная с конца XIII века, переселялись все сословия: от крестьян до бояр и князей. Причем последние, как правило, переходили со своими землями и крестьянами. По территориям захваченных земель прокатилась волна народных восстаний. В конце XIV века против иноземного владычества восстала Киевщина. В начале XV века восстания охватили Галицию, Волынь, Подолию и опять Киевщину. Особой силы борьба малороссиян с поработителями достигла во второй половине XV века.

В это время апофеозом русского сопротивления стало избавление от ненавистного монголо-татарского ига Северо-восточной Руси, объединившейся в Московское государство. В дальнейшем именно оно сыграла решающую роль в освобождении и объединении всех захваченных русских территорий. По мере своего возвышения Москва всё больше и больше становилась центром притяжения для русского народа, оказавшегося под гнетом чужеземных поработителей.

Несмотря на существовавший известный классовый антагонизм, между богатым сословием и бедным населением в русском обществе господствовал мощнейший дух национальной консолидации, неудержимое стремление изгнать ненавистных чужеземцев с родной земли, о чем, к примеру, живописно поведали в своих исторических повествованиях А. Толстой, В. Ян, Д. Балашов, В. Чивилихин, В. Ганичев, В. Пикуль и многие другие блистательные романисты.

Царское правительство после великого «стояния на Угре» практически сразу же заняло активную позицию в вопросе возврата отторгнутых земель. В 1492 году великий князь Иван III потребовал от литовского великого князя: «...и ты бы наших городов и волостей наших, земель и вод, которые держишь за собою, нам поступался» (Сборник Русского исторического общества, СПб., 1882, т. XXXV, с. 61—66). Поля-

кам он заявил, что «объединенная Великороссия не сложит оружия, пока не воротит всех остальных частей Русской земли, оторванных соседями, пока не соберет всей народности» (В.А. Ключевский. Курс русской истории. Соч. в 9 т. М. Мысль, 1988. Т. 3, с. 85).

Все русские земли на основании этнической принадлежности населения и их исторического прошлого назывались «отчиной». «Не то одно наша отчина, коя города и волости ныне за нами: и вся Русская земля, Киев и Смоленск и иные города... из старины... наша отчина...» — разъясняли русские дипломаты (Сборник Русского исторического общества. СПб., 1882, т. XXXV, с. 457—460).

Иван Грозный особенно активно и решительно выступал с требованиями возврата русских земель. Так, в 1563 году он предъявил королю Сигизмунду II Августу список, в котором был назван целый ряд захваченных поляками русских земель и городов. В их числе были Перемышль, Львов, Галич и другие.

Основывая права Руси на них, русские дипломаты заявляли: «...а те города исконе русских государей... а зашла та вотчина за государя вашего... некоторыми невзгодами после Батыева пленения, как безбожный Батый многие города русские попленил, я после того потому от государей наших... те города поотошли» (там же, с. 265—270). Так как захватчики и не думали возвращать отторгнутые территории, за их освобождение русскому народу не раз приходилось вести освободительные войны.

Национально-освободительная борьба велась двусторонним порядком. Малороссы, со своей стороны, тоже вели решительную борьбу за объединение с Московской Русью. В XVI в. на территории Юго-западной Руси они развернули широкое народно-освободительное движение. Заметное место в нем занимало появившееся в Запорожье (как позже на Дону, Кубани и в других местах на южных рубежах тогдашней Руси) казачество, которому суждено было в дальнейшем сыграть важную роль в исторической судьбе Малороссии, в ее борьбе за освобождение от гнета польско-литовских захватчиков и воссоединение с Россией.

Польские и литовские паны в целях подавления освободительной борьбы и упрочения своего господства в 1569 г. объединили Польшу и Литву в Речь Посполитую (Люблинская уния). В Юго-западной Руси поляки захватили огромные владения, насчитывавшие в отдельных случаях до сотен населенных пунктов. Польская шляхта усилила крепостнический, религиозный (антиправославно-католический) и

национально-колониальный гнет. Крепостничество в Польше в XVI веке достигло самого высокого уровня в Европе. «Шляхта присвоила себе даже право жизни и смерти над своими крестьянами: убить холопа для шляхтича было все равно, что убить собаку» (В.О. Ключевский, т. III, с. 97). Положение местных горожан в Малороссии тоже значительно ухудшилось, их ограничивали во всем, даже в праве проживания: во Львове, например, им разрешали селиться только на одной улице («Русская улица»).

Поляки вели жесткую борьбу с Православием. В 1596 году в Бресте была оформлена уния, провозгласившая подчинение Православной Церкви католической, признание папы римского главой униатов и принятие основного догмата католицизма. Православное духовенство подвергалось репрессиям.

Но как, однако, эта политика нещадного национального угнетения печально созвучна геноциду против славян в современной цивилизованной Европе!.. Достаточно вспомнить, как громили православные церковные храмы и преследовали священнослужителей в Сербии, в Западной Украине. Как неистово вбивают клин между русским и братскими украинским и белорусским народами. Поистине, трагическая история ныне повторяется...

Насаждение католицизма, колонизация, национальная дискриминация — все было направлено на вдохновляемую Ватиканом денационализацию малороссов, ослабление их связей с Московским государством, укрепление господствующего положения поляков и литовцев.

В конце XVI века не случайно активизировалось переселение малороссов, в первую очередь казаков, в пределы Московской Руси. Селились казаки, как правило, на ее южных рубежах, осуществляя их защиту. При этом, они не только переезжали на земли русского государства, но иногда и переходили в подданство царя вместе с территориями, очищенными ими от польских панов. В этой связи широко известен пример такого перехода казачьего войска во главе с Кр. Косинским, в переписке с которым в 1593 году русский царь уже величает себя в том числе и государем «запорожским, черкасским и низовским». На освободительную борьбу народа польские паны отвечали усилением национально-колониального гнета. «Истребить Русь на Руси» — так определялись цели и политика Речи Посполитой относительно Юго-западной Руси в одном из обращений в сейм в 1623 году.

Исторически решающим стал XVII век. В течение этого времени представители Малороссии неоднократно обращались к русскому государям с просьбами принять малороссов

«под свою высокую руку». Такие планы часто возникали в казацкой среде, тем более что казаки уже со времен Ивана Грозного активно поступали на службу Москве. Этой службой русскому царю со всем запорожским войском искали даже такие гетманы, как неплохо ладивший с Варшавой, шляхтич по происхождению, Сагайдачный (1620 г.).

Представители православного духовенства, архиепископ Исайя Копинский (впоследствии литовский митрополит) в 1622 году и митрополит Иов Борецкий в 1625 году обращались к московскому царю с просьбой о покровительстве и воссоединении Малороссии с Россией.

После подавления ряда восстаний 30-х годов XVII века польские паны еще больше усилили крепостнический, национальный и религиозный гнет. Наряду с крестьянами и мещанами притеснениям подвергались мелкая украинская шляхта и православное духовенство.

Всеобщее недовольство и протест вылились в освободительную войну украинского народа против Речи Посполитой 1648—1654 гг.

Борьбу против гнета панской Польши возглавил гетман Богдан Хмельницкий. На начальном этапе войны он пытался привлечь на свою сторону и турецкого султана, и крымского хана, и шведского короля. Поначалу Б. Хмельницкому сопутствовала удача. Восставшие одержали серию побед: у Желтых Вод, под Корсунем и под Пилявцами. Однако затем из-за измены крымского хана гетман терпит ряд серьезных поражений: в 1649 году под Зборовом, в 1651 году под Берестечком и в 1652 году в окрестностях Жванца. Известный историк С.М. Соловьев писал, что «поражение под Берестечком ясно показывало Б. Хмельницкому и казакам, что им одним сладить с Польшей нельзя... и на хана надеяться тоже нельзя, когда речь идет о том, чтоб сражаться с многочисленным войском, а не грабить...»

Шесть лет вели малороссы тяжелую борьбу с поляками. Война потребовала огромных жертв и громадного напряжения сил. Положение Малороссии было исключительно тяжелым. В этих условиях гетман стал еще активнее предлагать Москве воссоединение. Им было послано около 20 посольств к царю с такой просьбой. Однако русское правительство, опасаясь новой войны с Польшей, занимало сдержанную позицию. Московская Русь еще не совсем оправилась от Смуты. К тому же такая война могла подтолкнуть (потом и подтолкнула) Швецию к захвату Приморья (находившегося в то время в руках поляков), что затруднило бы Москве возврат русских земель, прилежавших к Балтийскому морю.

В то же время Русь не могла остаться совсем в стороне от борьбы малороссов и оказывала помощь восставшим «хлебом и пушками», а также дипломатическими методами. В 1603 году царь потребовал от Варшавы не нарушать прав православного населения в Малороссии и прекратить гонения на Православную Церковь. Однако направленное в этой связи посольство вернулось ни с чем.

Принимая во внимание многочисленные просьбы представителей Малороссии о ее принятии в состав России и опасность, угрожавшую малороссам со стороны поляков, а также турок и татар, которые всё решительнее заявляли свои претензии на Юго-западную Русь, царь решил созвать Земский Собор, чтобы при решении вопроса о воссоединении заручиться поддержкой всего народа.

1 октября (ст. ст.) 1653 г. в Москве собрались практически все слои населения тогдашнего Российского государства: духовенство, бояре, представители русских городов, купечества, крестьянства и стрельцов.

При рассмотрении вопроса о «челобитье государю в подданство Богдана Хмельницкого и всего Войска Запорожского» подчеркивалась нависшая над Малороссией серьезная опасность: «в 161-м году (1652 г.) на сейме в Брест-Литовске было приговорено впрямь, что их, православных христиан... которые живут в Коруне Польской и Великом княжестве Литовском, побить...» (Воссоединение Украины с Россией, т. III, с. 411). Отмечались и намерения поляков «православную христианскую веру искоренить и святые божии церкви до конца разорить...» (там же).

Собору было сообщено, что турецкий султан призывал малороссов к себе в подданство, но гетман «ему в том отказал»; что крымского хана с Ордой запорожцы призвали к себе в союзники против поляков «поневоле»; что запорожцы присылали свои посольства с просьбой принять их в подданство и помочь в войне с Польшей «многигда».

Несмотря на то, что доклад обсуждался отдельно на заседаниях каждого сословия, решение было единодушным. Собор «приговорил»: «...чтоб великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и всё Войско Запорожское з городами их и з землями принять под свою государскую высокую руку для православные христианские веры и святых божиих церквей...» (там же, с. 413). Здесь речь шла уже не только о гетманском войске, которое еще год назад предлагалось расселить на земли Московской Руси, но и о «городах» и «землях», т.е. о всей Малороссии. Освобождение малороссов от

подданства Речи Посполитой в правовом отношении обосновывалось не только их желанием, но и неисполнением при-сяги самим королем в части непритеснения своих подданных не католической веры.

Было очевидно, что в связи с воссоединением русских земель войны с поляками не избежать. С учетом этого Собор постановил: «против польского короля войны вестъ» (там же). 23 октября (2 ноября) 1653 г. в Успенском соборе Кремля царь, сославшись на это решение, объявил о начале войны с Польшей. Постановления Собора были оглашены русскому народу и встретили единодушную поддержку.

Присутствовало на Соборе и посольство гетмана во главе с Л. Капустой, которое сразу же после его окончания отбыло к Б. Хмельницкому и информировало его о принятых решениях. Для завершения процесса воссоединения к гетману также было направлено специальное царское посольство во главе с ближним боярином В.В. Бутурлиным. Получив согласие Москвы на объединение, Б. Хмельницкий 8 января 1654 г. в г. Переяславе созвал всенародное собрание — Раду, которая согласно казачьим традициям одна была правомочна решать важнейшие политические вопросы.

Нынче в некоторых тенденциозных украинских источниках можно встретить утверждение, будто Богдан Хмельницкий поступил как «предатель своего народа», «лакейски лег под русского царя», т.е. якобы соглашение о воссоединении Украины с Россией келейное, конъюнктурное, совершалось в секрете от народа и потому, мол, не было им поддержано...

Но исторические документы говорят о другом. Рада была «явная», то есть открытая для всего народа. На ней были представлены как все малороссийские земли, так и все сословия (казаки, духовенство, мещане, купцы, крестьяне). Таким образом вопрос о воссоединении с Россией и в Малороссии решался при самом широком представительстве. Народ после опросов единогласно «возопил: Волим под Царя Восточного, православного... Боже утверди, Боже укрепи, чтоб есмы во веки вси едино были!» (там же, с. 461).

Решения Земского Собора и Переяславской Рады наглядно продемонстрировали волю разделенного еще в годы монголо-татарского нашествия единого народа жить в едином государстве. Тогда в соответствии с явно выраженным желанием всех слоев населения Малой и Великой Руси началось их воссоединение в едином государстве.

Впереди предстояли еще столетия борьбы за возвращение всех захваченных у Киевской Руси земель. Только после кровопролитных войн с польскими панами в 1667 году по Анд-

русовскому перемирию к Московскому государству отошла Левобережная Малороссия, а в 1686 году по «Вечному миру» был возвращен Киев с окрестностями. Северное Причерноморье или Новороссия были отвоеваны у Турции в войнах 1767—1774 гг. и 1787—1791 гг. Правобережная Малороссия вошла в состав России в результате разделов Польши в 1793 и 1795 гг. Галиция и Северная Буковина были возвращены в 1939—1940 гг., а Закарпатская Русь — в 1945 году. Но отвоеванный у турок в 1783 году российский Крым в 1954 году был передан УССР. И в 1991 году на политической карте мира появилось современное государство «Украина»...



*Литературные страницы
Международного сообщества
писательских союзов*

Игорь ТЮЛЕНЕВ (г. Пермь)

ВЗГЛЯД И ПТИЦА

* * *

В пустом лесу трезвонят коростели,
Медведь берлогу ищет потеплей.
Лосиный след, как дырочки свирели,
На узенькой тропинке между пней.

Душа полна восторга и любви,
А сердце одинокое — печали.
Не пойте длинных песен, журавли,
И не звените райскими ключами.

На дно берлоги падает медведь,
Как в омут со скалы замшелый камень.
Листва темнеет, как от солнца медь,
И гаснет по лесам и рощам пламень.

СТЕПЬ

Одна властительница степь —
Ни кустика, ни человека,
Как будто Альфа и Омега
Вот здесь посажены на цепь.

Над степью пролетит орел,
За горизонтом приземлится...
Какой же на Руси простор:
Всё пропадает — взгляд и птица.

В МОЕМ КАБИНЕТЕ

На столе стоит товарищ Сталин —
Белый китель, черные усы,
Был моею волей он поставлен
В блеске всей диктаторской красоты.

Рядом фото, где Сергей Есенин,
Загрустивший под осенний свист,
В центре ваза — облаком сирени,
Черный черновик и белый лист.

...Смотрит на меня товарищ Сталин
Оком государя каждый день,
Как на тигель для расплава стали,
А Есенин смотрит на сирень.

СОВЕТСКОЕ КИНО

Смотрел с утра советское кино,
Уже не помню имена артистов...
А взял вдруг и расплакался (смешно)
Над судьбами чумазных трактористов.

Они, как дети, чистые внутри,
Такими быть их научил Спаситель,
Когда ходил по небу, златогрив,
Швыряя свет в советскую обитель.

Душе подай целительный настрой,
И я смотрел без тени превосходства,
Что со страной стало и со мной,
И тихо плакал, чувствуя сиротство.

Я не скажу, что повлиял запой —
Не пью, беру уроки атлетизма.
Я плакал над разрушенной страной,
Упавшей в пропасть с пика Коммунизма!

Я взрослым стал, а взрослым тяжелей
Всё начинать с нуля и не разбиться.
Легко взлетать лишь детям с букварей...
Смотрите, как мы жили — пригодится!

ФОТОГРАФИЯ

Лесной поселок. В окнах Кама.
И у завалинки втроем —
Отец с сестренкой, рядом мама,
А я сбежал за окоём.

Вернуться в круг былой стараюсь,
Скользя по жизненному льду...
И все же, сколько ни пытаюсь,
В тот объектив не попаду.

ГОРОДСКАЯ ОКРАИНА

Дома картонные, бумажные,
Труха и пакля лезут в паз,
И в основном все двухэтажные,
Все черно-серые в анфас.

Во двориках, как у Поленова,
Поленницы горбатых дров,
Портреты Энгельса и Ленина
Взирают из сырых углов.

За стенкой, словно в пушку ядра,
Вбивают в платье девки грудь.
Поздней у городского сада,
Ты подмигнуть им не забудь.

Тяжелые кусты сирени
Ломают чахлый палисад,
Я здесь мед-пиво пил со всеми,
Тому лет двадцать пять назад.

Сейчас случайно, мимоходом
К ним ненароком загляну,
Чтоб зацепить плечом ли, оком
От нас ушедшую страну...

ПОЖАР МАНЕЖА

14 марта 2004 года

Манеж горел. Дымы клубились,
Росли валютные счета...
Когда-то здесь на саблях бились
Орлы, нам с вами не чета!

Здесь шли в галоп кавалеристы.
Я слышал топот лошадей!
Художники, певцы, артисты.
Хрущев бывал и Аджубей.

Здесь я ходил на Глазунова,
Он ничего мне не открыл...
Три ратника у Васнецова,
Вот чем мой предок дорожил.

Но Русская пуста застава,
Скрипит в гробу казак Илья.
И догорает наша слава
Уже в трех метрах от Кремля!

ВИНА

Сколько быть без вины виноватым?
Отыщу за сараем лопату,
Закопаю вину глубоко...
— Повинись! — мне кричат фарисеи,
Вторят им всех времен лицедеи...
Закопал, но не стало легко.
— Откажись от великой идеи,
Отрекись от великой Расеи... —
Этот гомон зашел далеко.
Лучше быть виноватым,
Но честным,
Взял лопату,
А место известно.
Откопал...
А там нет ничего.

НАРОД

Подкошенный реформами
Под корень, как сосна,

Народ ложится вовремя,
Валяясь допоздна.

Покуда он валяется,
В стране идут дела:
Правительства сменяются,
Звонят колокола.

Тоску задавит скука,
Родную песню — крик,
Жужжит над ухом муха...
Но к ней мужик привык.

Знай, спит себе, заезженный,
Ненадобный казне,
Беззубый, обезвреженный,
Не стойкий к новизне.

Родной до безобразия,
До клёкота в груди.
Эхма, европа-азия,
Смотри, не разбуди.

Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН (г. Петрозаводск)

УКРОЩЕНИЕ ВЕТРА

* * *

Бьется в судорогах ветер,
Мечется пугливой ланью.
День безвкусен и бесцветен,
Как вчерашнее желанье.
И сердцебиенье — реже,
Частотой прибою вторя.
Скользкой бритвой берег режет
Кромка будничного моря.
Но и эта боль бескровна —
Лезвие покрылось пеной.
Откровение нескромно,
Но застенчива измена.
Перепутан черный с белым,
Подлинник — с его подделкой.

И луна сочится спелым
Яблоком в морской тарелке.
Где небесное светило?
Где — всего лишь отраженье?
И волна, лишившись силы,
Улеглась в изнеможенье.
Навалился грудью ветер,
Темнотою смял ромашки.
И затих безвольно ветер.
Как в смирительной рубашке.

* * *

Замшелый ствол стареющей ольхи
Уже не даст упругого побега...
Что — ход времен? Декабрь — и тот без снега!
Пусть вопреки — но пишутся стихи!

И по стеклу сползает теплый день —
Зимой-старухой скупо проронённый,
Но жив очаг, Россией сохраненный —
Он дышит сладким дымом деревень.

Еще теплится Божия искра,
Слова набухли, как весною почки.
И даже там, где высохла кора,
Язык зеленый высунут листочки...

* * *

Мою душу, Господь, не рви...
Бумерангом вернулись поступки,
Ледяные слова нелюбви,
Несогласия и неуступки.

Это кара впивается в плоть
Равнодушьем колючим и гневом.
Это жизни нас учит Господь
На земле —
Пред распахнутым небом...

* * *

...И когда кровоточит бессильем
Безысходность душевных ран,
Свое сердце наполню Россией,
Как молитвою — божий храм.

Буду слушать проникновенно
Колокольный воскресший звон.
В реках — как в полнокровных венах —
Отголоском играет он.

Многоглавый набожный Суздаль
Подпоясан каймой реки
И смирением
 мудрым обуздан
Даже времени вопреки.

Мерно дышит
 волною синей
Левитановский тихий Плѣс.
Упиваюсь тобой, Россия,
И болею тобой до слез.

Юрий КАПЛАН (г. Киев)

ЛЮБЛЮ

Ручей родниковый ко мне не питает доверья,
Я взгляд равнодушный «павлиньего глаза»* ловлю.
Не любят меня ни цветы, ни кусты, ни деревья.
А я их люблю.

Преследует запах меня помидорной рассады,
Хоть я не преследую даже древесную тлю.
Не любят меня ни букашки, ни рыбы, ни гады.
А я их люблю.

Торопят меня ежедневно прожилки тропинок,
А я и мгновение краткое не тороплю.
Ни камень не любит меня, ни подзол, ни суглинок.
А я их люблю.

Скитаюсь по свету с любовью своей безответной
И чушь несусветную в горьком восторге мелю.
Не любят меня ни светила, ни волны, ни ветры.
Но я их люблю.

* «Павлиний глаз» — вид бабочки.

Зинаида КУЗНЕЦОВА
(г. Зеленогорск, Красноярский край)

РАССКАЗЫ

Сватовство

Колька-Гаврюха приехал в отпуск из Якутии, куда он три года назад завербовался мыть золото. Когда уезжал, хвалился, что вернется домой на собственной машине, и никак иначе.

Сколько он намыл этого золота, — неизвестно, машины тоже, вроде, не видно возле родительского дома. Злые языки утверждали, что явился он на своих двоих и с тощей спортивной сумкой.

Вот уже целую неделю в деревне только и разговоров было, что о нем. Сам золотодобытчик на улице не показывался, отмечал приезд, глушил самогон вместе с младшим братом Михай, рассказывал ему о своей житухе в холодных краях, врал безбожно — Миха только головой качал да кричал, с завистью глядя на брата.

Наконец, самогон кончился, и братья решили сходить за горячим в магазин. Было часов около десяти утра. Ночью выпал снег, дома стояли в сугробах, занесло все дороги и тропинки. Деревня выглядела нарядной, праздничной. Из труб вился веселенький дымок, улетал в синее чистое небо.

Магазин был еще закрыт, но у крыльца уже толпились самые нетерпеливые, Увидев братьев Сапожниковых, люди пораскрывали рты. Да и было на что посмотреть! Колька-Гаврюха вышагивал по глубокому снегу, одетый в длинное черное пальто, без шапки. Ветер трепал его длинные патлатые волосы. Но более всего поразил односельчан белый шелковый шарф, несколько раз обмотанный вокруг шеи, концы его опускались почти до самых пят. На веревочке Колька вел собачонку, которая обычно сидела на привязи во дворе дома, лаяла без разбора на своих и чужих. Сзади плелся Миха, тренькал что-то на гитаре. Картина была более чем живописная.

Послышались смешки, реплики. Чуть поодаль стояли девчата, завернувшие к магазину с фермы. Они с любопытством смотрели на братьев, особенно на Кольку-Гаврюху, как никак, человек почти городской, золото добывал!

— Ой, ну и умора! — раздался чей-то веселый голос, — дама с собачкой и девушка с гитарой.

Взрыв смеха долетел до братьев. Казалось, они совсем не обращают внимания на собравшихся, но братья всё, конечно, слышали. Колькино внимание привлекла веселая крас-

ношекая девчонка, громче всех хохотавшая над шуткой. «Кто такая, — подумал он, — что-то я ее не знаю». Миха, будто угадав мысли брата, сказал, что это Любка, с ним в одном классе когда-то училась.

— Гаврюха, ты, что ли? — Подслеповато шурясь, к братьям подошла бабка Лукерья, соседка.

Он, презрительно посмотрев на нее, не считал нужным ответить. Стали походить мужики:

— Здорово, Николай! С приездом.

Наконец магазин открылся, братья запаслись выпивкой и отправились обратно.

Необычное свое имя Колька-Гаврюха получил по воле судьбы, а вернее, из-за расхождения своих ближайших родственников в вопросах свободы совести и вероисповедания. Когда он родился, отец зарегистрировал его в сельсовете под именем Николай. Ничего особенного, имя как имя — в деревне через одного то Колька, то Ванька или Васька. Однако его богомольная бабка, улучив момент, когда отца не было дома, окрестила младенца в соседней деревне, где была действующая церковь. По святцам поп выбрал ему звучное имя — Гавриил.

С тех пор бедного парнишку звали то так, то эдак, а то и сразу: Колька-Гаврюха. Он ужасно злился, частенько лез в драку из-за этого, на имя Гаврюха не окликался.

Наступил вечер, в домах зажглись огоньки. Быстро стемнело, но постепенно на небе стали появляться звездочки — сначала маленькие, чуть заметные, потом они как будто приблизились, стали яркими, крупными и казалось, что они висят низко над землей, словно стараясь увидеть, что делается на земле. Колька-Гаврюха и его брат Миха продолжали гулять. Завернул на огонек их дядька Егор, тоже большой любитель выпить. Мать, закончив управляться со скотиной, пыталась пристыдить сыновей, да куда там. Вскоре Миха не выдержал, уронил кудлатую голову на стол и заснул.

— Ну, как там Якутия-то, племяш? — Дядька, пытаюсь подцепить скользкий огурец, что никак ему не удавалось, в который раз спрашивал племянника об одном и том же.

— Да что в Якутии! В Якутии, дядь Егор, хорошо. Только холодно, — бубнил Колька, — да это, еще... баб там мало. Нету баб, дядька.

— Да-а... Тут, оно, конечно... — Дядька Егор никак не мог сообразить, плохо это или хорошо, что с женщинами-то напряженка в этой самой Якутии. Наконец, в глазах его промелькнул какой-то проблеск. — Дак мы тебя тут женим, у нас этого добра навалом. Да хоть сейчас пойдём, посватаемся.

— А кого сватать-то пойдем? — Колька-Гаврюха недоверчиво глядел на Егора. Он вдруг вспомнил, как девчонки смеялись над ними возле магазина. Обада снова захлестнула сердце. Особенно эта, как ее, Любка! Зараза такая! Он как будто вновь увидел ее румяное лицо, смеющийся белозубый рот... — О! Любку пойдем сватать, Михееву.

Дядька еще кое-что соображал, хоть и нагрузился уже изрядно.

— Не-е... Любка не пойдет за тебя.

— Кто, Любка? Да я... Да она... Пошли, тебе говорю!

Мать пыталась их утихомирить, стыдила, отговаривала, но им было море по колено. Колька-Гаврюха намотал свой длинный шарф вокруг тощей шеи, и они отправились вдоль деревни. Люба жила на самом ее краю — почти километр от Колькиного дома. В деревне было тихо, только изредка лаяли собаки — просто так, на всякий случай.

А Люба в это время, стоя со своим женихом Гришей, курсантом военного училища, в уютном углублении, вырытом в стожке сена, рассказывала ему о братьях Сапожниковых, как они гуляли по деревне с собачкой на привязи. Звонкий ее смех разносился в ночи, она испуганно зажимала рот ладошкой, потом, забывшись, снова хохотала громко и заливисто. Гриша хмурился, ему надоело слушать про этих недоумков, и так все уши прожужжали — вся деревня только про Кольку-Гаврюху и судачит, будто других тем нет. Гриша был слегка обижен, — он тоже приехал в отпуск, весь из себя красивый, подтянутый, начищенный — будущий офицер. И на тебе — какой-то лохмач заставил всех забыть про него. И Люба туда же... Стоит ли тратить на это драгоценное время, ведь ему послезавтра уезжать.

— Ой, Гриша, — Люба высвободилась из крепких Гришиных рук, — так спать хочется. Пойду я, наверное. — Она сладко зевнула. — Сколько уже ночей почти не спала. Да и мать начала что-то коситься, как бы не догадалась...

Как ни упрашивал Гриша, она все-таки убежала, чмокнув его в нос.

Скоро в ее окне погас свет. Гриша постоял еще некоторое время и грустно поплелся к своему дому.

Люба уже заснула, когда в дверь кто-то сильно постучал. Испуганная мать подскочила к окну, пытаясь разглядеть сквозь замерзшее стекло: кого там принесла нелегкая. Отец, сердито бурча что-то, надевал поверх белья телогрейку. Люба перевернулась на другой бок и сладко засопела.

— Я вижу, нас здесь не ждали, — Егор с укором смотрел на хозяев. — Проходи, проходи, племян, — распорядился он, забыв, видимо, что сам здесь гость.

Родители Любы ошарашенно смотрели на незваных гостей.

Дядька со стуком поставил на стол бутылку водки, разделся, повесил полушубок на гвоздь около двери. Колька-Гаврюха своего модного пальто не снял, сидел так. Все молчали. Громко тикали часы.

— Дык, это... У нас, как говорится, купец, у вас товар, — Егор потер от волнения вспотевшие руки, посмотрел мутными глазами на хозяев. Те ничего не понимали: какой купец, какой товар, чего городит-то? Пьянь несчастная, ввалились среди ночи, несут чего попало. — Любку мы пришли сватать вашу. Поднимайте ее! — Егор, наконец, сообщил цель прихода.

Отец Любы, поняв, зачем явились гости, грохнул кулаком по столу:

— А ну пошли вон отсюда!

Задрезжала посуда в буфете, от шума проснулась Любаша, испуганно выглянула из своей комнатки, смотрела, ничего не понимая: откуда здесь Колька-Гаврюха, или это ей снится?

— Л-ю-ю-ба! — Егор тяжело поднялся со стула, подошел к ней. — Пойдешь за Николая? Погляди, какой молодец!

Люба, поглядев на пьяно улыбающегося жениха, расхохоталась. Но гости не обиделись, они этого словно не заметили. Егор продолжал плести про купца с товаром, но ничего путного не мог сказать.

— Идите, мужики, домой, — уже более спокойно сказал отец Любы. — А ты, — обратился он к дочери, — марш в свою комнату, а то выскочила полуголая, ни стыда, ни совести.

С трудом, но удалось выпроводить поздних гостей. Они еще долго барахтались в снегу возле крыльца, звали Любу, матерились, разбудили всех окрестных собак. Скоро собачий лай несся со всех концов деревни. «Увезу тебя я в тундру...» — орали сваты.

Новость мгновенно облетела деревню. И откуда люди что прознали, неизвестно, только разговоров было много. На каждом углу судачили о Кольке-Гаврюхе и о Любе, строили предположения, гадали, как отреагирует Гриша. Кто-то уверял, что у них все стоворено, Люба согласилась, да и что ей не согласиться, — небось, богатый стал, Гаврюха-то...

Гриша через свою младшую сестренку вызвал Любу на разговор.

— Чего в деревне болтают, что Гавря свататься приходил? — Он с подозрением смотрел на девушку.

— Приходил, Гриша, приходил! — Люба расхохоталась, вспомнив этого недоумка, его пьяные слюни. — Жених, тоже мне.

Люба стала в лицах пересказывать вчерашнее происшествие. Но Гриша слушал ее хмуро: что-то уж слишком весела Любаша, слишком старается показать, что это ей совершенно безразлично. На сердце у него было невесело: завтра уезжать, а тут такое...

Вечером он подкараулил возле дома Гаврюху, взял его за грудки:

— Ты зачем вчера к Любаше ходил?

— А тебе какое дело, — хорохорился Гаврюха. — Свататься приходил!

Гриша тряхнул его с такой силой, что у него клацнули зубы.

— Да я тебя, мозгляка... Жених нашелся...

— Ну, ты, полегче! — Гаврюха обрел, наконец, голос. — Ты кто такой, чтобы мне указывать? Все, ты сюда не суйся, Люба теперь моя. Свадьбу весной сыграем. А ты вали, пока не получил.

— Ах ты... — Гриша отшвырнул его от себя, побежал к дому Любы.

— Так ты говоришь, не нужен тебе Гаврюха? А он говорит, что договорились вы обо всем! — Гришу всего трясло. — Ты что мне голову морочишь? Продалась за золото, получается!

— Да ты что говоришь-то, Гриша, опомнись. Какое золото, ты чего!

— А ничего! Свадьба у вас весной, не забудь пригласить!

— Какая свадьба, — Люба заплакала, — врет он все, негодяй. А ты поверил... Кому поверил-то?

Люба повернулась и пошла к дому, плечи ее тряслись.

— Невеста! — зло крикнул он ей вслед.

Деревня волновалась, ждала развязки, строила разные догадки. Но ничего особенного больше не произошло, разве только Кольку-Гаврюху кто-то разукрасил так, что фонари не сходили с лица целую неделю. Гадали, кто мог это сделать, ведь Гриша уехал на следующий день, ну, может, кто-то из его друзей постарался. Пьяный Миха болтал парням, что Колька Любу уже «уговорил».

Вскорости Гаврюха покинул родную деревню, и деревня о нем надолго забыла. Надолго, но не навсегда...

Время шло, а писем от Гриши все не было. Люба вся извелась, ждала с замиранием сердца почтальона, а после горько плакала в своей комнате. Она подурнела, под глазами появились черные круги, почти не прикасалась к еде.

Мать начала присматриваться к ней, — не попала ли дочка в беду, которой матери всегда страшат дочерей: «Смотри у меня, в подоле не принеси!» Похоже было, что Любе скоро

понадобится этот самый подол. Увы, все подтвердилось. Мать хотела было оттаскать Любу за волосы, но отец вступился за свою любимицу: «Да что мы, внука не вырастим? Не плачь, дочка, и плюнь ты на этого негодяя, Гришку!» На том и порешили.

Мать Гриши, встретив как-то Любу, стала допытываться, — правда ли? Люба убежала, в слезах. А по деревне вновь загуляли разговоры, слухи, догадки — кто же отец будущего ребенка. Решили, что вроде бы получается Гаврюха...

Гришкина мать тут же написала ему письмо, где заклеимила позором неверную девушку. Он на это ничего не ответил, а вскоре женился. Люба от людей слышала, что он после училища служит в Германии.

Лёнька рос шустреньким мальчишкой, и чем становился старше, тем сильнее становился похож на Гришку. Тетка Анна опять стала подступаться к Любе, — признайся, что наш мальчишка, Гришин. Но Люба как отрезала: «Лёнька мой, и ничей больше!» — и разговаривать больше не захотела. И полетела жизнь, как тройка! На людях Люба виду никогда не показывала, а уж горя хлебнула досыта, особенно, когда один за другим умерли родители. Но ничего, вырастила — вон, какой красавец Лёнька, девичья присуха.

Он-то красавец писанный, а она сдала в последнее время. Сердце постоянно прихватывает, а уж как спина болит, и сказать нельзя. Порой разогнуться не может. И руки немеют, кружку с водой и то трудно поднять. Как она будет без него, когда он в армию пойдет? Да и в армию-то теперь страшно отправлять — война в Чечне идет, гибнут ребятишки. Господи, ну есть же какие-то льготы, ведь она почти инвалид, надорвалась вся на работе... Надо бы в военкомат сходить, попросить, поплакать — может, и не возьмут его...

До райцентра пришлось идти пешком — семь километров по грязи. Грязь у них, что масло, черная, жирная, хоть на хлеб намазывай, однако идти по такой сущее наказание. Местами чуть сапоги не оставляла в жиже, еле доползла. Нашла военкомат — красиво здание довоенной постройки — покрашенное в желто-белый цвет. Внутри было чисто, на полу плитка разноцветная, стены выкрашены блестящей зеленой краской, на стенах портреты молоденьких солдатиков, отличившихся на военной службе.

Она, всю жизнь проведшая среди коров да свиней, была просто ошеломлена — живут же люди, работают в такой красоте! А кабинет военкома еще больше поверг ее в смятение. От всего этого великолепия она не сразу разглядела сидящего за столом человека, а когда он заговорил, приглашая ее

проходить и садиться, у нее ноги сразу стали ватными. Голос-то она не забыла! Она взглянула на него — красивый, седой мужчина, нисколько не напоминавший того смуглого паренька, которого она когда-то любила. И он не узнавал ее. Да где там! Из краснощекой, задорной девчонки она давно превратилась в женщину российской глубинки, каких тысячи и тысячи — пройдешь мимо и даже не обратишь внимания, настолько они побиты жизнью, тяжелым крестьянским трудом...

— Ну, с чем пожаловали? От сына писем нет, или...

Она молчала, не в силах справиться с волнением. Он внимательно взглянул на нее, и вдруг стал наливаясь краской, — он узнал, но видно было, как это ему неприятно.

— Так слушаю вас... Любовь Петровна, — холодно проговорил он.

— Я не знала, что вы... ты... Извините. Я... сын... Один, я одна... Болею... Льготы, — бессвязно бормотала она.

— Ах, у вас сын один, а у других сотни, не так ли? А кто Родину будет защищать? — прервал он ее лепет. Голос его все повышался и повышался. — Да как вы можете, ребята гибнут на войне, а вы своего решили под юбку спрятать!

Она хотела что-то сказать, но сдержалась. Ни за что! Он предал сына еще до его рождения, и никогда о нем не узнает. Пусть, пусть забирают, ее сын не трус, он армии не боится. Она сказала тихо: «До свиданья, Гриша» и ушла...

Площадь перед военкоматом была запружена народом: призывники, родители, друзья-подруги. Парни хорохорятся, не стесняясь, обнимают своих подружек на глазах у родителей — слезы, песни, танцы тут же под магнитофон...

Военком отошел от окна. Скоро ребят построят, он выйдет и скажет им напутственную речь. Но что-то тянуло его туда, на площадь, ему до боли захотелось посмотреть, что за сын вырос у этого сморчка Гаврюхи.

Люба с сыном стояли в сторонке. Она держала его за руку, что-то тихонько говорила. Увидев подходившего подполковника, парень выпрямился, подтянулся, стал как будто выше ростом. Военком взглянул на него и отшатнулся, — ему показалось, что он увидел себя молодого в зеркале. Сердце его сделало скачок и чуть не остановилось. Он вопросительно взглянул на Любу, но она отвела взгляд. Он еще несколько мгновений постоял перед ними, потом пошел дальше, чуть покачиваясь. Люба схватила сына за руку, словно боялась, что он сейчас исчезнет.

— Мам, ты что? — удивленно посмотрел он на нее.

— Ничего, сынок, ничего, скоро прощаться, — она еще крепче сжала его руку. — Ты, сынок, не забывай мать, пиши чаще.

— Мам, ну что ты говоришь! Как это я тебя забуду, ведь ты у меня одна. Я тебе каждый день писать буду!

Площадь опустела. Ветер гонял по асфальту обрывки газет, пластиковые бутылки, обертки от мороженого. Заурчала где-то уборочная машина. «Зачем, зачем подметать за ними?» — хотелось крикнуть Любе. Сердце ее разрывалось от боли, слезы непрерывно текли по щекам.

Она даже не заметила, как прошла семь километров. Вошла в дом, пустой и холодный. «Ладно, — сказала она вслух, — надо жить. Да и не так уж долго — два года всего, и он вернется». Она стала мечтать, как он вернется, женится, пойдут детишки — радость какая! Она умылась, пожевала чего-то и пошла убираться по хозяйству. Завтра на работу.

Подполковник долго сидел в кабинете. Все сотрудники давно ушли. Перед ним на столе лежало личное дело Леонида Михеева. Надрывался телефон, но он не отвечал на звонки. До утра горел свет в его окнах. В девять часов он вызвал машину и уехал домой.

Их сын Лёнька пропал без вести в Чечне в девяносто пятом году.

Черное небо

«Дочка, пора», — прозвучал в тишине знакомый, родной голос... Кто это? Кто здесь? Мама?.. Как она здесь оказалась? Полюшка с трудом подняла веки, оглядела комнату... Никого... А где же мать? Она же только что позвала ее... Наверно, вышла. Полюшка облегченно вздохнула. Сейчас мать зайдет, даст попить, положит теплую, ласковую, пахнущую хлебом руку ей на лоб... Она прислушалась, не раздаются ли шаги матери. Нет, ничего не слышно, тишина... Хочется пить. Где-то рядом, на столике, кружка с теплым сладким чаем... Худая, иссохшая рука потянулась за кружкой, слабые пальцы скользили, елозили по столешнице... Вот она... какая тяжелая, не поднять... а внутри лед... Чайку бы горячего, с душицей, с колотым сахаром вприкуску... Во рту пересохло, а внутри все застыло. Печку бы затопить... Печку... огонь... Блаженное тепло разливается по всему телу... Господи, как хорошо-то... Самовар шумит... За столом мать, отец, братья. Полюшка в новом нарядном платье, косички с лентами. Она смотрит на свое отражение в самоваре, начищенном до блес-

ка, и сама себе нравится... Сегодня пасха, праздник. С утра они ходили в церковь, а теперь разговляются. На столе чего только нет, а Полюшка есть не хочется, она ждет, когда подадут чай с конфетами — жамками, по-деревенски, — маленькими коричневыми подушечками... А за окном весна в разгаре. Земля покрыта первой травкой, нежной, мягкой, пахучей... Кое-где уже проглядывают желтые пяточки мать-и-мачехи... Скорей на улицу, подружки заждались, в лапту пойдем играть! Хорошо в праздник. Ничего делать не надо, играй, да и только! Но праздники кончатся, и опять придется приниматься за работу. Семья у них большая, хозяйство большое: лошадь, три коровы, три теленка, овцы, поросята, куры, гуси... Ой-е-ёй! То воды им в корыта налей, то травы нарви, то гусей стереги, а гусак так и норовит щипнуть... Полюшка боится гусака. А еще она боится козла. Козел у них старый, обросший длинной белой шерстью, а злощый, — не приведи Бог!

«По-лю-шка-а-а!» — вновь послышался голос матери. Полюшка слабо шевельнулась, с трудом приоткрыла тяжелые веки. Никого... Куда все подевались? Бывало, за столом не помещались... А мать и за стол не садилась никогда. «Что ты, мам, не ешь?» — спрашивал кто-нибудь из детей постарше. — «Да я уже поела», — неизменно отвечала мать. И когда она только успевала?

Нету матери. И никого нет. В памяти всплывают чьи-то голоса, обрывки каких-то видений. Вот маленькая Полюшка играет во дворе, строит что-то... Вокруг бродят сонные от жары куры, в небе неподвижно висит ястреб. Мать стирает в большом цинковом корыте белье. «Мама, мама, — зовет Полюшка, — посмотри, какую я могилку сделала!» Могилка и вправду хороша — аккуратенькая, с крестом, все, как полагается. «Ой, детка, да зачем же ты это сделала? — пугается мать. — Грех какой, давай ее сломаем. Больше никогда этого не делай». Полюшке жалко — такая красивая могилка, она уже готова заплакать, но тут с неба камнем падает ястреб. Заполошно крича, куры кидаются врассыпную, клушка прячет цыплят под распушенные крылья... Мать бросается к ним, но поздно: ястреб уже несет в когтях маленький желтый комочек — цыпленка. Полюшка горько плачет...

...А вот зимний вечер. Вся семья в сборе, нет только отца. На улице мороз, а в избе тепло, даже жарко. Ребятишки сгрудились за столом, играют в карты — в дурака. Горит перед иконами лампадка, а керосиновая лампа едва-едва мерцает, фитилек прикручен, — керосин экономят.

«Полюшка, глянь-ка!» — мать кивает на окно. Полюшка поднимает голову и с громким криком кидается прочь от

стола — в черном окне она видит невообразимо страшное, лохматое существо с торчачими во все стороны космами.

«А-а-а!» — визжит она, уткнувшись матери в колени, а братья покатываются со смеху: ведь это она себя в стекле увидела...

«Вот видишь, — мать крепко прижимает к себе девочку, гладит ее по взлохмаченным волосам, — не слушаешься, не чешешь голову... Ладно ли? А как свататься придут, да увидят такую замарашку! Кто замуж-то возьмет!»

Полюшка еще пуще заливается, — не хочет она замуж. А детвора сразу давай дразниться: «Невеста, невеста!»... Мать уже прикрикивает на озорников, целует-милует Полюшку, и она засыпает на руках у матери. Полюшка — любимица, все в ней души не чают. Глазки голубые, ресницы длинные, пушистые, волосы льняные — настоящая кукла. Красотой в отца пошла, в отцову родню, значит, будет счастливой, по народному поверью. Ребятишки, утихомирившись, засыпают — кто на печи, кто на широкой деревянной кровати с толстым матрацем, набитым соломой. В люльке, под ситцевым пологом, спит годовалая сестренка Манечка.

Мать не спит, все время к чему-то прислушивается, тревожится, приложив ладонь козырьком к глазам, вглядывается в темное окно. Отца нет дома, ушел на собрание еще засветло, и до сих пор нет. Наконец, звякает щеколда, и в дверях, весь в облаке морозного воздуха, появляется отец. «Ух, и жмет, — говорит он, обметая веником валенки, — наверно, градусов двадцать...» — «Тише, ребят побудишь, — сквозь сон слышит Полюшка шепот матери. — Чего так долго-то?» Отец что-то отвечает вполголоса, мать тихонько вскрикивает: «Что же будет, что будет...» — сквозь сон слышит Полюшка. Похрапывает кто-то из братьев, громко стучат часы. Полюшка засыпает.

Снится Полюшке страшный сон: бежит она к бабушке, на другой конец деревни. Бежит себе и бежит. В небе солнышко светит, птички поют... И вдруг прямо перед ней козел! Он привязан веревкой за колышек, вбитый в землю, но почему-то веревка растягивается все длинней и длинней, и вот козел уже настигает Полюшку, прыгает ей на плечи и орет дурным голосом: «Б-е-е!» Полюшка в ужасе кричит, зовет бабушку, а бабушки нет... Конечно, как же она забыла-то! Ведь бабушку с дедом и всех их детей, дядей и теток Полюшкиных, ее двоюродных братьев и сестер еще прошлой зимой отправили на Соловки. Что за Соловки такие, неизвестно, но, видно, что-то страшное: люди говорили это слово шепотом, боязливо

оглядываясь... Тогда из их деревни увезли много-много семей, и ничего им не разрешили взять с собой, поехали, в чем были. По всей деревне стояли крик и стон. Полюшка помнит, как выла, катаясь по снегу, бабушка, как голосила она и причитала, а дед сидел на снях, как каменный. Какие-то люди, не дожидаясь отъезда ссыльных, выносили из домов их вещи. Полюшка помнит, как на снегу валялось бабушкино стеганое одеяло, а пьяные мужики ходили прямо по нему. Бабушка умоляла отдать ей одеяло, чтобы укрыть детишек, но куда там!.. Жалко бабушку, она Полюшку баловала, рассказывала сказки, мастерила из тряпок куклу. «Бабушка, родненькая», — сквозь слезы зовет Полюшка, а козел грубым голосом отвечает: «Н-е-е-ту у тебя никакой бабушки. Сейчас тебя забодая!» Вдруг откуда ни возьмись — бабушка с толстой палкой в руках. «Вот я тебя, негодник, чего придумал, внучку мою обижать», — кричит бабушка, и давай бить козла — по рогам, по рогам, только стук стоит!

Полюшку разбудил негромкий стук в окно. Отец, проснувшись, накиннул на плечи полушубок, вышел на крыльцо. Мать торопливо натягивала юбку, руки ее дрожали. Отца долго не было. Вернувшись, он повесил полушубок на гвоздь, вбитый в притолоку, сел к столу и опустил голову. Мать стояла, прислонившись к печке, тоже молчала. Отец поднялся, посмотрел за занавеску — спят ли ребята — и шепотом стал что-то рассказывать матери. «...будут ссылать... три коровы... кулацкое отродье...» — слышала Полюшка отдельно доносящиеся до нее слова. «...кум говорит, уезжайте срочно, пока не поздно, — шептал отец. Мать тихонько вскрикивала, зажимая рот рукой. — Вроде бы набор какой-то объявили, на Сахалин... Вербовщик приезжал, говорит, там рубль — длии-н-ны-ы-й... длиннее наших...» — «Что за Сахалин такой, где это?» — спрашивает мать, и, услышав ответ, громко плачет. Завозились ребяташки, отец шикнул: тише, детей разбудишь.

И вот они уже едут на этот самый Сахалин. В вагоне холодно, печка-буржуйка, стоящая посередине вагона, совсем не греет. Орут младенцы и ссорятся женщины. Мужики все время курят, пьют и играют в карты. То тут, то там затеваются драки. И все время хочется есть... Едут они целый месяц. «Когда мы приедем? — спрашивает Полюшка. — Когда этот Сахалин будет?» Мать не отвечает, ей не до Полюшки, не до ее вопросов, одна забота, — чем детей накормить. На станциях она выскакивает на перрон раздетая, — одеваться некогда, вдруг от поезда отстанет, — торгуется с тетками, про-

дающими вареную картошку, рыбу, соленые огурцы, кедровые орехи. Денег нет, она меняет вещи — юбку, платок, — на продукты. А потом они плывут на пароходе. Кругом, куда ни глянь, вода. Полюшке скучно, страшно. На палубе лежат завернутые в мешковину трупы, — каждый день кто-нибудь умирает. Уже умерли несколько ее подружек... Вокруг пароходика вода кипит, как в котле, кишит рыбой, мелькают огромные черные плавники... Капитан собрал всех на верхней палубе: надо хоронить мертвых, иначе касатки перевернут корабль. Они чуют мертвых и собрались сюда наверно со всех морей... Поднимается крик, шум, женщины воют, прижимают к себе мертвых детей, но капитан непреклонен. Всех усопших опускают в воду...

Наконец, приплыли. Поселили их в бараке, одна комната на восемь человек. Сахалин Полюшке не понравился: в одну сторону посмотришь — сопки, сопки, покрытые лесом, а в другую — до самого горизонта одна вода. Играть не с кем, детишки почти все поумирали от какой-то болезни. Тиф называется. В их семье пока все живы, но истощены донельзя: ручонки у детей, как соломинки, на лицах ни кровиночки.

Двое младших братьев уже неделю не встают с постели. Приходил доктор, дал каких-то порошков, и, не сказав ни слова, ушел. Утром на следующий день мать, взяв на руки маленькую Маню, пошла в поселковую больницу. Полюшка увязалась за ней. Отсидев очередь среди таких же измученных женщин и побывав у врача, мать отправилась назад. Манечка тихонько сидела у нее на руках, и все смотрела, смотрела по сторонам огромными печальными глазами. Потом она заснула. Идти было далеко, и когда они, наконец, доплелись до дома, и мать хотела положить девочку на кровать, оказалось, что она уже умерла. Мать, заплакав, положила ее на лавку, а сама пошла посмотреть, что с ребятишками. Оба мальчика тоже были мертвы.

Осталась фотография: старая изможденная женщина держит на коленях мальчика и девочку, оба в белых рубашонках... Ручки тоненькие, ножки искривленные, на худеньких личиках огромные, какие-то недетские глаза... Кто из детей кто, Полюшка не знает. А матери в ту пору не было и тридцати лет...

Отец, почерневший, с глубоко провалившимися глазами, уходил на ближайшую сопку и сидел там до самого вечера. Возвратившись, он молча ложился спать, а назавтра повторялось то же самое. Он сидел на вершине сопки и, не отрываясь, смотрел в ту сторону, где солнце опускалось в воду. Его согнутая неподвижная фигура чернела на фоне багрового заката до самой темноты. Он не замечал ничего вокруг, ни с

кем не разговаривал. Мать, отгоревав, опять пошла мыть полы в конторе — надо было жить, растить детей. Слава Богу, остальные выжили. Полюшка, наголо остриженная, худая, большеглазая, целыми днями одиноко сидела на разостланном одеяле возле завалинки, играла со старой тряпичной куклой, сшитой когда-то бабушкой. Ходила она еще с трудом, была очень слабенькая. Братья, поправившись, бегали в лес за черемшой, она очень помогала при цинге... Отец понемногу отошел, успокоился, потекла серая, безрадостная жизнь.

В 37-м вернулись на родину. Никто их там не ждал... «Кулацкое отродье», — то и дело слышалось за спиной. В колхоз не приняли, заработать было негде, приходилось спасаться огородом. Полюшке исполнилось двенадцать. К тому времени мать родила одного за другим еще троих ребятешек, и Полюшке пришлось бросить школу: надо было нянчиться с ними. Отец ходил по деревням, делал все, что попадется под руку, лишь бы заработать.

Перед самой войной случилась беда. Отец, не выдержав оскорблений и угроз упрятать его за решетку, как сына кулака, однажды избил в кровь дядьку Романа, активиста, который когда-то руководил отправкой кулаков на Соловки. Дали отцу три года. Жить стало уж совсем худо. Председатель колхоза, дальний родственник, сжалился над ними и взял мать на время уборки на ток — подрабатывать зерно.

Год тогда выдался голодный. Дети совсем отощали, в доме не было ни муки, ни картошки, ни хлеба. На трудодни ничего не давали. Старший брат к тому времени уже служил в армии, а средний подался в город — авось найдется какая-никакая работа... Отчаявшаяся мать как-то вечером насыпала себе два полных кармана пшеницы — измелют вечером на ручной мельнице, напекут лепешек... Кто-то донес... Посадили на четыре года.

Полюшка осталась одна, с тремя малыши детьми, без денег, без работы, без дров. Наступила зима. Топить печку было нечем, варить нечего. Она ходила по деревне, побиралась, иногда удавалось что-то принести в дом: кто краюху черствого хлеба даст, кто горстку муки, кто картошки. Как-то родственник привез из района полмешка черного жмыха, твердого, как подошва, его надо было размачивать в воде, только потом есть. Кое-как протянули до весны. Весной ходили по полям, искали гнилую картошку, оставшуюся с прошлого года, сушили ее, толкли в ступе, и из этой «муки» пекли лепешки, пополам с лебедой. Как выжили — неизвестно.

Еще зимой, в один из самых холодных вечеров, при свете

лучинки, Полюшка, дуя на заледеневшие пальцы и слюнявя химический карандаш, написала письмо товарищу Калинину. В нем она рассказывала о своем житье-бытье и просила «дедушку Калинина» отпустить мамку домой.

Через год мать вернулась, больная, непрерывно кашляющая. Работать не могла, но зато теперь дети были не одни. Полюшка тащила весь дом, немудреное хозяйство на себе. Нанималась на поденную работу — кому огород прополоть, кому белье постирать...

А тут война. Село опустело, остались одни женщины, дети да совсем уж дряхлые старики. Молодежь почти всю забрали в «трудовую армию» — рыть окопы. Полюшку тоже взяли. С темна до темна, не разгибая спины, рыли они эти самые окопы. Часто прилетали немецкие самолеты, сбрасывали бомбы, были убитые и раненые. Однажды, после особенно страшной бомбежки Полюшка с подружкой Нюсей сбежали. Через несколько дней за ними приехали из района. Судили, как дезертиров. Дали по два года. Отправили на те же окопы...

Старшие братья и отец были на фронте. Отец, еще не отсидев срока, попросился на фронт добровольцем.

Кончилась война. Отец вернулся на костылях, — одной ноги не было по колено, — но с медалью. Братья не вернулись — старший погиб под Курском, второй пропал без вести. Остались одни увеличенные довоенные фотографии в деревянных рамках, висевшие в переднем углу избы.

...Полюшка открыла глаза, — а где же фотокарточки-то? Куда-то подевались... В комнате темно, на оконных стеклах толстый слой мохнатого инея, непонятно — день или ночь, какие-то стены незнакомые... Мысль ускользала, глаза снова закрылись. В груди тяжело, будто камень огромный положили. Дыхание тяжелое, с хрипами... Как тогда, в вагоне... Вагон с зерном надо было разгрузить к вечеру — за простой брали большие штрафы. Полюшка вместе с другими рабочими старались вовсю. Бригадир обещал премию дать, если к вечеру закончат. Вот они и махали лопатами, как заведенные. Полюшку поставили ближе к двери, здесь немного полегче, не так далеко кидать, а она худая, как щепка, лопату с зерном не поднимет. В бригаде было пять человек: две тетki средних лет, пятидесятилетний дядька Игнат, здоровый, крепкий мужик, и молодой парень, чуть постарше Полюшки.

Полюшка, несмотря на усталость и слабость, работала наравне с другими. Она недавно устроилась на элеватор и старалась изо всех сил, чтобы не подумали, вот мол, взяли доходу, кто за нее работать будет...

Рабочие широкими деревянными лопатами кидали зерно из углов на середину вагона, где образовалась глубокая воронка. Дверь вагона была закрыта деревянным щитом, который приподнимался над полом примерно сантиметров на шестьдесят, и в это отверстие текло зерно на ленту транспортера, а оттуда поступало в склад — длинное темное помещение, с высокими потолками.

Полюшка никак не могла докинуть порцию зерна в середину вагона, и подошла поближе. «Куда ты! — сердито закричала одна из теток. — Засосет». Но было уже поздно. Какая-то сила потянула ее вниз, она пыталась удержаться, упереться лопатой, но лопата осталась наверху, а Полюшка быстро погружалась в воронку, и, наконец, оказалась под толстым слоем зерна. Рот и нос забило зерном, дышать стало нечем, грудь сдавило с такой силой, что, казалось, сейчас разорвутся легкие. Она почти потеряла сознание. Но вдруг что-то загрохотало, ее куда-то несло, и она поняла, что находится на ленте транспортера. Тяжело дыша, она лежала на ворохе зерна; как будто издалека доносились испуганные голоса. С транспортера на нее продолжало сыпаться зерно. Транспортер остановили, подбежали какие-то люди, кто-то ругался, кто-то спрашивал: «Ты живая, ты живая?»... «Живая, — хочет ответить Полюшка, но язык не ворочается, во рту горько, сухо... Дышать тяжело, как будто камень лежит на груди. — Уберите камень», — шепчет она чуть слышно... «Ну-ка, расступитесь, — командует мужской голос, — ее на улицу надо, на свежий воздух...»

«...Тебе на свежий воздух надо, бабуль, в деревню, там хорошо, поживешь недельки две, поправишься...» Чей это голос? А-а, это же Максим, постоялец, такой парнишка уважительный, ласковый. Второй-то, Антон, — тот строже будет, да и постарше, видать. Максим его слушается и даже вроде как побаивается. Хорошие ребята. Студенты. Пустила их на квартиру, в общежитии, говорят, шумно, беспокойно, заниматься не дают... А она — что ж! Пусть живут, ей все веселее. Старая совсем стала, видит плохо, ноги отказывают, а они и за хлебом сбегают, и за квартиру заплатят по жировке. Да и деньжата, что с них берет за проживание, не лишние... Пенсия-то мизерная. А за квартиру, хоть и однокомнатную, полпенсии отдать надо. Нет, что ни говори, а повезло ей с постояльцами.

«Давай, бабуль, мы тебя в деревню отправим, у нас там хорошо, свежий воздух, парное молочко. Поживешь, сколько хочешь, а потом обратно привезем. Родители мои давно тебя в гости приглашают... У моего отца машина есть, так на машине тебя и доставим, в целости и сохранности... А люди у

нас какие добрые да приветливые, не то, что в городе... Ну, как, бабуль, согласна? Ну, вот и ладненько. Только перед отъездом надо одну бумажку подписать, вот здесь... Не видишь ничего? Ну, это не страшно, я палец приложу, а ты прямо вот тут, возле пальца и подпишешь. И еще разок. Что за бумажка? Да это с почты прислали, пишут, что будут пенсию на дом приносить, спрашивают, согласна ли ты?» — «Да как же не согласна! Согласна! Ходить-то тяжело стало...» — «Бабуль, я вот всё хочу спросить, а у тебя что, никаких родных совсем нет?» — «Нету, милый! Все — кто помер, кто пропал, брат один от водки сторел, а сестра младшая теперь живет в этой, как ее, Канаде, что ли. Дети туда уехали и ее забрали. Одна я на всем белом свете». — «А твои дети где?» — «И-и, милый, ни детей, ни мужа не дал Господь. Так одна и доживаю свой век». — «Как же так, бабушка?» — «Расскажу как-нибудь, если слушать захочешь... После войны-то, знаешь, мужики наперечет были, а я... Трое детей малых на руках, бедная, ни одеть, ни обувь нечего, кому я такая нужна была. Мать-то у нас после войны сразу померла, отец спился, а дети-то никому не нужны... В приют я их не отдала, родные кровиночки всё же... А своих — нет, не дал Бог. Да и надорвалась я, всё у меня внутри надорванное, какие тут дети...» — «Ну, не расстраивайся, бабуля, все будет хорошо. А теперь давай, помогу тебе собраться, скоро машина придет... Пенсию мы тебе в деревню переведем, пока жить там будешь, ее на дом будут приносить...»

Уж такой ласковый, обходительный парнишка! И собраться помог, и укутал потеплее, чтоб не простудилась, и деньжонок на дорогу дал, небось, от своей стипендии оторвал... Только вот пропал куда-то. Неделя, другая прошла, месяц, а он все не едет. И родителей его нет. Она спрашивала у соседок, а те говорят, что таких отродясь в деревне не было. Она ничего не могла понять. Деньги давно кончились, пенсию никто не приносил. Соседки подкармливали, чем могли, да у самих-то было не густо. Деревенька почти вымершая, всего пять-шесть домишек, одни старухи древние остались. И никому до них дела нет.

Заехал все же как-то раз к Полюшке какой-то начальник. Посидел, порасспрашивал, что-то записал себе в блокнот. Она просила, чтобы нашел Максима с Антоном, напомнил им, что пора забирать ее отсюда. В своей квартире-то лучше, да и пенсию, небось, принесут.

Не нашел он постояльцев. В ее квартире давно уже чужие люди живут. И документы на квартиру показали, — все по закону, купили они квартиру у нее, у Полюшки. Да вот и ее подпись собственноручная, что продает она квартиру...

Уехал начальник, пообещав устроить ее в дом престарелых. Она никак не могла понять, что произошло. Как это квартира оказалась проданной? Она никому ее не продавала, как она могла продать, а где же самой-то жить? Квартиру на элеваторе дали, почти перед самой пенсией. Бог ее, видать, наградил за все страдания... Сколько всего пришлось пережить, страшно вспомнить... Особенно после пожара, когда, оставшись без крыши над головой, пришлось с ребятами по чужим углам скитаться... Пустила их тогда к себе одна старушка. Домишко старенький, ветхий, на окраине города, но зато к элеватору близко, не надо каждый день по семь километров отмеривать... Так и жили, в тесноте да не в обиде, как говорится. Потом старушка умерла, младшие своими семьями зажили — кто где, а она на старости лет свой угол заимела, да какой угол — отдельная квартира, топить не надо, за водой ходить в колонку не надо, живи и радуйся! А теперь, выходит, квартиры опять нет... Голова болит от дум, а что придумать, Полюшка не знает. Не верит она почему-то заезшему начальнику, надеется, что ребята все-таки приедут за ней, отвезут домой... хорошие ребяташки-то...

В трубе громко воев ветер, хлопают ставни... Или это не ставни?... Да это же бабушка, вот она, стучит палкой, отгоняя страшного козла... Бабушка, милая! Нет, это не бабушка, это кто-то другой бьет стекла, и они рассыпаются на мелкие осколки, летят на пол, поэтому так холодно... Или это лопата скребет, разгребает смерзшиеся куски угля, который Полюшка вместе с другими женщинами выгружают из вагона в железнодорожном тупике? Руки совсем застыли, пальцы не гнутся... Ноги в худых сапожках к подошвам примерзли... Она терпит, знает: скоро ноги начнут гореть, станет легче... Правда, вечером сапоги никак не снять, так пальцы распухают... Сколько она перекидала этого угля, перетаскала кирпичей, перелопатила зерна!.. А сейчас — кружку не поднять... Попить бы... горяченького глоток... Вот он, самовар, стоит на столе, пышет жаром... вокруг стола ребяташки, мать... Раздается звон разбитого стекла, в избу врывается морозное облако, мать берет малышкой и одного за другим выбрасывает их в окно, на мороз. «Не надо!» — хочет крикнуть Полюшка и не может... Стены в избе покрываются белым инеем... нет, это не стены, это небо, и оно не белое, а красное. А на нем черный силуэт отца. Он становится все больше и больше, заслоняет все небо, и оно тоже становится черным и медленно, медленно опускается на землю... на Полюшку...

ПОЖАРНЫЙ

Рассказ

Всё как всегда. Я ринулся на тревожный вызов вместе с ребятами сразу же, не раздумывая, почти инстинктивно. Они — экстремалы. В том смысле, что отчаянные в нашем опасном деле. Любители ходить по краю пропасти. Они мне нравятся. Почему бы не кинуться вместе с ними? Ведь я тоже пожарный, хоть и офицер в звании майора. Мне, конечно же, не положено выметываться по всякой тревоге со всех точек зрения: ни по положению, ни по возрасту, ни по должности. В молодости-то все ступеньки лестницы прошел. Пожарной и карьерной. А я все равно побежал с ними, как мальчишка. Более того, мне стало интересно. Ведь адрес вызова, то есть по-нашему, по-пожарному, — «очага возгорания» — дом напротив моего, так сказать, родного очага. Того самого, где мать нас с сестрой родила. С помощью лишь одной бабы Лиды, повитухи местной. В самые послевоенные годы трудно было, до роддома все равно бы не доставили. Нечем.

В общем, подумалось так: а вдруг загорелось в доме зачатых друзей — соседей через дорогу... А эти соседи наши, ух и молчуны зловредные. Поначалу даже не здоровались. Вечно с претензиями совались, да еще и со злостью непонятной. То собака наша им лаем спать мешала, то сестренка перед их домом тротуар мелом изрисует для игры в классики, то я будто бы из рогатки по их окнам пулял. С ними, собственно, мы не общались никогда и имен-то их толком не знали. Чужаки. Порусски-то особо говорить не умели. Переселенцы из Эстонии, эвакуированные в сорок первом с оккупированных немцами территорий, да так и остались здесь. Освоились, конечно, со временем. Сын их, когда вырос, уехал в Эстонию. Там и окольцевался в законном браке. Дочку свою каждым летом сюда, в наши края, к бабушке с дедушкой, значит, привозить стал. Сами отпуск проводили и девочку, как родилась, с собой брали. Родителей престарелых своих сын на родину отвез бы, да у отца его какая-то хворь трудная приключилась, и врачи менять климат никак не советовали. Хоть и прибалты старики-то, а, видать, привык организм их к нашей среднерусской полосе. Понятное дело, тянет в исконные родные веси вернуться, теперь уж самостийную страну. Однако, как говорится, человек предполагает, а Господь располагает. Одна отрада, когда сын с женой и внучкой приезжает на месяцок.

Вот и нынче, слышал я, в гости пожаловали. Малышка по-русски почти не говорит, все лепечет по-своему как с дедом или бабкой погулять выйдут, в магазин за мелкой покупкой или к речке искупаться сходят. Детишек ведь хлебом не корми, а в воде поплескаться дай. В гастрономчик бабушку сопроводить тоже свой резон имеется, она завсегда леденцами или пряниками побалуует свою светло-русую отраду. Соседей же по-прежнему чужаки особо не жалуют. Поздоровкаются мельком и мимо прошмыгнут. Не поговорят по душам, здоровьем, делами-заботами не поинтересуются. На все вопросы только слышишь короткие да или нет. Замкнутые очень. А сейчас, к тому же, там, в Эстонии, нашего брата, русского, говорят крепко зажимают. Про какую-то «советскую оккупацию» талдычат. Русские, стало быть, «оккупанты». Старики-то помалкивают. Сами от немцев в войну, где спаслись? У нас в России, у «оккупантов», получается. Впрочем, что они по этому делу думают, никому не ведомо. Может, думают так же, как и сородичи в Эстонии, а может, и нет. Кто их знает. Молчат все, а молчат, значит, затихарились... А тут, неожиданно-негаданно, пожар.

Когда подъезжали с сиреной воющей, всю округу сизым дымом окутало. Из верхних этажей красно-желтые языки то высывались, то исчезали в черно-копотных оконных проемах. На втором этаже оконные стекла сухими щелчками трескались, вот-вот лопаться начнут. Народец с какими-то ведрами и тазами бессмысленными взад-вперед носился. Жильцы в первую очередь, надо думать, суетились вовсю: пожитки спасали. Лишь одна женщина средних лет в домашнем халате, растрепанная вся, с ноги на ногу переминалась, будто куда-то рвануть собралась, а сама с места сдвинуться никак не могла. Только двумя руками икону Богородицы к груди прижимала, словно лихой разбойник отнять пытался. Образ был без оклада, большой. В доме-то семей шесть-семь обитало, но, правда, чужаков что-то среди них, на улицу выбежавших, не приметил. Кто-то скороговоркой резким дискантом бросил, что это у «эстонцев», на третьем этаже, газовый баллон взорвался. Грохнуло уж больно громко и окна повышибало.

Я услышал крик, вернее, громкий плач. Он доносился из одного окна на третьем этаже горящего дома. Из той самой квартиры, где обитали чужаки-переселенцы. Это был детский плач.

Как все случилось, в точности не помню. Я попал в ловушку. Обрушилось одно из перекрытий, завалив выход из

квартиры на лестничную площадку. Впервые в жизни мелькнула мысль о почти безысходности: я проиграл, запросто мне не выбраться из пекла. К тому же на руках с этой маленькой девочкой, которая спряталась от огня под диваном... Это она плакала в голос. Оттого и нашел ее сразу же. Ну, зачем я полез в огонь? Чтобы своих двоих детишек оставить на несладкую судьбу безотцовщины? Мне что, кормить некого?

Снова пришло в голову: каюк! И где? Напротив дома родного?! Мне даже стало смешно. Кругом гудело натужно и с жадным придыханием. Едкий дым серо-желтой отравой разедал глаза, вырывал нутро изнуряющим кашлем. Полымя торопливо вершило свой суд. Отчего огонь так скор? Отчего так нетерпим и безжалостен?

Сквозь дым я совершенно неожиданно увидел... мать. Она будто вышла на улицу из нашего дома напротив. Крыльцо едва виднелось отсюда сквозь дым верхнего этажа горящего здания. Она тоже не знала, каким образом я очутился здесь. Вернее, вряд ли могла знать, что мечущаяся в дымящихся окнах напротив фигура пожарника с каким-то большим свертком на руках — ее сын. Я смотрел на нее. Она вдруг сложила ладони как на молитве, потом развела руки, прямо как Божья Матерь на иконе, и поманила меня, хоть это лишь угадывалось сквозь густую дымную пелену: иди, мол, ко мне, выходи из полымя. Мол, сынок, дай-ка дитятко из рук твоих приму.. Подай сюда, миленький, сюда!.. Направо, а не налево иди, сынок! Из окна, что слева, уж языки пламени бьют, не прорвешься. И вовнутрь, к двери не беги, не открывай ее, за дверью и вовсе все охвачено огнем, клубится там под потолками черное непроницаемое облако, готовое от очередного снопа искр взорваться нестерпимым жаром, плавящим даже металл. Вот так, встань на подоконник именно этого окна.

Я видел, как беззвучно двигаются ее губы, вторя неслышные слова. Лишь сверхъестественной догадкой улавливал я ее молитвенный повтор. Внизу суетились мои товарищи, били вверх струи воды, остервенело лупил молотком Евсевич, старшой команды, по какому-то болту на лестнице пожарной машины. Заело что-то в механизме спасательной лестницы, и встала она, проклятая, на полпути, как одна половинка разводных мостов в Питере во время ремонта... Сзади грохнуло что-то неведомое и беспощадное, страшно загудело и до меня долетел неслышный шелест материнского голоса: прыгай, не бойся, сынок, прыгай, жив останешься!

...Боже, как мне больно! — мучительной резью по обожженной коже щеки наждаком проскребло твердью земной. Слезным криком прокричал бы, ибо терпеть было почти невмочь. Не знаю, как вывалился из этого проклятого окна. К груди прижал маленькое, хрупкое тельце, верещавшее свое бесконечное: emme, emme...*

Вокруг горело так нестерпимо жарко! Я упал на бок, на левое плечо. Боялся, чтоб при падении девочку не подмять. Она уже не плакала, а только мелко хмыкнула. Я сломал ключицу. Она, видать, почувствовала, что мне не все удалось гладко. Согласитесь, что сломать ключицу, это — не голень перебить! Китайские мастера кун-фу умеют ловким ударом сломать ключевую кость так, чтобы острие твердой плоти прорвало околосердечную сумку, почти мгновенно до смерти затопив нутро кровью из вен. А голень для них — пустячное дело, не смертельное. Профессиональные костоломы были бы довольны, — ключица переломилась аккуратненько. Конечно, сейчас мне было все равно. Да что же происходит? Да то же, что и сотни раз. Пожар.

Что это за комочек на груди шевелится? Руки не работают. Я хочу их поднять, а шевельнуть не удастся. Ослаб, наверное. Лежу, кажется, на дороге. Точнее на асфальте тротуара. По нему каждый день сотни людей проходят. От автобусной остановки к рынку, что недалече. Утром тротуар чистый. Дворники стараются. Порой на нем нищие бомжи за подаванием пристраиваются. К вечеру насобирают монетку к монетке, попутно набросают вокруг сору из своих полиэтиленовых пакетиков с немудреным скарбом да пустые флакончики из-под лосьона «Лимонный» или одеколona кишиневского разлива «Тройной питьевой». Смешно, что лежу. Будто пьяный забулдыга. Угадываю лишь, как склоняются надо мной лица. Слышу говор. Словно кто-то вместо меня с кем-то говорит. Мне чудится, что я ухожу в темный коридор без света, и происходящее вокруг стало безразлично. Правда, на время. Потому что вдруг понял: поверну обратно. Голос я вновь услышал. Мать зовет: Эдик, Эдик...

...Господи, как больно! Ноги-то, неужели они в огне горят? Что-то твердое подо мной. А-а, асфальт. Ноги перестали гореть. Мне было уже почти не больно.

...Почему я лежу в закафеленной комнате, в какой-то посудине? Рядышком на стене виднеется табличка с инвентарным номером и надписью: «Ожоговый центр клиники Склифосовс-

* Emme (эст.) — мамуля.

кого». В московской клинике? И в такой-то, по-дурачки, белой ванне? Девушка в белом мне что-то говорит... Ей, наверное, лет девятнадцать. Открыто в лицо смотрит, прямо в глаза.

Левое плечо — в гипсе. Я понял, отчего лежу именно в ванне, и тело мое колышется. Только сейчас увидел, что плаваю в масле. Иначе нельзя. Смекнул, мол, обожженной коже защита нужна и уход. Иначе прилипну к простыням.

— Сильно я обжегся? — спросил девушку в белом.

— Сильно... Впрочем, не очень. Вертолетом вас доставили. Горели вы, горели, — тихо ответила она. — А ребеночка-то, что вы вытащили... его «скорая» отвезла. Кажется, в детдом. Ни царапинки не было... Погибли родные его... И родители, и дедушка с бабушкой. Разом... Они на кухне были, когда баллон с газом взорвался. Адитяtko уцелело, в гостиной спавши...

Я потом, там же, в больнице, с трудом вспоминал. Долговязый, бесшабашный Павлуха, друган из второй роты нашей пожарки, навестивший в клинику, подсказал, как случилось все. Только-только вернулся из беспамятства, я сразу же и спросил у него, мол, где мать-то. Выручила она меня. А каково ж ей было видеть, как сын, родная кровь, хоть и профессиональный пожарный, в соседском доме сгорает, гибнет почти на том же месте, где на свет появился?

А Павлуха, обычно горластый такой, внимательно глянул на меня, помолчал и тихо так говорит, мол, матушка твоя, Эдуард Иванович, умерла еще лет назад десять. И дом твой отчий, что напротив сгоревшего, снесли давным-давно. Через год, мол, после смерти матери. Головой треснул, что ли?

Ежели прав он, Павлуха-то, то кто же меня манил и спас из того треклятого пожарного пекла?.. Эх! А ведь прав он, матушки-то действительно давно уж нет! И на месте дома отца прежнего, на пустыре, буреломом поросшем, я уж новый выстроить хотел. В нем и поселиться с пострелятами моими.

Павлуха уходить собрался и напоследок говорит, дескать, тут тебе одна погорелица, говорит, подарок прислала, и показывает икону. Узнал я образ этот. Тот самый, Богородица с распростертыми руками. Маму ликом напоминает... Паша сказал, что «Всех скорбящих радость» именуется.

Кстати, надо бы добыть адрес сиротского дома, куда дитяtko-то соседское отправили. Ничего, вырастим, там, где двое своих, там и третьего на ноги поднимем. Родная она мне теперь. А ежели по-русски не разумеет, так не беда, научим...

ЛОЖЬ

Рассказ

Всегда такая ласковая и уютная лавочка, спрятанная от палящего солнца под кустом сирени, сегодня была знобяще холодна, и я встал с нее.

Из сокровенного детского далека донеслось:

— Алеша, иди домой ужинать!

— Сию минуточку, мамочка! Только доиграю, — выкрикивается из меня мальчишеское и сегодняшнее. Доиграю в твою материнскую ложь.

Где же Володька? Где мой братишка? Разве это не он, шмыгая носом, старательно выламывал подгнившую доску из забора, чтобы убежать купаться на Избалык — своенравную шумливую речушку с омутами и живущими в них сомами?

Брат старше меня на целый год, поэтому материнский призыв относится лишь ко мне — маленькому, избалованному любимчику.

— Алексей! — зовет и дядя Коля.

Дома вкусно пахнет пирожками с капустой и яйцами. Николай Иванович уже принял традиционную воскресную стопку. В комнате солнечно, не по-вечернему душно.

— А где Володя?

— Не знаю.

— Ну, хорошо. Мой руки, кушать подано! — смеется счастливая мама.

Дядя Коля отужинал и пересел за маленький самодельный верстачок. В руках у него брусочки из липы. Он отдален от нас и задумчив в предвкушении своего любимого занятия: сейчас он примется на долгие часы вырезать из деревяшек каких-нибудь диковинных зверей или птиц. Кого на этот раз? Кажется, оленя, судя по рисунку, нанесенному на плашку.

Мой братишка так и не появился, а ведь тоже проголодался. Я с тревогой поглядываю на мать. Ее клонит в дрему. Несколько минут она мужественно борется со сном, затем вяло поднимается со стула и удаляется за занавеску, по-деревенски отделяющую широкую родительскую кровать от основного пространства комнаты.

Почему она не наказала мне сбегать и разыскать брата? Если бы я, к примеру, где-то задержался на улице допоздна, она непременно затормошила бы Володьку:

— Иди за Алешей, а то и тебя, и его выпорю!

Со мной так нельзя — я маленький... К тому же редко один без брата отважусь на самостоятельные поступки. Потому что я без Володьки — ужасный трус! Так повелось, наверное, с самых пеленок. Случись, упаду ли, споткнувшись, через сучок, раскачаюсь ли сильно на качелях или с кем из наших общих приятелей раздерусь не в шутку — сразу возоплю во весь писклявый голос: «Во-о-в-ка!»

— Дядя Коля, а Володьки до сих пор нет?!

Молчит Николай Иванович: знай, долбит, как дятел, делячку. Еще полчаса — и вечер плотно обложит окрестность.

Когда стемнело, прибежала соседка и, не заходя в дом, позвала:

— Николай, высунься, что сказать хочу!

— Чего тебе, Наталья? — выглянул в окно дядя Коля.

— Я огород дальний поливала, что у речки... вот шмотки Володины принесла: штаны с рубашкой и сандалии. Боюсь, как бы не утоп! В том году у Некрасовой дочка потонула.

Мы все спешно идем к реке. Впереди дядя Коля с соседкой, затем — мама и я. Специально позади всех плетусь. Я боюсь, а вдруг Володька взаправду утонул.

Три дня мужики с дядей Колей багрили дно Избалыка, ныряли, даже бреднем пробовали — все понапрасну. Прошла страшная неделя.

Старый дед, прозванный в поселке Прокурором, принялся вразумлять:

— Избалык — река вредная. Сколь в ней народу потопло, ни одного не выловили. Сомы в нем да русалки живут. От них не отобьешься.

— Черт хромой, несешь всякую чушь! — злятся на него мужики.

Женщины помалкивают. Дядя Коля хмурит брови. Мать плачет.

Прошел месяц. Ближе к осени погодка подвинулась. Начались затяжные, холодные дожди. Мать, кажется, совсем уже свыклась с мыслью, что Володю не вернуть. Дядя Коля снова живет своей привычной жизнью: с работы пришел — и опять за свои чурки.

Один я ною и злюсь:

— Чо, мам, со мною никто не водится? Когда Володька был, все со мной водились, а теперь — один и один, и все время во дворе нашего дома торчу. Мам, а мам, я сбегая на Избалык искупаюсь? Вон пацаны к речке побежали.

Мать бросается ко мне наперерез:

— Не пуцу, сиди дома! Тоже удумал купаться: на дворе — осень.

Дядя Коля откладывает в сторону деревяшку, наставляет:
— Правильно мать говорит. Смотри, утонешь, как твой непутевый брат!

Лучше бы утонул, потому что такое про себя и про Володьку узнал, что с сомами бы в омуте и то лучше было бы...

В тот диковатый, скверный день я в школу не пошел. С вечера скулил в уши родителей, что заболел. Я старательно шмыгал носом, чихал и кашлял, и добился своего: мать всполошилась, дядя Коля помычал что-то невразумительное, и они позволили мне остаться дома. Очень убедительно у меня получилось, потому что притворщиком я был классным.

Я лежал тихий, бессловесный, не беспокоящий мать разными глупостями насчет таблеток и микстур, так как в душе побаивался, что она вдруг всерьез возьмется проверять, чем это я заболел так неожиданно-негаданно. А проверить она могла запросто: десять лет она проработала медсестрой в нашей поселковой больнице.

В полдень к нам забежала тетка Наталья, та самая, что про Володьку сообщила, то ли за мясорубкой, то ли по другой хозяйственной надобности, не помню. Мать позвала ее на кухню попить чайку и посудачить про свою горькую женскую судьбу-злодейку.

— Ох, Наталья, — говорила мать, — сердце у меня изболелось, даже покалывать стало, как про Володьку вспомню да на Алешу посмотрю. Муженек-то мой преподобный совсем молчуном сделался: и раньше от него живого слова не услышишь, а теперь уж вовсе замолчал. Сколь лет вместе, а он все примеряет да ощупывает меня словно полешку перед тем, как вырезать из нее надумает что-нибудь.

Тетка Наталья мелкими глоточками сглатывает сладкую, круто заваренную жидкость из большого бокала дяди Коли. Поглядывает в окно, где всю беснуется поздняя осень. Она часто вздыхает, переводя дух от обжигающей влаги и жалоб подруги на судьбу. Сочувствует.

— Может, неправильно жизнь я свою с самого начала построила? — углубляется мать в зыбкую память прожитого. — Надо было как-то иначе? Не нужно было из Дома ребенка сироток-то брать... плохая я им мать оказалась...

— Да ты этак точно вконец изведешь себя! — не удержалась тетка Наталья. — Ты вспомни, подруга дорогая, как ты радовалась Лешке: чуть что на руки... и зацелуешь его, заласкаешь. По ночам в общежитии во сне имя его бубнишь, совсем с ума тронулась, — сынишкой его зовешь... Я тебе и так, и сяк, ты же свое: «Заберу Алешку к себе!»

— Я не про то, Наталья! Алешку я бы и по сей день без всяких душевных терзаний взяла бы... вот Володьку бы... только из жалости.

— Тоже мне, призналась?! Не присматриваясь видно было: не по душе он тебе! Но, сама знаешь, без Володьки тебе Лешку не оформили бы. Братья они родные — их разлучать нельзя, хоть и погодки.

Мать заплакала. Она умела так тихо плакать, и догадаться об этом можно было по пронзительной тишине, зачернившейся в нашем доме. Я это понял. А вот другое никак не мог уразуметь: кажется, про меня и про Володьку толкуют, но так, словно о какой неведомой мне жизни рассказывают. Не врублюсь: что это за дети такие, из какого такого Дома ребенка?

Заговорила вновь тетка Наталья:

— Судьба у тебя такая. Сама ведь знаешь: своих детей у тебя вовек не будет... Только подумай, мне-то в сравнении с тобой уж совсем край: одна-одинешенька — без мужа и без детей, хотя нарожать бы мгла их... Ты, милая, в город на учебу поехала да и излечиться от бесплодия хотела, я же — «плод» из себя вытравлять... от дурной славы в городе затаилась. Знала бы, что как ты, никогда больше не рожу, повесилась бы! — зло докричала тетка Наталья. Потом опомнилась, смягчилась: — Вот и вою в своем пустом доме. У тебя же, Людмила, свое, на мой взгляд, счастье сложилось.

— Бог меня наказал за мою нелюбовь к Володьке, — неожиданно выговорила мать, — потому и отнял у меня его. Не поймешь ты, Наталья, что теперь я до конца своих дней виниться буду... Может, вернет Он мне сына?

Громынула оконная ставенка, забарабанил дождь по стеклу. Я лежал с широко распахнутыми глазами, уставившись ими в белый потолок. На нем, будто на экране кино, мелькали нечеткие кадры моей памяти: огромная душная комната с детскими кроватками в два ряда, с полками вдоль стены для старых, облезлых, грязных игрушек, и тетка в белом халате, поправляющая одеяло на моей постели, приговаривающая ласковые слова:

— Ну что ты, маленький, плачешь? Люда очень тебя любит, она — твоя мама. Хочешь шоколадку, у меня вон их сколько...

Она берет меня на руки прямо с одеялом и ходит по комнате, убаюкивая. Я чувствую трепетную ласку ее рук, но одновременно ощущаю, как на меня смотрят пронзительно и ненавидяще глаза большеголового мальчишки с соседней кровати, и я говорю тетке:

— Я к брату хочу!

— Нет, подруга, — слышу я голос тетки Натальи, — не изводи ты себя понапрасну! Люди говорят: «Не та — мать, что родила, а та, что воспитала». Тебе об Алексее думать-заботиться нужно. Где он у тебя, поди, в школе?

Побледневшая мать бросилась к незакрытой двери.

— Да дома он! Придумал «поболеть» — я и разрешила.

Тетка Наталья грохнула упавшим табуретом:

— Ох, и дура ты, подруженька! Да разве так можно болтать, при мальчишке, всякую чепуху?!

Она выскочила из нашего дома под дождь.

Мать еще долго не выходила из кухни. Сидела в сумерках. Пришел с работы дядя Коля, как всегда осторожный, не говорящий ни слова.

— Есть будешь? — окликнула его мать. — Алешка спит, чтоб тихо у меня!

По кухне растекся слабый свет от настольной лампы. Через короткое время бессловесного, угрюмого ужина родители на цыпочках удалились за занавеску. Ко мне на постель запрыгнул наш рыжий кот Сявка и стал слизывать с моих щек соленые капельки.

Я сидел на знобящей лавочке под густой, цветущей сиренью. Это скрытое от глаз любопытных укромное место в тенистом дворе нашего дома стало для меня единственным, где я мог оставаться самим собой, огражденным от гнетущей лжи взрослого мира.

Мне исполнилось шестнадцать лет. В кармане у меня — жесткий квадратик моего собственного паспорта, в котором было записано, что я — Жилкин Алексей Иванович — родился в городе Саратове, прописан в поселке Альшанском Саратовской области.

Получилось совершенно правдоподобно: мать родила меня и брата в большом областном городе. Но жизнь в городе у нее не заладилась. Она развелась с мужем — с нашим папашей. Затем вернулась в деревню, в свой родительский дом, унаследовав его после смерти родителей. Потом вышла замуж за молчаливого резчика по дереву однофамильца Жилкина Николая Ивановича, тем самым восстановив свою прежнюю девичью фамилию. Теперь это и моя фамилия: и теперь с этой фамилией буду жить всю свою жизнь.

Только Володька не будет жить.

Я не верю, что он утонул. Думаю, что он убежал. Наступит срок, и он вернется ко мне восемнадцатилетним, крепким парнем и заберет меня отсюда. Уедем мы с ним в город Саратов: жить там, где родились, где кроме нас — самых близких друг для друга людей — никого не должно быть рядом.

ПРОЩЁНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Рассказ

Сергей Иванович проснулся на диване в гостиной, хотел было встать, но, услышав домашних, натянул на голову одеяло, уткнулся в стенку и стал пережидать. Видеть, а тем более общаться, ни с кем не хотелось. Все было мерзко и противно. Так-то организм особо не страдал, но любое воспоминание о вчерашнем дне вызывало тошнотворные спазмы. Причем вспоминать можно было с любого места, и везде было противно. Дело даже не в том, что напились. Просто такого расхристанного разгула у Сергея Ивановича еще не было. И кончилось все руганью с женой. Это вообще скверно.

Жена, видимо, подозревая, что спать Сергей Иванович уже не может, пару раз заходила в гостиную и демонстративно с минуту стояла над диваном, но Сергей Иванович замирал, как загнанный заяц, понимая, что тем самым еще больше выдает себя, но не сдавался. Жена вздыхала и покидала гостиную, обязательно прихлопнув дверь. Когда она уже выпроводила Саньку в школу и собралась уходить на работу сама, приоткрыла дверь и бросила: «Завтрак на столе». Потом она еще минут десять копошилась в коридоре, наконец, входная дверь захлопнулась. Сергей Иванович выждал для верности еще время и наконец откинул пропотевшее одеяло.

На кухне жадно напился из-под крана воды. К завтраку не притронулся — есть не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Сел у обеденного стола и долго разглядывал разводы на клеенке. Хорошо, на работу шеф разрешил выйти к обеду.. Конечно, после такого... Далась эта масленица... Нет, уж лучше не вспоминать... Зачем это все, зачем...

Кое-как умылся, почистил зубы.

Жена еще... Ты с этой работой другой стал, на тебя ребенок смотрит... А что я сделаю... Работа... Квартиру получили... Деньги водятся... Не так чтобы, но не как все... Доработаю эти выборы — и брошу...

Работа и в самом деле тяготила Сергея Ивановича. Тяготила каким-то ощущением полной своей ненужности и даже вредности, за что еще платили деньги. В предвыборный штаб нынешнего мэра его завлек давнишний приятель Сенька. Вместе когда-то в институтской команде в футбол гоняли. Теперь Семен Петрович — большой в городе человек, зав. управлением. Когда он повстречал мыкающего без дела

Сергея, предложил: «Пошли к нам. Через полгода выиграем выборы и весь город — наш». — «А что делать?» — на всякий случай спросил Сергей. — «У тебя специальность какая?» — «Электронщик». — «В компьютерах волокошь?» — «Ну». — «Вот и будешь спецом по компьютерам. Будешь налаживать сеть. Это дело нынче необходимое». Сергей согласился.

Поначалу, соскучившийся по работе, он и в самом деле впрягся. Специалист он был хороший и быстро компьютеризировал в штабе все, что можно. В том, что выборы выиграла, была и ощутимая заслуга Сергея. Шеф это оценил и с ходу назначил его в новой мэрии начальником вновь созданной компьютерной службы. Долгое время Сергей Иванович оставался единственным членом отдела, но это ему даже нравилось. Потом ему придали еще двух молодых «косящих» от армии акселератов и Сергей Иванович расслабился. Раньше он сам налаживал и отслеживал работу системы, теперь появились еще двое, и на них как-то само собой переложились вся суетная работа, сам же Сергей Иванович контролировал только крупные проекты, сумев поставить себя так, что ни один крупный проект без его «компьютерной» оценки не одобрялся. У Сергея Ивановича появился бюрократический животик, низкие нотки в голосе и равнодушие во взгляде.

Чего он сорвался вчера? Нет, служебные вечерники, конечно, случались и раньше. Государственные праздники, дни рождения, приемы, проводы, поводы, бесповоды, но все это носило больше закрытый характер, хотя жена уже на второй год его работы заявила: «Мне такой ценой квартира не нужна». Да он и сам понимал, что куда-то катится. Он обещал жене, что еще немного, и он обязательно уйдет, и она верила ему и ждала, пока пройдет это «немного», потому что видела, как он мучается поглощаемой пустотой. И каждый раз, когда он уже собирался распрощаться, что-то удерживало в новом мягком кресле. Причем поводы находились самые разнообразные, теперь вот он убедил себя, что с его стороны, как человека, получившего новую трехкомнатную квартиру, нечестно будет бросить шефа в канун новых выборов.

И вот теперь эта масленица, причем это ведь его была идея, его...

Сергей Иванович оделся и решил идти на работу. Решив обойтись без машины (настолько не хотелось что-либо делать), он направился к автобусной остановке.

Зима не сдавалась. За ночь подтаявший снег смерзся и теперь на ярком солнце слепил глаза. Сергей Иванович пару раз еле удержался от падения. Потом долго ждал на ветру нужного автобуса, и тот пришел необременительно полупустой с какой-то оскорбительно-веселой расцветкой и блестящими на солнце стеклами.

Ехать нужно было три остановки. Сергей Иванович сел на одно из парных кресел, повернутых друг к другу. Напротив него сидела украшенная неприступностью средних лет дама (и Сергею Ивановичу сразу вспомнились вчерашние такие же неприступные средних лет сослуживицы, отчего засосало в желудке) и молодой человек без шапки, в легкой курточке и джинсах. «Пижон», — подумал Сергей Иванович и опустил взгляд от слегка вьющихся волос неопрятного молодого человека. На коленках у него красовались два округлых грязноватых пятна, словно специально долго елозил на коленках. Мода такая теперь, что ли? Хотя в целом молодой человек выглядел прилично: интеллигентное доброе лицо.

Молодой человек, видимо, почувствовав, что его разглядывают, оторвался от окна, взглянул на Сергея Ивановича и улыбнулся, как-то по-доброму и виновато. Сергей Иванович насупился и отвернулся.

На службе совершенно ничего не хотелось делать. Дал задания своим помощникам и отправил их с глаз долой. Полазил с полчаса по Интернету, но и это быстро надоело. Зазвонил внутренний телефон.

— Привет, Иваныч! — Сергей узнал секретаря пресс-центра Саню Гриднева, разбитного и беспардонного парня. — Ну, ты как там после вчерашнего? — В трубке расхохотались. — Ну, дал ты жару..

Сергей поморщился и быстро прервал:

— Да ничего, терпимо.

— Это хорошо. А то у нас тут проблемка по твоей части, что-то виснет у нас тут все. Зайдешь?..

«Хоть какое-то дело», — порадовался Сергей, хотя идти в пресс-службу не хотелось, народец там был еще тот, что мужики, что девки, да к тому же, как раз они-то и были заводилами вчерашнего. Но хоть какое-то дело.

Еще не хотелось идти в пресс-центр потому, что находился он рядом с приемной мэра, а попадаться кому-нибудь на глаза никак не хотелось.

Случилось как раз то, чего больше всего не хотел Сергей Иванович. Когда он уже почти поднялся на второй этаж, до него донесся гул движущейся массы, он даже дернулся было назад, но как-то это выглядело бы еще глупее, и он обреченно шагнул на лестничную площадку, и тут же открылась коридорная дверь, и на него вышел мэр со свитой. Мэр, высокий и полнеющий мужчина, но все-таки хорошо выглядевший для своих пятидесяти шести, все-таки бывший спортсмен, возвышался, как и положено властителю, над сопровождавшей челядью.

Сергей еще успел подумать: «Как так получается, что человек, получивший пост, всегда становится крупнее. — Это он замечал и в армии, когда получали очередную звездочку, и на производстве, когда технолог становился начальником цеха, все они как-то распрямлялись, словно в каждом до этого был еще заложен некий резерв, сокрытый до времени. — А если бы кто-то другой сейчас был мэром из этой свиты, как бы все выглядело?» — но разобраться в этом Сергей не успел. Мэр вдруг отклонился от что-то говорившего ему зама и обратил взор на Сергея. Взгляд у мэра по обыкновению был суров и тяжел, это тоже как атрибут власти, надеваемый, словно рабочий костюм-тройка. Сергей потупился.

— Молодец! — вдруг изрек мэр и хлопнул Сергея по плечу. — Давай пять! — и протянул руку.

Сергей пожал крепкую и какую-то чересчур гладкую, словно мелованная бумага, руку начальника. Но самое противное было не это, а то, что следом за мэром, который уже двинулся по лестнице вниз, каждый из его свиты подходил к Сергею и жал ему руку, при этом всяк по-своему отображая улыбающееся лицо. «Как проститутка», — почему-то подумал Сергей.

В пресс-службе всегда было суетно. Вроде бы газетенки всего две в городе (остальные больше напоминали «боевые листки» или школьные стенгазеты), ну, появилось пару лет назад местное телевидение, которого хватало на полчаса, ну, радио по утрам, но при этом Витя Гамов, начальник пресс-службы, считался чуть ли не главным лицом в администрации. Ему не было еще тридцати, был он краснощек и круглолиц, начал обрастать жирком и источал образец уверенности и благополучия. Правда, Витя не особо различал понятия «уверенность» и «наглость», а благополучие воспринимал только, как накопление земных благ, но это не мешало мэру полностью доверять Вите, чем тот беззастенчиво пользовался. Впрочем, Витя и в самом деле фонтанировал идеями и был, наверное, крутым пиарщиком районного городишки. Это его была идея устроить на масленицу массовую попойку горожан на центральной площади. Водка и блины раздавались бесплатно. Спаивать народ отправилась вся администрация, кроме, разумеется, главных руководителей. Вот там-то Сергей и разошелся, какая-то нелегкая напала на него, он стал необычайно развязан и словоохотлив, лез ко всем с рюмками, братался с народом, зазывал, чуть не тащил к раздаче, и при этом, как и было условлено, яростно убеждал, что их мэр лучший мэр и более мэрского мэра у них никогда не было и не будет. Когда стемнело и над площадью бабахнул фейерверк, чиновничья братия отправилась за город в один из при-

кровенных дворики, где уже оторвались все и по полной. От этого у Сергея в памяти остались только какие-то всполохи, но и от этого на душе становилось противно. Жгли масленицу, чем-то похожую на противника на предстоящих выборах, Валентину Павловну, которую любовно звали Валуха.

Причем всполохи эти, которые Сергей всячески пытался заглушить, вспыхивали самопроизвольно. Вот и сейчас, как только вошел в большую комнату пресс-службы и как нарочно сразу наткнулся взглядом на сидевшую за ближним столом и что-то писавшую Вику, он чуть не застонал, настолько стало нехорошо.

— Здравствуйте, — буркнул он, словно не здоровался, а пытался отвечать у доски не выученный урок.

— А, Сергей Иванович! — как-то хитро и задорно оторвалась от дальнего монитора чернявенькая Катя. — Чего это вы такой смурной. Вчера-то вы ой как зажигали!

Вика от своей писанины не оторвалась. А третья девушка с любопытством, словно только что открыла для себя новое и теперь непременно хочет изучить это новое повнимательнее, уставилась на Сергея Ивановича. Тот нахмурился еще больше, хотел что-то ответить, ничего на ум не шло, и он снова пробурчал:

— Чего у вас тут стряслось?

Катя заговорщицки, словно все знает и понимает, краешком губ улыбнулась и нараспев протянула:

— Виктор Семеевич!

Тут же распахнулась дверь, за которой находилась еще одна комната, и в проеме нарисовался цветущий начальник.

— А-а, Серега! — словно на улице встретил давнишнего приятеля, распахнул объятия Виктор Семенович.

Сергей Иванович в объятия не пошел, протянул руку и так же бурчливо повторил:

— Ну, чего тут у вас?

— Понимаю, — Витя сделал трагическое лицо, но было видно, что он вот-вот готов расхохотаться, в том числе и над своим трагическим видом, убрал объятия и пожал протянутую руку. — Проходи. Вот хрень какая, — ткнул он рукой в компьютер. — Не запускается что-то... — но в бодром голосе его Сергей уловил некую неуверенность.

— Вот так ни с того, ни с сего?

— Ну да! — еще более бодро и даже вызывающе ответил начальник пресс-службы.

Разбираться не хотелось, хотя Сергей понимал, что просто так ничего не бывает, хотелось заняться делом, к тому же уткнувшись в монитор, он как бы отгораживал себя от разго-

воров о вчерашнем. Витя же болтал без продыху. Впрочем, заметив, что воспоминания эти вызывают некую болезненную гримасу на Сергеевом лице, он сменил тему и начал трепаться о противостоящих кандидатах, которые утром по радио предали анафеме вчерашнее мероприятие.

То ли Витькино зудение, то ли все же похмелье никак не давали сосредоточиться на проблеме. В общем-то, Сергей Иванович уже нашел, где произошел затык и можно было бы ликвидировать его одним махом, рубанув на компе всю систему, но при этом пришлось бы все восстанавливать, и хотя эта была гарантированная работа на весь день, но пришлось бы выслушивать Витькин треп, а этого хотелось еще меньше.

— А в Интернет не лазил?

Виктор, видимо, почуяв неладное, немного засуетился.

— Да так... с утра... почту смотрел... новости...

Сергей ткнул пальцем в сторону монитора, на котором высветились адреса посещенных страничек:

— Я же вижу: одна порнуха.

Виктор молчал.

— Хотя не скачивал ничего? — уже миролюбиво спросил он.

— Нет! — быстро выпалил Виктор и Сергей почувствовал, что не врет.

— А чего тогда пытались поставить?

Виктор молчал.

— А?

— Да... тут приятель один заходил... игрушку тут...

Сергею даже стало неприятно, что он выступает в роли какого-то следователя, что он вдруг стал главным и пользуется этим положением, про компьютер ему было уже все ясно, и он прервал Виктора:

— Ладно. Главное, что в сеть не выходил, а то бы сейчас всех долбануло. Сейчас приду.

Взяв нужные программы, он возвращался в пресс-службу и, подходя к приоткрытой двери, услышал Витькин голос: «...а как стал выкаблучивать, как стал...» и вслед женский смешок, понял вдруг, что говорят о нем, и захотел тут же опять ему и про порнуху и про игрушку высказать, но, взявшись за холодную рукоятку двери, вдруг вспомнил, как виновато Виктор молчал, когда он вел допрос, и подумал: «Вот ведь, такой пройдоха, а и у него совесть есть. И чего я на него взъелся? Он на своем месте, ему и нельзя, наверное, быть другим, я — на своем...»

Смешок оборвался.

— Сейчас все наладим, — и потряс коробкой с дисками.

Возвращаться к акселератам не хотелось, он прошел чуть дальше по коридору и заметил приоткрытую дверь социального отдела.

Потом поднялся и пошел в социальный отдел — все-таки одному было тягостно да еще что-то никак не выходил из головы тот парнишка с грязными коленками (почему-то именно коленки из всего облика врезались Сергею Ивановичу больше всего), хотелось какого-то участия, хотелось, чтобы кто-то сказал, что не так уж скверно вчера все и было, хотелось какого-то оправдания, и Сергей Иванович отправился в социальный отдел в кабинет начальника к Василь Василичу, неунывающему оптимисту и бодрячку, пересидевшему в разных администрациях всевозможные власти. Причем, должности Василь Василичу всегда доставались разные. Теперь он заведовал социалкой. Был Василь Васильевич, как и положено добродушным людям, человеком упитанным и жизнерадостным, умел играть на гармошке и произносить тосты.

В кабинете у Василь Василича он застал женщину. Василь Василич лениво смотрел поверх нее и, судя по всему, уже в который раз что-то втолковывал невзрачной гражданке. Сергею Ивановичу он обрадовался и даже подскочил из-за стола к нему навстречу.

— Вот-вот, вам и товарищ подтвердит. Здравствуй, Сергей Иваныч. — Он пожал руку и тут же повернул Сергея Ивановича к женщине. — Если нет документов, то никак нельзя. Надо вам восстанавливать документы.

— Да я же вам говорю...

— А если нет документов, то надо восстанавливать. Вот вы в военкомат обращались? А в их архивы? Все у них есть, они только работать не хотят. Вот когда восстановите документы, тогда приходите... — говоря все это, он как-то ненавязчиво за локоток приподнял вяло сопротивляющуюся женщину со стула и как-то так на полусогнутых подталкивал к двери. Когда дверь за ней закрылась, он провел тыльной стороной ладони по лбу, издал звук, похожий на пылесос, когда его выключают, и сел в кресло.

— Достала, — резюмировал он и, не дожидаясь вопроса Сергея Ивановича, пожаловался, весело при этом похохотывая: — Второй месяц ходит.

— А что? — спросил тот.

— Да... — махнул рукой Василич, потом нехотя ответил, глядя в окно: — Пожар у них был. Все бумаги сгорели. Вот никак не может теперь мужнину пенсию на себя переоформить. — И как-то даже разозлившись, рывкнул на Сергея: — А что я могу? Ну нет документов! Пусть восстанавливает!

Военкомат там, собес, еще какая-то хрень... Я-то что могу! Меня какие-нибудь контролеры придут проверять, сразу на-роют. Сейчас этих контролеров развелось больше, чем при коммунистах. И защиты никакой. Одни паразиты кругом. Никто работать не хочет — только контролировать. Да для них какая радость хоть какую-нибудь зацепку, пусть блоншиную формальность выискать! — Он выдохнул и уже спокойнее продолжил: — И я их понимаю. Им же надо как-то свое существование оправдать. Вот и роют. Кроты!

Он снова махнул рукой и поглядел на Сергея.

— Выпить хочешь?

У Сергея аж горло сжалось, как-то сразу само собой представилось, как тепло и легко сейчас может стать телу, и все проблемы растают вместе с этим накаत्याющим теплом.

— Хочу. — Но тут же вскочил как солдат при появлении начальства. — Но не буду.

— Чего так? — удивился Василич. — Тебе-то после вчерашнего даже рекомендуется. — Он глумливо хохотнул, но видя, как сжалось и сморщилось лицо Сергея, пожалел его: — Ладно, с кем не бывает. Ты, конечно, лишканул вчера. Но в общем-то ничего плохого не сделал. Просто повнимательнее будь. Там-то мы уж все свои были, ладно... Похмелись, правда полегче станет.

Он поднялся, подошел к шкафам и открыл одну из дверей, где — все знали — у него был оборудован маленький барчик.

Сергей сидел, опустив голову, и сам не зная откуда взялось, выдавил из себя:

— Так ведь пост начался... — и покраснел.

— Какой пост? — не понял Василич.

— Великий.

— А-а... Ты чего, православный, что ли?

Сергей еще больше покраснел, но врать не стал.

— А вы?

— Вопросом на вопрос только иудеи отвечают... А я... Я Бога не боюсь. Все мы тут не пойми кто и не пойми под кем ходим...

Василич закрыл дверцу барчика.

— Вот, испортил настроение. А без удовольствия пить, все равно, что...

Он вернулся за стол.

Сергей Иванович вышел из кабинета и в конце коридора сразу увидел четко на фоне окна, словно вырезанную, черную фигуру женщины. Что-то потянуло к ней. Он даже и не знал, чем поможет. Может, хотел просто утешить, подбодрить...

Она подняла на него влажные глаза и он увидел в них, нет, не осуждение, а тоску.. И тоска эта была, конечно, не по той пенсионной подачке, а о чем-то большем, словно она тосковала о всех сразу и о нем, Сергее, тоже.

— Простите, — тихо сказал он. — Вы не могли бы рассказать, в чем у вас проблема. Может, я могу чем-то помочь...

Глаза ее медленно возвращались в действительность, она всхлипнула и поднесла к ним платочек.

— Да что тут, сынок... Вот уже второй месяц мыкаюсь... И все один к одному. Сама и виновата. Надо было сразу.. Муж вот умер как полгода, а я все пенсию никак не могу его получить. А мне говорят, вдовам-то положено. Документы-то сгорели, пожар у нас был, все сгорело. И нет ничего. Не верит никто, что он всю войну прошел. Будто и не было ее, войны той. А вот же, вот они, медали-то... — Она вдруг судорожно полезла куда-то за пазуху пальто, достала сверток, он как-то сам собой раскрылся в ее руках, и Сергей увидел несколько металлических потускневших кружляшков, с такими же потускневшими лентами. — Вот же они, вот... А документов нет на них, ты, говорят, на рынке их купила... Сгорело все, сгорело... Ей-богу, мы после войны лучше жили...

— Вы подождите здесь, посидите, только не уходите никуда, — заторопился Сергей. — Я сейчас.

И он чуть не бегом кинулся обратно в кабинет к Василичу.

Василич стоял у окна, созерцая голубей.

— Слушай, Василич, у нее ведь и медали есть, — сказал Сергей, словно все это время они только об этой старухе и говорили.

— Да видел я... — тот отвернулся от окна, посмотрел на Сергея. — Может, все-таки выпьешь?

Сергея на этот раз нехорошо передернуло.

— Ну-ну, — пробормотал Василич и пошел к барчику. Открыв его, налил себе пузатую рюмку водки, в глоток выпил ее и запил минералкой. Потом вернулся за стол. — И властей я тоже не боюсь, — непонятно к чему и, наверное, отвечая на какие-то свои мысли, сказал и хлопнул рукой по крышке стола. — Ладно, хрен с ней. Зови. А то ведь и впрямь достала...

Сергей выскочил из кабинета и побежал к темному силуэту у окна. Подхватил под локоть старушку, она оказалась необычайно невесома, и повлек ее по коридору, приговаривая по дороге:

— Идемте, идемте скорее. Василий Васильевич очень хороший человек, он все сделает. Все будет хорошо.

Он открыл дверь кабинета, и старушка, не проронившая до этого ни слова, обернулась и тихо сказала:

— Спасибо, сынок, — и поклонилась, не телом, не кивком головы, а только глазами.

И Сергей ответил тем же. Дверь закрылась, а ему стало безотчетно хорошо, словно и вправду все начинало налаживаться и это старушечье «спасибо» было как отпущение грехов.

Неожиданно колыхнулось внутри и раздалось по телу гулким эхом, словно отзываясь на далекий звук. Потом еще и тут Сергей сообразил, что это звонят колокола единственной в городе церквушки. И странно было, что теперь он слышит ее. Церковь находилась в трех кварталах и, отгороженная новыми застройками, знать о себе не давала. Нет, конечно, Сергей знал, где она находится, он даже бывал в ней последнее время: новый мэр оказался не чужд новым веяниям и по большим праздникам церковь посещал. Разумеется, за ним шла вся администрация. Последний раз Сергей в храме был на Сретенье. Сергей запомнил название — оно понравилось ему напевностью, мелодичностью, в нем чувствовалось доброе и нежное, обещание светлого, и что-то очень материнское — из детства. Его удивило, что было много народа, хотя день был будний и в храме были не только старушки, наоборот, их было даже меньшинство, но было много его ровесников, и, самое удивительное, много детей. Двое мальчиков лет девяти-десяти в золотых одеждах выносили перед священником, когда тот читал Евангелие, свечи, и Сергею почему-то очень вдруг захотелось, чтобы на их месте сейчас оказался его сын Валерка, и ему представилось, как бы он сейчас тут мог стоять и как бы он тогда радовался и гордился бы им.

Сергей вспомнил, что в тот же день предложил за ужином как-нибудь сходить в церковь, да хоть бы в ближайший выходной, но все это как-то забылось, затерлось, в выходные оказалось надо ехать к теще в деревню, на другие выходные выпал день рождения приятеля по институту, потом масленица эта...

Сергей поднялся, быстро оделся, выскочил в коридор и наткнулся на своих акселератов. Те удивленно посмотрели на одетого шефа.

— У меня срочно, — выпалил Сергей и никак не мог сообразить, что бы такое соврать. — Вызывают, одним словом, — махнув рукой, пустился к входной двери.

Он выскочил — и застыл. Мир потряс свежестью и весной! Солнце светило вовсю, воздух был прозрачен и чист. Сергей снял шапку, и тут же на него капнуло сверху; он поднял голову — над крыльцом блестел ряд сосулек. Сергей чуть отступил, подставил ладони и, собрав несколько капель, умылся

ими, теперь и сам он себя почувствовал пусть и не таким чистым, как окружающий его мир, но приобщенным к нему.

Быстрым шагом он обогнул здание администрации и направился к церкви.

Церковь была небольшая, главную снесли еще в тридцатые годы, а эта, деревянная, на вид убогонькая и неказистая схоронилась каким-то чудом почти на окраине не разросшегося тогда города.

Впрочем, вид у нее, как и у всего окружающего, тоже был праздничный, зеленые стены — храм Троицкий — и голубой купол, словно были наново выкрашены.

Сергей отметил все это в одно мгновение и еще заметил, как интересно меняется время и пространство — вот в него сразу вошел целиком и весь облик храма, причем даже и с тех сторон, которых он сейчас никак не мог видеть, словно он видел его со всех точек сразу и иным зрением, и в то же время он успевает об этом подумать, осознать и воспринять, как нечто само собой разумеющееся.

Он поднялся на крыльцо, перекрестился, открыл дверь и сразу остановился в притворе, остановленный хором:

Помилуй мя, Боже, помилуй мя...

И он всем своим существом узнал, что это то самое чувство, которое только что отозвалось у него гулким эхом, когда он еще сидел в кабинете и только услышал, нет-нет, только почувствовал звук колокола.

Сергей под мерный голос священника осторожно ступил в церковь и тут же стал, опустив голову. Впрочем, он и не смог бы пройти — народу в храме было много, пожалуй, даже больше, чем на Сретенье.

И снова с хоров расходилось протяжное, как русская песня, и вместе с тем отчего-то радостное:

Помилуй мя, Боже, помилуй мя...

Из того, что читал священник, Сергей мало что понимал, доходили отдельные слова, но он точно чувствовал, что он говорит, само чтение сливалось в одну песню. Он уже точно знал, когда хор запоет, и сам пел вместе с ним. И возникшее чувство скорби и радости не оставляло его. Это было странное чувство — и скорби и радости. Станным было то, что эти оба чувства возникали одновременно, существовали вместе, и в то же время не сливались и не смешивались, и от того было ощущение присутствия в каком-то ином, запредельном мире.

И даже внешне все соответствовало этому иному — все люди были в черных одеждах (и Сергей порадовался, что не стал надевать обычный костюм, а выбрал черный свитер), но какие светлые были лица!

Вдруг все вокруг стали становиться на колени. Сергей сделал движение, но шальная мысль пронеслась, что по мартовской погоде, пол грязен, и брюки можно замарать, он вдруг оказался один высоко стоящий среди всех коленопреклоненных. Пробил стыд и перед людьми, и перед собой, но — что уж теперь — раз не встал со всеми, так и надо бы держаться до конца, но то, что произнес священник повергло его ниц:

— Душе моя, душе моя, восстании, что спиши? Конец приближается и имаша смутитесь: воспрями убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый, и вся исполняй.

И снова зазвучало:

— Помилуй мя, Боже, помилуй мя...

Потом он еще со всеми коленопреклоненно молился и это уже не вызывало у него каких-то посторонних помыслов, а наоборот, радость общности с этим иным миром, причастности к нему.

...Теперь он летел с таким чувством домой. И, забежав, первое, что у него вырвалось, было:

— Помилуй мя, Боже, помилуй мя...

Жена удивленно посмотрела на него.

Сергей виновато улыбнулся:

— Я... то есть... я хотел сказать... прости меня... — и добавил: — Христа ради...

СТИХИ ПОЭТОВ АРМЕНИИ

Сергей КУРАЗЯН

АРМЯНСКИЙ АПОКАЛИПСИС

Землетрясение — беда, что запомнишь навеки,
как геноцид, что армянам пришлось пережить...
С грохотом камни несутся со скал, будто реки,
чтоб на пути своем гнезда греха сокрушить!
Землетрясение — томящая душу загадка.
Богоотступникам в эти мгновенья — не сладко.

Вот и сегодня — потомки вчерашних злодеев,
прелюбодеев и жуликов (вам говорю!),
множество зла на земле этой людям содеяв,

пусть не пытаются лезть пряником к алтарю,
пусть не болтают, что родом они — из армян,
и что они — по законам живут христиан.

Те, что цинизмом налиты, как бочки — отравой,
знают пускай, что армянского племени дух —
встанет еще из-под этих развалин со славой,
наши невзгоды и боль исцелив, как недуг.
Те же, кто предал родные селенья и горы —
будут достойны презрения лишь и позора.

Серо АНТОНЯН

ЖУРАВЛИ

«О, странствующие миром журавли!
Откуда к нам вы, из какой земли?»

«Мы — из Бингёла, где ночные звезды
спать в родники слетают, точно в гнезда».

«Мы — из Сасуна, из Эрзрума, Ванна.
Не погубите синеву Севана!»

Я слышал птичьи крики до зари:
«Куда исчез прекраснейший Гюмри?»

И до тех пор, пока дымилась зорька,
они рыдали в высях горько-горько...

Потом опять, летя равниной древней,
они вскричали: «Тут была деревня!»

И лился крик их, словно кровь, на горы,
напоминая нам о страшном горе...

«О, мореходы неба, журавли!
Откуда нам вы скорби принесли?
Ах, журавли! Вы слышите наш крик?
Нам нынче тоже нужен Андраник,
мы снова в горе, в плаче и нужде —
и нам сегодня нужен новый Нжде...»

Лена АНТАРАНЯН

7 ДЕКАБРЯ 1988 ГОДА

Нескончаемые панихиды,
литургии, молебны, плач
и мучительный привкус обиды
на судьбу (но она ль — палач?..).
Души тех, кто пропал без вести,
бродят брошенно по мирам.
Как нам впредь говорить о чести?
Как нам к Богу являться в храм?
Нынче, кажется, вся природа
панихиду вокруг творит
по истерзанному народу,
чья душа, как свеча, горит.

Не спешите, прошу, рассветы —
вы, высокие, точно храм,
передайте поклон планеты
моим синим от слез горам.
Сладко ль слушать им плач гортанный
да тоскливый звук панихид?
Мое сердце — сплошная рана,
и она все болит, болит...

Андраник КАРАПЕТЯН

ТАНЕЦ СМЕРТИ

Кровь текла, а совесть голосила —
так, что горлом тоже кровь пошла.
Смерть вошла — и тихо пригласила
в хоровод недвижимые тела.

Был ли это белый танец, черный?
Или все кружилось просто так?
Всех готов вместить был зал просторный:
тех — Ленинанкан, а тех — Спитак.

Кто-то здесь познал души рожденье,
кто-то — осознал свою любовь.

Но покрыла все, как наважденье,
черная, клокочущая кровь.

Что осталось? Выть до поднебесья,
век вина за страшные дела...

...Хорошо б, чтоб этой боли песня
на Земле — последнею была.

Грачья САРУХАН

ПОМИНАЛЬНОЕ СЛОВО

Памяти жертв декабря 1988 года

Жизнь колесит по Вечности орбите,
печальных дат продляя скорбный ряд.
Ну как произнести: «Спокойно спите», —
когда вокруг рыдания стоят?

Как черный сон, упал на нашу землю
тот судный день седьмого декабря.
Мольбы напрасны — боги им не внемлют,
когда считают жертв у алтаря.

Творя поминки, все не судачим.
Нам черным снегом души занесло.
Ну как понять — то ль мы о мертвых плачем,
то ли они скорбят о нас без слов?

О, Мать Божья и Христос кудрявый,
и всех святых резной иконостас!
Мы жили вашей святостью и славой,
и светом Правды, льющимся от вас.

Неужто вечным будет наказание,
и только Страшный Суд освободит
нас от грызущей горечи незнания
того, кто горше и сильнее скорбит:
то ль мы — о тех, кто погребен в могилах,
то ли они о нас — живых и милых?..

Размик ПОГОСЯН

ПЛАЧ ДУДУКА

Цветущие подснежники — как свечи,
что ровным светом над землей горят.
Кто соберет их, чтоб вручить при встрече
любимой, согревая ее взгляд?

О, сверстники мои, что не проснулись
в ту страшную, расколотую ночь!
К вам счастье шло вдоль этих древних улиц,
Но дикий ужас выгнал его прочь.

О, души, не узнавшие слиянья
в любви и счастье!.. Белые снега —
как свечи, источают в мир сиянье...
(А над сияньем — черная дуга!)

Трель соловья или свирелей трели
должны бы вам дарить сейчас свой звук.
Но, в мозг впиваясь монотонной древью,
звучит дудук... рыдающий дудук...

Манвел МИКОЯН

АРМЯНСКИМИ КРУГАМИ АДА

Ах, Данте, твой «Ад» — лишь пародия,
увидел бы ты хоть на час
то горе, что видел в народе я,
когда смерть ходила средь нас:
детей, в колыбелях раздавленных,
погибших во сне стариков,
невест, без любимых оставленных,
не знавших любви пареньков...

Армения! Горести родина!
Страна моя — ты инвалид.
И хоть улыбаться мы пробуем,
а сердце болит и болит.

Ах, Данте, тебя б покорило
от мысли, что тысячи раз

ты мог быть в земле похороненным
со всеми, кто умер в тот час!

Где взял бы ты сил для поэмы
среди рухнувших труб и столбов,
и зданий, чьи голые стены —
как стенки открытых гробов?
Когда бы под тягостный причет
узнал ты внезапно, что тут —
лежит и твоя Беатриче
в одной из дымящихся груд.
Когда бы под рухнувшей крышей
знакомого дома в ночи
ты голос знакомый услышал
и бросился рыть кирпичи.

Прости нас, как Бог нас прощает.
Ты, Данте — счастливый поэт!
Поэма твоя упрощает
ту боль, что является в свет.
Мы люди. Нам дружба — награда.
«День добрый!» — мы всем говорим.
(А сердце кричит, что неправда —
в том дне мы доньне горим!..)

Но боль нас не сломит веками —
с народом не справиться ей.
Мы все имена, как на камне,
на памяти выбьем своей.

Пусть зло изгибается коброй —
не станем дрожать перед злом,
а скажем средь ночи: «День добрый!» —
чтоб мир согревался добром.

Пусть нового горя объятья
к нам тянет судьба через тьму —
знать, вечно с Христом на распятье
народу идти моему..

Перевел с армянского Николай ПЕРЕЯСЛОВ

КЕСАРЬ И ХУДОЖНИК

Прежде чем рассказать о первых шагах (точнее, их попытках) Бунина на пути к Родине, следует вкратце описать, что же происходило в эмигрантской среде по отношению к этому единственно важному вопросу, которым жили все без исключения. В последнее время появилось немало источников, позволяющих заглянуть в ушедший уже мир. Изданы книги писателей-эмигрантов первой волны (впрочем, когда говорят о «второй» и «третьей» волне, следует иметь в виду: то была не эмиграция, а сугубо политическая разрушительная акция, умело направляемая, финансируемая и подогреваемая спецслужбами США), появились интереснейшие воспоминания Одоевцевой, Шаховской, Зайцева, Алданова, Дона Аминадо (Шполянского), Любимова и других. Назову и серьезнейшее исследование нашего современника, тоже познавшего горечь чужбины, Михаила Назарова, названное бунинским определением — «Миссия русской эмиграции».

Наиболее остро перед эмигрантами встало два вопроса, на которые они должны были найти ответы и от верного решения которых зависели их жизни и



Окончание. Начало в №1-2 за 2010 г.

ОСОБЕННЫЙ ПУТЬ РОССИИ

судьбы: «Как случилось, что Россия рухнула во тьму?» и «Что нужно делать, чтобы вернуть ее из небытия?»

Там, в зарубежье, стали видней и собственные грехи, и движущие силы происшедшей катастрофы. Стало ясно, кто стоял за спиной большевиков, финансировал их и всячески способствовал перевороту. Куда конкретней и очевидней увиделась и роль интернационального еврейства и еврейского капитала, и влияние масонства, приведшее «промасоненную» правящую верхушку России к предательству страны.

А поведение самого русского народа? Из обращения архиепископа Иоана (Максимовича) на Втором Всезарубежном Архиерейском Соборе в Югославии в 1938 году: «Русский народ весь в целом совершил великие грехи, явившиеся причиной настоящих бедствий, а именно: клятвопреступление и цареубийство. Общественные и военные вожди отказали в послушании и верности Царю еще до Его отречения, вынудив последнее от Царя, не желавшего внутреннего кровопролития, а народ явно и шумно приветствовал совершившееся, нигде громко не выразив своего несогласия с ним. Между тем здесь совершилось нарушение присяги, принесенной Государю и Его законным наследникам, а кроме того на главу совершивших это преступление пали клятвы предков — земского Собора 1613 года, который постановления свои запечатлел проклятием нарушающих их. В грехе цареубийства повинны не одни лишь физические исполнители, а весь народ...» Позже протоиерей Зарубежной Церкви Георгий Граббе повторит этот вывод: «Монархия рухнула в России именно потому, что народ оказался духовно-нравственно неспособным для дальнейшей жизни на православных государственных началах...»

Во всей сложности и противоречивости настроений эмигрантской среды «путь в Россию» виделся как *скорое* возвращение (одним — возвратом к февралю, другим — к монархии). Лелеяли мечту, что «большевистского ига» народ долго не потерпит. Но были и те, кто не питал иллюзий — «гражданская война проиграна окончательно. Россия давно идет своим, не нашим путем... Или признайте эту, ненавистную вам Россию или оставайтесь без России, потому что «третьей России» по вашим рецептам нет и не будет» (из сборника статей «Смена вех», 1921 г.).

Сменовеховцы дерзнули заявить эмиграции, жившей надеждами на скорое падение большевистского режима: «Советская власть сохранила Россию — Советская власть оправдана, как бы ни основательны были отдельные против нее обвинения... Самый факт длительности Советской власти

доказывает ее народный характер, историческую уместность ее диктатуры и суровости».

Метафизический смысл свершившегося остро почувствовал, например, Максимилиан Волошин (1921 год):

*Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихи,
И из недр обугленной России
Говорю: «Ты прав, что так судил!»*

А пятнадцать лет спустя (1936 год) другой поэт-изгнанник Игорь Северянин писал:

*От гордого чувства, чуть странного
Бывает так горько подчас:
Россия построена заново
Другими, не нами, без нас.
Уж ладно ли, худо ль построена,
Однако построена все ж:
Сильна ты без нашего воина,
Не наши ты песни поешь.
И вот мы остались без родины,
И вид наш и жалок, и пуст,
Как будто бы белой смородины
Обглодан раскидистый куст.*

Удивительное стихотворение. Печальная песнь всей белой эмиграции...

Не о том ли в начале 30-х годов писал в своем дневнике эмигрант, священник Русской Православной Церкви за рубежом Александр Ельчанинов: «В нашей эмиграции есть и такая точка зрения, что в России только мрак, кровь и грязь, что искру истины спасла только эмиграция. Психология варягов, ожидающих призвания вернуться и зажечь огонь во мраке. Пока здесь такие настроения, мы не смеем вернуться туда, где люди кровью отвечают за свою веру и за все, что мы тут имеем даром и о чем «разговариваем», но чем мало живем»...

Еще более определенно высказался в 1946 году Гайто Газданов, тоже писатель-эмигрант: «И вот оказалось, что с непоколебимым упорством и терпением, с неизменной последовательностью Россия воспитала несколько поколений людей, которые были созданы для того, чтобы защитить и спасти свою родину. Никакие другие люди не могли бы их заменить, никакое другое государство не могло бы так вы-

держат испытание, которое выпало на долю России. И если бы страна находилась в таком состоянии, в каком она находилась летом 1914 года, вопрос о Восточном фронте очень скоро перестал бы существовать. Но эти люди были непобедимы».

Сходные взгляды имели и «евразийцы», усмотрев в сталинском большевизме опять-таки метафизическое предопределение — спасти Россию от европеизации. Он, сталинский большевизм, уберег ее от превращения в безликую мешанско-буржуазную страну.

Эмигрантская молодежь объединилась в организацию «младороссов», объявившую своей задачей пробудить национальную Россию. Были и другие течения, так называемые «пореволюционные», принимавшие Россию такой, какой она стала, но соединяли это видение с необходимостью «национального преобразования». Все эти настроения «общей судьбы с народом» породили первую волну «возвращенцев» в СССР. Во многом эта акция была инсценирована масонством и «московскими сферами» — с целью раздробления и разложения эмиграции...

Усилия Сталина по реабилитации русского национального сознания, русской истории, литературы, очищение властных структур от «интернационалистов», медленный поворот к сближению с Православной Церковью отозвались и в эмигрантской среде — в СССР возвратилась еще часть их (в том числе Александр Куприн).

По мере того, как укреплялась советская власть в СССР, видоизменялись антикоммунистические силы в Европе, что, в свою очередь, не могло не влиять на взгляды эмигрантской среды. Возникали разногласия, расхождения путей прежних союзов и движений, формировались новые.

Немало надежд в канун новой войны связывалось с немецким национализмом, с Гитлером. Один из спорных вопросов в разногласиях эмиграции — допустимость иностранной интервенции как важнейшего фактора «освобождения» России от «большевистского ига». Лидеры «Национального фронта» заявляли, например, следующее: «Всякое худшее будет хотя и злом, но все же неизмеримо меньшим, чем иудосталинизм... Поэтому мы полагаем, что всякая внешняя война кого бы то ни было против СССР — это удар по стенам и проволоке советской каторги... Нас называют «пораженцами». Если пораженцами российских интересов — это неправда... Если пораженцами Сталина и Ко — это верно... Да, мы интегральные и перманентные «пораженцы» Советской власти во имя спасения России...»

Была, странно это осознавать, иллюзорная надежда найти союзников «русского дела» хоть в лице самого черта! Как будто можно было вписать идеал спасения родины в завоевательную доктрину врага ее?

Но по-настоящему — уже не только мировоззренчески — раскол эмиграции произошел с нападением Германии на Советский Союз. Кто в этих обстоятельствах оказывался для России меньшим злом — «коммунистический тиран» Сталин, поднявший «братьев и сестер» на священную войну, на защиту Отечества, или национал-социалист Гитлер, объявивший крестовый поход против иудо-большевизма?

Трудность выбора была в каждом конкретном случае и в том, что выбор неизбежно затрагивал сложную нравственную проблему. Левые либералы стали, по сути, на сторону сталинской борьбы с гитлеризмом. «Кто бы ни руководил русской армией в ее героической борьбе, мы всей душой желаем России полной победы... Мы никак не призываем к насильственному свержению советской власти, зная, что такое во время войны перемена государственного строя», — писал «Новый журнал».

Даже масон Павел Милюков в статье «Правда о большевизме» выразился предельно ясно: «Вы не за Сталина? Значит вы за Гитлера!»

Категорически отрицал возможность участия в иностранной интервенции генерал Антон Деникин:

«Оборончество» укреплялось и очевидной опорой Сталина на русский патриотизм. Была надежда, что коммунистический режим сменится торжеством национальных российских ценностей.

И «оборонцы» и «пораженцы» в ходе войны, как и следовало, лишились иллюзий — судьбы мира (и России) решались не в умозрительных схемах, а на кровавых российских полях, где грудью встали на защиту родины те, кого эмигрантский мир знал мало.

Было и еще одно направление, высказанное лидером национально-трудового Союза Нового Поколения (НТСНП) В. Байдалаковым накануне войны: «...у русской совести может быть только один ответ: ни со Сталиным, ни с иноземными завоевателями, а со всем русским народом... Никто не отрицает, что борьба на два фронта — с завоевателями извне и с тиранией изнутри — будет весьма тяжелой... Этот путь избрал Союз, и мы утверждаем, что он единственно правильный... Россию спасет русская сила!».

Что ж, нравственно-безупречная цель. Но что значило это зернышко между двух жерновов, двух противостоящих миров?

Здесь приведены лишь краткие сведения о направлениях умов, бродивших в эмигрантской среде накануне войны и в годы ее. Все, о чем мечталось, с чем связывались надежды, не стало той почвой, которую надеялись обрести многие изгнанники. Для русского человека — весь мир чужбина. И твердо стоять на ногах он может только в России.

К окончанию войны «оборонцы» проделали серьезную эволюцию в сторону признания исторической правоты установившейся в России власти. 12 февраля 1945 года представители этой части эмиграции нанесли исторический визит советскому послу в Париже А. Е. Богомолу. Во время встречи бывший посол Временного правительства во Франции В. А. Маклаков выразил готовность «признать, что советская власть — национальная власть и противодействие ей прекратить... Самого крушения советской власти мы уже не хотим».

(Эта группа, кстати, вся целиком состояла из масонов — что само по себе парадоксально). Леволлиберальный фланг эмиграции критически отнесся к визиту группы Маклакова в советское посольство. Но и внутри его осуждения или неприятия советского патриотизма уже не было.

Бывший министр Временного правительства А. И. Коновалов писал тогда: *«Столкновение народа и власти не могло быть вечным. Заслугой власти было вовремя и умело уловить проявления народом воли по защите страны... В войну произошла «смычка между народом и властью... В известной степени власть искупила многие свои злодеяния и прегрешения в прошлом...»* И считал, что такая власть — уже «национальная» власть России.

А что происходило в литературной среде? Той, что окружала Бунина и где процессы размежевания шли и острей, и мировоззренчески более «доказательней»?

Дмитрий Мережковский на своих философско-эстетических вечерах проповедывал интервенцию как «великий шанс» для спасения России: *«Как будет ужасно, если вновь, как в польскую войну 1920 года, кто-то в эмиграции проявит постыдную мягкотелость и не пойдет вместе с теми, которые всей своей силой нагрянут на советскую власть! Мы должны помнить, кто наш враг! Надо пожертвовать временными интересами России. Мы победим! Ибо небо на нашей стороне!»*

Вернулись на родину А. Ладинский, И. Голенищев-Кутузов, О. Софиев, А. Роцин...

Эмигрантская литература вырождалась — и это было закономерно. Совершенно прав в своем выводе Лев Дмитриевич Любимов, написавший горькие, но точные слова: «Историческая несостоятельность русской белой эмиграции про-

явилась уже в том, что она оказалась способной питать своей идеологией только одно поколение...»

Дальше пошел процесс гниения...

Борис Зайцев не верил в победу русского оружия. «Да нет же, нет же, — утверждал он, — это только фикция отпора, фикция сопротивления. Ох, не верю я в новую отечественную войну. Где уж нам, русским, задерживать вермахт!» И остался верен своим убеждениям: «Всегда восставал против большевиков и буду восставать, что бы ни случилось!»

Марк Алданов уехал в Америку и также остался на позиции «неприемлемости большевиков». Зинаида Гиппиус так и умерла, не «согласившись» с победой Советской Армии. Иван Шмелев остался верен «своей» России. Алексей Ремизов признал после войны свои антисоветские заблуждения и в 1946 году стал гражданином Советского Союза.

Интересно привести здесь взгляды Павла Милюкова на то, где и с кем быть русской эмиграции, высказанные им в 1939 году: *«Когда видишь достигнутую цель, лучше понимаешь и значение средств, которые применены к ней... Ведь иначе пришлось бы беспощадно осудить и поведение нашего Петра Великого... Советский гражданин... гордится своей принадлежностью к режиму... А главное, он не чувствует над собой палку другого сословия, другой крови, хозяев по праву рождения...»* (Как в связи с этим характерно высказывание президента Франции де Голля в письме З. Шаховской после прочтения ее книги «Моя Россия в одеждах СССР». Суть его — во что бы Россию ни одевали, «ничто не может переменить ее сущности очень большого, очень дорогого, очень человеческого народа нашей общей земли!») На многих эмигрантов эти слова авторитетнейшей личности, какой был Милюков, оказали благотворное влияние — они стали активными участниками движения Сопротивления... Но в его же высказывании и оправдание, если хотите, жестокости Сталина, как руководителя государства, в неимоверно тяжких обстоятельствах решавшего дела исторической и жизненно-необходимой важности.

И упоминание имени Петра тут вовсе не случайно. Напомню другие строки, ему посвященные: *«С Петра Иначинается особенно поразительные и особенно близкие и понятные нам ужасы русской истории. Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь четверть столетия губит людей, казнит, жжсет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует... Сам, забавляясь, рубит головы, ездит с подобиями креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий — ящичками с водкой... коронует*

блядь свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына... и не только не поминают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему»... Сильно сказано! А ведь эти слова не кому-нибудь принадлежат — самому Льву Толстому...

Так почему же с таким остервенением «громят» Сталина велеречивые «правдолюбцы» и защитники (задним числом!) «прав человека»? Тут вопрос в том — кто они и кому это нужно. Для меня давно очевидно — только не России и не русскому человеку!

Перед таким вот непростым выбором стоял Бунин сразу же после войны — стать гражданином СССР или же отвергнуть «притязания» на свое имя. Но следует подробнее остановиться на предвоенных настроениях Бунина и на той, последней попытке Сталина вернуть писателя на Родину после победоносной войны, которую предпринял Константин Симонов. А также коснуться того, безусловно, активного влияния, что оказывали определенные силы на него, на всю русскую эмиграцию.

Приведу свидетельство эмигранта, в 1947 году вернувшегося на родину, врача Бориса Александровского («Из пережитого в чужих краях»):

«В 1946 году подготавливавшаяся в тайниках государств капиталистического лагеря «холодная война» всплыла на поверхность международной политической жизни... Случилось это внезапно, точно по команде или по взмаху палочки невидимого дирижера.

Из гроба встали давным-давно похороненные реальной жизнью мертвецы. Они заговорили сразу и все вместе. Они подали друг другу руки и выкинули покрывшийся плесенью флаг с начертанным на нем лозунгом: «Борьба с Советской властью до победного конца!»

Из-за океана подал голос Керенский. Там же завозилась с объединением всех антисоветских элементов графиня Толстая (дочь Л.Н. Толстого):

«Братья вольные каменщики» (масоны. — В.П.) по указанию своих «досточтимых» прекратили пение дифирамбов Советскому Союзу и перестали кланяться при встрече с репатриантами. Духовенство и миряне, руководившие парижским Богословским институтом, поспешили порвать связь с Московской патриархией...

Вчерашние лжепатриоты в один миг отмежевались от своих бывших друзей, приятелей, знакомых, у которых в карма-

нах был советский паспорт. На улице Ампер открылось какое-то «общество помощи беженцам интеллигентных профессий русского происхождения», взявшее на учет сотни «невозвращенцев» и выдававшее ежемесячно каждому из них по 4 тысячи франков безвозвратного пособия. Те из старых эмигрантов, которые решили навсегда остаться в антисоветском лагере, вдруг стали получать из-за океана продовольственные и вещевые посылки... кругом слышалось более ничем не сдерживаемое злобное шипение, и сквозь него слух улавливал мягкое шуршание долларовых кредиток.

Иностранцы разведки принялись за работу... Большое участие в этой кампании приняла масонская организация. Послушные рабы, исполнители воли верховного органа масонства, через промежуточные инстанции первичных лож русские зарубежные масоны первыми выдали эту тайну.

Еще вчера они восхваляли Советский Союз, восхищались его силой, величием и мощью. И вдруг они все сразу повернули фронт на 180 градусов. По всем масонским ложам была дана команда, смысл которой в общих чертах сводился к следующему: «Считать врагом каждого, кто активно или пассивно, вольно или невольно, словом, делом или помышлением поддерживает Советский Союз...»

И все же указы Президиума Верховного Совета СССР 1946—1947 годов о праве предоставления советского гражданства бывшим гражданам Российской империи были восприняты огромным большинством эмигрантов с воодушевлением. Полубесправные, жившие по нансеновским паспортам (их выдавала беженцам Лига Наций), испытывавшие бюрократическую дискриминацию чиновников и полиции, люди обретали уверенность — ведь советский паспорт означал принадлежность к великой стране, победившей фашизм.

28 июля 1946 года после издания указа от 14 июля в православном храме Парижа митрополит Евлогий отслужил молебен и произнес проповедь, в которой были такие слова: «Этот день соединения нашего с великим русским народом!» Он, что символично, первым из эмигрантов получил советский паспорт из рук посла А. Богомолова.

Добрая воля Сталина многими эмигрантами была понята как призыв засыпать ров между эмиграцией и родиной-матерью. Но не Буниным...

При всей независимости характера Бунин не мог избежать влияния окружения, как не мог преступить некий нравственный рубикон, воздвигнутый им самим в эмиграции по отношению к «Совдепии» и к собственной роли среди эмиграции. Что ни говори, а он был — пусть на короткий период —

объединительным и гордым символом русского изгнанничества. И внутренне оставался им.

Изменить себе? Шагнуть навстречу «зверю»? Признать историческую правоту этого «зверя» и «кровопивца»? Это ему-то, Бунину, когда-то написавшему полное гнева и призыва к «святому мщению» стихотворение «России»:

*О, слез невыплаканных яд!
О, тщетной ненависти пламень!
Блажен, кто раздробит о камень
Твоих, Блудница, новых чад.
Рожденных в лютые мгновения
Твоих утех — и наших мук!
Блажен тебя разящий лук
Господнего святого мщенья!*
(1922 г.)

В первые эмигрантские годы, наполненные святой ненавистью к вершителям «нового государства», к погубителям исторической России, русской культуры, русских духовных святынь, он, может быть, и вернулся бы в Россию — как набоковский альтер-эго, поэтически, опять же, изображенный в стихотворении «Расстрел»:

*...Но сердце, как бы ты хотело,
Чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
И весь в черемухе овраг.*

Этого не случилось. Остались лишь боль и бесконечный внутренний диалог:

*Благодарю тебя, отчизна,
За злую даль благодарю!
Тобою полн, тобой не признан
Я сам с собою говорю...*

Правда, Бунин и в «Совдепии» был признан не так, не в той мере, как хотелось бы ему, но признание его как большого художника слова очевидно. Хотя вокруг его имени и его произведений шла политическая, в определенной мере, игра. Но творчество какого писателя (за исключением явных конъюнктурщиков и бездарей) в то непростое время воспринималось и оценивалось однозначно? Да и могло ли быть иначе?

И не в жестокости и деспотизме Сталина было дело, как

трактуют это сегодняшние интерпретаторы и комментаторы. Слишком сгущена была грозная атмосфера первой половины двадцатого столетия и в Европе, и в России особенно. Поэтому тютчевский вопрос: «Как наше слово отзовется?» — имел куда более острый смысл и содержание, чем в разжиженном сознании «демократствующих правочеловеков» нашего времени...

Но Сталин, прекрасно разбираясь в литературе и литературном процессе, надо полагать, знал истинную цену Бунину — первому русскому писателю, нобелевскому лауреату. И понимал, что имя его и в эмигрантской среде, и среди извечных врагов России (теперь Советского Союза) используется и будет использоваться в спекулятивных политических интересах. Сам Бунин, кстати, мог и не участвовать в этой игре — он был неким символом, не использовать который в антисоветской (антирусской) тайной войне было бы нелогично. Сталин, по-видимому, желал бы исключить использование имени большого русского писателя в спекулятивных политических маневрах врагов. И если даже не привлечь его, скажем так, в «стан единомышленников» (что было просто невозможно в случае с Буниным), то вернуть писателя России. Как того заслуживал он.

Сталин, надо полагать, никогда не разрешил бы публикации его книг в СССР (а их было несколько изданий и переизданий), если бы видел в нем ярого «антисоветчика» только. За антисоветизмом Бунина очевидно просматривалось и другое — боль о России утраченной.

Сталин эту Россию, ее величие возрождал. В новом качестве, своим путем, в тяжелой борьбе с истинными разрушителями России — бывшими как вне, так и внутри страны, но возрождал. Ее мощь, ее величие, ее независимость. И в литературе в том числе.

Определенные течения эмиграции, надо отметить, прекрасно видели, что усилия «вождя Совдепии» отвечают и их чаяниям. Вот что писала в редакционной статье «На пороге 1935 года» газета «Бодрость!» (№10, 1935 г.), оценивая ситуацию в СССР после убийства С.М. Кирова: *«...убийство Кирова еще теснее сблизило Сталина с «правым» блоком Молотова и Ворошилова. Иначе и быть не могло. Ставка Сталина издавна была на практику, на новых людей, на реальные задачи государства, в противоположность Троцкому, ставившему на теорию, на международную революцию и международные кадры. По мере того, как пробуждались творческие силы русской нации, линия Сталина все больше отходила от теории, политика его все более теряла сектантский характер и приобрела характер государственнический, великодержавный...»*

Чуть раньше, в 1931 году, журнал «Возрождение» (№2) публикует статью своего автора И. В. Степанова «Россия и эмиграция», где есть такие строки: *«Будущие поколения России оценят эти годы по достижениям. Период пятилетки поставится в заслугу Сталину. Жертвы простятся и забудутся. Ведь и мы могли любить С.-Петербург и жить в нем, не задумываясь о том, сколько крови пролил Петр для разрушения старой Руси и сколько костей легло для создания новой России... Положа руку на сердце, не признаемся ли мы друг другу, не в печати, конечно, а между собой, что радуемся успехам пятилетки?.. Днепрострой, Сельмашстрой, Турксиб — разве не равны они многим набегам Наполеона?»*

Сейчас лукаво умалчивают, как поистине общенародно почтили память Пушкина в столетие его гибели в 1937 году. Какими тиражами ежегодно издавались книги русских писателей-классиков. Как поистине обожествлялось значение литературы. Но ведь так было! И это надо знать и помнить...

Весну 1941 года Бунин встречал в подавленном настроении. Да и было от чего печалиться. Нищета, старость, все редющий круг друзей и знакомых. Европа в огне развязанной Гитлером войны. Вторжение в Югославию, Грецию, захвачены Австрия, Чехия, Польша, Голландия, Бельгия, Франция...

И мысли, мысли! Вот дневниковая запись от 23 апреля 1941 года: «34 года тому назад уехали в этот день с Верой в Палестину. Боже, как все изменилось! И жизни осталось на доньшке. Радио, вальс, который играли в Орле на балах и в городском саду...»

Известие о падении Греции и Югославии, умер Иван Шмелев...

2 мая 1941 года: «12 тысяч немцев с танками и пр. в Финляндии — это в швейцарской газете — будто бы идут на отдых из Норвегии. Предостережение Сталину? В пять минут возьмем Птб... ежели ты...»

В эти-то тревожные дни он отправляет (8 мая) из Грасса открытку старому московскому другу — писателю Николаю Телешову. Это была первая весточка от него после двадцатилетнего перерыва. В кратком письме он сообщает о своем житье-бытье, о болезни Веры Николаевны, о голоде. Интересуется делами литературными. Но самое главное — приписка на полях, мелко, но твердо написанная фраза: «Я сед, сух, худ, но еще ядовит. Очень хочу домой».

Кажется, что ради нее-то, этой приписки, и отослал в Москву писатель весточку. Зачем? Ждал помощи? Поддержки в непростом решении — от старого друга? Резонанса в московских кругах?..

Эта фраза, насколько известно, не получила ожидаемой ответной реакции со стороны друга. Но нашла неожиданное отражение в изданной в 1943 году книге Телешова «Записки писателя»: «В том же мае 1942 года умер Иван Алексеевич Бунин. Ему было 72 года... Недавний пример доброго отношения к возвратившемуся в Россию Куприну побудил и его к намерению вернуться на родину, но внезапная война помешала этому. Осталось только его письмо с ярко выраженным стремлением: «Хочу домой!»

К этому фрагменту Телешов вернется в письме к Бунину осенью победного 1945 года, уже открыто «агитируя» последнего к возвращению в СССР: *«Получил твою открытку в 1941 году и не успел ответить, так как налетели на нас фашисты и всякое общение с Европой прекратилось. Затем пришли вести о тебе весьма печальные и я, поверив им, напечатал дома в своей книге воспоминаний «Записки писателя» о тебе то, что по русской народной поговорке обещает тебе долгую счастливую жизнь.*

Дорогой мой, откликнись, отзовись!.. Когда вернулись к нам Алексей Толстой и Куприн и Скиталец, они чувствовали себя здесь вполне счастливыми. Шаляпина и Рахманинова у нас чтут и память их чествуют. Таково отношение у нас к крупным русским талантам...»

Но, оказывается, Бунин послал открытку не только Н.Телешову. Л.И. Толстая вспоминает, что такую же открытку (утеряна) получил в начале июня 1941 года и Алексей Толстой. В ней также описывались, очень сдержанно, трудности грасской жизни. Хотя такого открытого желанья вернуться, как в весточке к Телешову, не высказывалось. Однако Толстой все понял и без того. Он, конечно, знал о письме к Телешову.

Он обратился непосредственно к Сталину, сдав обращение в экспедицию Кремля 18 июля 1941 года. А через три дня началась война... Приведу его письмо полностью:

«17 июня 1941 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович, я получил открытку от писателя Ивана Алексеевича Бунина, из неоккупированной Франции. Он пишет, что положение его ужасно, он голодает и просит помощи. Неделий позже писатель Телешов также получил от него открытку, где Бунин говорит уже прямо: «Хочу домой».

Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример — как нужно обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать его. Мы учимся у него мастерству слова, образности и реализму.

Бунину сейчас около семидесяти лет, он еще полон сил, написал новую книгу рассказов. Насколько мне известно, в эмиграции он не занимался активной антисоветской политикой. Он держался особняком, в особенности после того, как получил Нобелевскую премию. В 1937 году я встретил его в Париже, он тогда же говорил, что его искусство здесь никому не нужно, его не читают, его книги расходятся в десятках экземпляров.

Дорогой Иосиф Виссарионович, обращаюсь к Вам с важным вопросом, волнующим многих советских писателей, — мог бы я ответить Бунину на его открытку, подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на Родину?

Если такую надежду подать ему будет нельзя, то не могло бы Советское правительство через наше посольство оказать ему материальную помощь. Книги Бунина не раз переиздавались Гослитиздатом.

С глубоким уважением и с любовью Алексей Толстой».

Самое поразительное — просьба эта не была забыта Сталиным: сразу же после войны вопрос о возвращении Бунина встал вновь. И, конечно, по инициативе самого Иосифа Виссарионовича. Ниже мы увидим это...

Годы оккупации Бунины (как и все русские) прожили трудно, в отчаянной нужде, голоде, холоде. Вот, например, выдержки из писем Бунина и Веры Николаевны Буниной к Марии Самойловне Цетлин в Америку. Семья Цетлиных, кстати, немало сделала для поддержки Буниных. Шли посылки в Грасс и в трудные годы войны — жалкие крохи, но шли.

«24.01.41. ...До сих пор я из Америки не получил еще ничего и что мы находимся в положении совершенно катастрофическом — доживаем последние гроши, в полном голоде и адском холоде. Помогите через кого-нибудь ради Бога».

«27 апреля 1941. ...Мы питались исключительно овощами, но без картофеля, почти стали травоядными животными... Ваша В.Б.».

Не уменьшилась нужда и по окончании войны. К тому же навалились болезни: сказывался возраст, пережитое...

Трудно сказать, знал ли Бунин о ходатайстве А. Толстого перед Сталиным. Но вот неприятие его, уже «советского», у Бунина оставалось всегда. Дневниковая запись от 10 апреля 1943 года:

«Кончил «18-й год» А. Толстого. Перечитал? Подлая и почти сплошь лубочная книжка. Написал бы лучше, как он сам провел 18-й год! В каких «вертепах белогвардейских»! Как говорил, что сапоги будет целовать у царя, если восстановится монархия, и глаза прокалывать ржавым пером большевикам...»

И опять эстетический протест, через слово, неприятие всего «советского» после прочтения рассказов Зощенко: «Плохо, однообразно. Только одно выносишь — мысль, до чего мелка и пошла там жизнь. И недаром всегда он пишет столь убогим, полудикарским языком — это язык его несметных героев, той России, которой она стала». (Запись от 7 января 1944 г.)

И, спустя две недели, запись от 20 января: «Посмотрел свои заметки о прежней России. Все думаю, если бы дожить, попасть в Россию! А зачем? Старость уцелевших... кладбище всего, чем жил когда-то...»

Это очень важная запись, поясняющая — как серьезно смотрел Бунин на свое возможное возвращение на Родину: он понимал: того, что хотелось бы увидеть, оказавшись там, нет. И не потому, что там «большевистское иго» — ушло само время...

Дневниковые записи 1944 года — гордость за наступление и победы русских. Восторженные, ликующие строчки: «Русские идут, идут»; «Взята Одесса. Радуюсь. Как все перевернулось!»; «Взят Псков. Освобождена уже вся Россия. Совершенно истинно гигантское дело!» Дополняет это бунинское состояние дневниковая запись В.Н. Буниной от 29 августа 1944 года: «Ян сказал: «Все же, если бы немцы заняли Москву и Петербург и мне предложили бы туда ехать, дав... лучшие условия, — я отказался бы. Я не мог бы видеть Москву под владычеством немцев, видеть, как они там командуют... Чтобы иностранцы там командовали — нет, этого не потерпел бы!»

А в самый канун нового, 1945 года дает такую характеристику эмигрантской колонии в Париже: «Русские все стали вдруг красней красного. У одних страх, у других хамство, у третьих — стадность. «Горе рака красит!»

Вообще строчки его дневника за победный, 1945 год, дают очень много в понимании тех, чрезвычайно противоречивых чувств и мыслей, владевших Буниным.

Иронизирует над теми, кто безоговорочно принял победу Советского Союза, как свою, своей родины: «Патриоты», «Amis de la patrie, sovietique!.. (Необыкновенно глупо: «Советское отечество»! Уж не говоря о том, что никто там ни с кем не советуется)».

Саркастически откликается на празднование дня Красной армии (23 февраля): «Какая-то годовщина «Красной армии», празднества и в России и во Франции... Все сошли с ума (русские, тут) именно от побед этой армии, от «ее любви к родине, ее жертвенности». Это все-таки еще не причина». (В эти же дни — поразившее его известие о смерти в Москве Толстого).

24 марта 1945 года: «Полночь. Пишу под радио из Москвы — под «советский» гимн. Только что говорили Лондон и Амери-

ка о нынешнем дне, как об историческом — «о последней битве с Германией», о громадном наступлении на нее, о переправе через Рейн, о решительном последнем шаге к победе. Помоги, Бог! Даже жутко!..»

В записях этих — отражение тех сложных настроений, что происходили в кругах эмиграции Франции с победой русского оружия. Лев Любимов подробно описал — как это происходило: «После освобождения Франции патриотические настроения значительной части русской эмиграции полностью вылились наружу, охватывая все более широкие круги. Порой могло даже казаться, что чуть ли не вся эмиграция, ликуя, приветствует великую победу русского оружия...»

Патриотические чувства захватили и иерархов Русской Православной Церкви за рубежом — митрополит Евгений и митрополит Серафим со своими приходами вошли в каноническое подчинение Московской патриархии.

В эмигрантских кругах, после ожесточенных споров, сформирована делегация для посещения советского посла в Париже. Шаг беспрецедентный, если иметь в виду еще и то, какие фигуры вошли в ее состав: морской министр Временного правительства адмирал Вердеревский, последний посол России в Париже Маклаков, заместитель председателя Российского Общевоинского Союза, объединившего остатки Белой армии, адмирал Кедров.

В числе посетивших посла А. Е. Богомолова был и Бунин... Любимов пишет: «Как рассказывали потом, А. Е. Богомолов предложил делегатам выпить за победоносную Советскую Армию. Вместе с другими поднял свой бокал и адмирал Кедров, в течение почти трех десятилетий упорно отстаивавший боевые антисоветские лозунги Корнилова, Врангеля и Колчака...» Не все однако отождествляли победы Советской Армии с Россией, отделяя, как и прежде ее «от Советов», «от коммунизма»...

Посещение Буниным посла вызвало негодование определенных кругов. Особенно оно усилилось после того, как Бунин вышел из парижского Союза писателей. Руководство Союза вело в это время «чистку», исключая из числа своих членов тех, кто принял советское подданство. Этот шаг писателя повлек резкую критику. В том числе и со стороны М. С. Цетлин, разославшей свое бранное письмо («бессмысленное и безобразное», как охарактеризовала его В. Н. Бунина) Бунину и общим друзьям.

Странно — по мнению Бунина — повел себя и Борис Зайцев. Правда, в своих воспоминаниях «Тринадцать лет» он попытался сгладить свое участие в травле Бунина: «В эмиг-

рации в это время начался разброд. «Большие надежды» на Восток, церковные колебания, колебания в литературном, даже военном слое. Все это привело к расколу. Некоторые просто взяли советские паспорта и уехали на этот Восток. Другие заняли позицию промежуточную («попутчики»).

Странным образом мы оказались с Иваном в разных лагерях — хотя он был гораздо бешенее (т.е. непримиримей по отношению к «советам». — В.П.) меня в этом (да таким, по существу, и остался...). Теперь сделал некоторые неосторожные шаги. Это вызвало резкие статьи в издании, к которому близко я стоял. Он понял дело так, что я веду какую-то закулисно-враждебную линию, а я был именно против таких статей. Но Иваново окружение тогдашнее и мое оказались тоже разными, и Ивану я не сочувствовал. Прямых объяснений не произошло, но он понимал, что я против...»

Бунин посетил советское посольство по приглашению (и указанию из Москвы) посла А.Е. Богомолова осенью 1945 года. И обещал «подумать» относительно перспективы возвращения в СССР.

Волна патриотического подъема нарастала. Желание вернуться на родину было огромное у многих. Действовавший в Париже «Союз русских патриотов» переименовывается в «Союз советских патриотов», а его орган, газета «Русский патриот» — в «Советский патриот».

В значительной мере путь к возвращению ускорило решение Советского правительства от 14 июня 1946 года, предоставлявшее право на восстановление в советском гражданстве бывших подданных Российской империи.

Лев Любимов вспоминает: «...Торжественное собрание в одном из самых больших залов Парижа. На трибуне — посол СССР во Франции А. Е. Богомолов и его сотрудники. Все полно, в проходах толпа. А две трети вставших на улице в очередь за четыре часа до открытия собрания так и не вместились в зале. Выдача паспортов первым двадцати новым советским гражданам. Их вызывают поименно, и посол вручает каждому красную книжечку с золотым серпом и молотом в венке. И каждый раз стены зала потрясают громовые аплодисменты... Тысячи русских людей воспрянули душой в этот незабываемый день, как бы очистились сразу от накипи всех годов прозябания и унижения...»

Из хроники парижских газет: «После Указа Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 года... многие тысячи русских эмигрантов-«апатридов», как их принято называть, стали советскими гражданами и восстановили юридическую связь со своей Родиной»; «...Вышла новая книга А.П. Бурова (друг

И.А. Бунина. — В. П.) и имеется в продаже — «Три баллады. Песнь торжествующей славы спасителю России генералиссимусу И. В. Сталину».

В августе 1947 года «Союз советских патриотов» прекратил существование: возник «Союз советских граждан», объединивший в своих рядах одиннадцать тысяч членов...

Летом 1946 года во Францию едет, по личному указанию Сталина, Константин Симонов. Цель — склонить к возвращению в Советской Союз Бунина и шахматиста Алехина. Его миссию довольно полно отразил в своей книге писатель Аркадий Львов.

Но упоминание о тех днях есть и у самого Симонова, сделанные, правда, много лет спустя. Обратимся вначале к ним.

«Я виделся с Буниным пять или шесть раз в Париже летом сорок шестого года», — пишет Симонов. Наиболее важно, пожалуй, описание первой встречи, которая состоялась в зале Мютюалите 21 июля 1946 года на многолюдном собрании русских эмигрантов, посвященных указу Советского правительства «О восстановлении в гражданстве» от 14 июня этого же года.

«...Я выступал вместе с нашим тогдашним послом во Франции А.Е. Богомолковым на вечере в большом парижском зале, уже не помню, как он назывался. В зале собралось тысячи полторы человек из русской колонии в Париже. Часть собравшихся уже приняла советское гражданство, многие думали об этом. После доклада А. Е. Богомоллова, говорившего о нашей победе и о возможности для возвращения на родину, открывавшихся перед присутствующими, я прочел «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» и некоторые другие военные стихи 1941—1942 годов. Два или три из прочитанных мною стихотворений взволновали зал, и меня долго не отпускали. А потом все кончилось, кто-то из руководителей «Союза советских патриотов» подвел меня к сидевшему в первых рядах Бунину и познакомил меня с ним...»

Бунин и при первой и при последующих встречах... казался мне человеком другой эпохи и другого времени, человеком, которому, чтобы вернуться домой, надо необычайно много преодолеть в себе — словом, человеком, которому будет у нас очень трудно. В моем ощущении он был человеком глубоко и последовательно антидемократичным по всем своим повадкам. Это не значило, что он в принципе не мог в чем-то сочувствовать нам, своим советским соотечественникам, или не мог любить всех нас, в общем и целом как русский народ. Но я был уверен, что при встрече с родиной конкретные современные представители этого русского народа оказались бы для него чем-то

непривычным и раздражающим. Это был человек не только внутренне не принявший никаких перемен, совершенных в России Октябрьской революцией, но и в душе все еще никак не согласившийся с самой возможностью таких перемен, все еще не привыкший к ним как к историческому факту. Он как бы заостенел в своем прежнем ощущении людей, жизни, быта, в представлениях о том, как эти люди должны относиться к нему и как он должен относиться к ним, какими они могут быть и какими быть не имеют права...»

Оценка, что ни говори, глубокая. Хочу обратить внимание лишь на одно слово, вольно или невольно проскользнувшее у Симонова в обрисовке «психологической карты» бунинского характера, — его якобы антидемократичность. На мой взгляд, дело здесь в другом. Бунин был консерватор и традиционалист по убеждениям, мировоззрению и своим взглядам на историческую судьбу России. Он оставался, как и глубоко ощущал себя, представителем русской национальной аристократии, поместного дворянства, веками строившей и укреплявшей империю, державу. Большевизм, умело используемый масонством и мировым ростовщическим капиталом, нанес удар, в первую очередь, именно по такой, сердечно и психологически близкой Бунину России. По сословию, по монархии, по Православию, по империи...

Могли простить это аристократ Бунин? И тем более пойти на какой бы то ни было союз, компромисс с «сатанинской властью»? Вспомним его, очень многое поясняющую, запись, сделанную в 1927 году: «Вся Россия стала мужицкой — и кажется мне пустой, печальной — ни одной усадьбы!»

Симонов искренне хотел возвращения старого писателя домой. Хотя и понимал: «...возвращение будет тягостно для него. Хорошо, если он возьмет советское гражданство, хорошо, если он закрепится на тех максимально близких к нам позициях, на которых он был в то лето, но настаивать на том, чтобы он непременно ехал домой, может быть, не следует: он слишком многого у нас не поймет, не примет, не ощутит себя как дома...»

Здесь следует иметь в виду и влияние окружения Бунина, к мнению которого он был очень даже небезразличен, остро воспринимая все, что касалось его чести, его «дворянской гордости» знающего себе цену писателя. Посол Богомолов в беседах с Симоновым не случайно указывал последнему, «что Бунин живет не в безвоздушном пространстве и есть силы, которые действуют на него в обратном направлении», то есть всячески препятствуя его возвращению в Россию. Что это за силы?

Видимо, в первую очередь те, что стояли за спиной М.С. Цетлин, игравшей огромную роль в судьбе Буниных, опекая писателя еще со времен одесской дружбы.

(Надо заметить, Цетлины, несмотря на все катаклизмы времени, жили всегда очень благополучно, словно бы «по подсказке» опережая события, могшие нанести неприятности непосредственно им — вовремя уехали из Одессы, вовремя — в Америку...)

Трудно объяснить только «вздорным бабьим характером» упомянутое пресловутое послание, порочащее Бунина в глазах эмигрантского окружения. И оно же наталкивает на другую мысль — а была ли так уж бескорыстна материальная «поддержка» Марией Самойловной Буниных в трудные годы?

Поражают и некоторые «оправдательные» ноты в ответном письме Бунина Цетлин (1 января 1948 года): «...изумлен, поражен чрезвычайно тем, что вы это письмо к нам предали гласности с целью, очевидно, очень недоброй, переслали его мне незапечатанное через Зайцевых, а в Америке, как мы узнали это нынче, разослали его копию. Что же до содержания этого письма, то я поражен еще больше: Вы написали его с какой-то непомерной страстностью, местами даже непонятной для меня, сделали из мухи слона, а главное, поступили уж так несправедливо, так поспешно, не разузнавши, как, почему и когда я вышел из Союза...»

И далее объясняет причину: «...считаю неестественным соединение в Союзе эмигрантов и советских подданных», цитирует свое письмо на имя секретаря Союза, указывает на выбор времени выхода. Не потому, что якобы склонен был «взять советский паспорт», а «...просто потому, что жизнь его (Союза) текла прежде незаметно, мирно. Но вот начались какие-то бурные заседания его, какие-то распри, изменение устава, после чего начался уже его распад, превращение в кучку сотрудников «Русской мысли», среди которых блистает чуть не в каждом номере Шмелев, участник парижских молебнов о даровании победы Гитлеру... Мне вообще теперь не до Союзов и всяких политиканств, я всегда был чужд всему подобному, а теперь особенно: я давно тяжело болен... я стар, нищ и всегда удручен этим и морально, и физически, помощи не вижу ниоткуда почти никакой, похоронен буду, вероятно, при всей своей «славе» на общественный счет по третьему разряду... Вы пишете, что «чувствуете» мой «крестный путь». Он действительно крестный. Я отверг все московские золотые горы, которые предлагали мне, взял десятилетний эмигрантский паспорт — и вот вдруг: «Вы с теми, кто взяли советские паспорта... Я порываю с вами всякие отношения...» Спасибо. Ваш И. Бунин».

Здесь для полноты понимания психологического состояния Бунина этих месяцев следует обратиться к его переписке с писательницей Надеждой Тэффи, высоко ценимой им. Из письма Бунина к Тэффи от 2 февраля 1948 года: *«Не хотел я Вас тревожить и гнусными житейскими дрязгами, которые бессилю меня последнее время, — теперь говорю о них... Я довольно безразлично отнесся к дикому письму М. С-ны (Цетлин. — В.П.) но, начавши получать сведения о том, как будто бы осыпали меня благодеяниями из Америки и как я теперь погибну, лишившись их из-за своего «поступка, все-таки понятого всеми не так, как ты его объясняешь», по выражению Зайцева в недавнем письме ко мне, поистине взбесился. Прибавьте к этому, что ведь не одна Вера Алексеевна (Зайцева. — В.П.) оплакивала «бедного Ивана», но и некоторые другие, — например Ельяшевич, сказавший Михайлову, что «теперь американская акция в пользу Бунина рухнула, долларовая помощь прекратилась...» Вы только подумайте: «акция», «рухнула». Слова-то какие! И как несчастен я буду теперь, старый дурак, полетевший в столь гибельную яму из-за своего «поступка»! А ведь сколько долларов загребал еще недавно! На сколько больше всех сожрал чечевицы и гороху!..»*

Горькие слова, но в них — куда более горькая истина: пытались-таки удерживать «благодетели» великого писателя «чечевичной похлебкой». Не мог он пренебречь и достаточно резкой позицией в вопросе возвращения в Советский Союз, занятой самой Н.А. Тэффи. Из письма ее к Бунину: *«Понимает ли она (Цетлина. — В.П.), что Вы потеряли, отказавшись ехать? Что швырнули в рожу советчикам? Миллионы, славу, все блага жизни, площадь была бы названа Вашим именем, и статуя. Станция метро, отделанная малахитом, и дача в Крыму, и автомобиль, и слуги. Подумать только! Писатель, академик, Нобелевская премия — бум на весь мир... И все швырнули в рожу. Не знаю другого, способного на такой жест, не вижу (разве я сама, да мне что-то не предлагают, то есть не столько пышности и богатства)...»*

В своих оценках поведения Бунина в решении важнейшего вопроса (ехать — не ехать?) Симонов недвусмысленно указывает на еще одну влиятельную силу в окружении его — в лице Марка Алданова. Симонов ссылается на свои разговоры с писателем Георгием Адамовичем: *«Адамович подтвердил мне то, что я уже слышал: что Алданов имел и имеет огромное влияние на Бунина. Мне показалось, что Адамович в душе недолюбливал Алданова, но в то же время отдавал ему должное и говорил, что это человек большой моральной силы. Как я понял из этого разговора, Бунин, решая вопрос о том, ехать или не*

ехать ему домой, и даже о том, брать или не брать ему советский паспорт, оглядываясь на Алданова, боялся его суждений и уж, во всяком случае, считался с ними, с тревогой думал о том, как Алданов отнесется ко всему этому. А Алданов — это можно было заранее сказать — отнесется к идее возвращения Бунина на родину резко отрицательно...»

В своей книге «Люди и ложи» Нина Берберова приводит список русских масонов XX века. Он «включает несколько французских братьев, которые были за их заслуги перед русским масонством кооптированы особым церемониалом в русские ложи, как Досточтимые Мастера». В списке — несколько лиц из ближайшего (и шире — эмигрантского) окружения Бунина — Марк Алданов и одно время служивший секретарем писателя журналист Андрей Седых (Яков Цвибак). Вот что сказано об Алданове: «Писатель, автор исторических романов. Член народно-социалистической партии (трудовик). Киев — Петербург — Париж — Нью-Йорк... Один из основателей парижских лож «Свободная Россия» и «Северная Звезда». В 1940 уехал в США, в 1954 вернулся во Францию и прочитал в ложе доклад о первых шагах эмигрантского масонства в США (о филиале «Северной Звезды»)». Есть свидетельства о масонстве З. Гиппиус и Д. Мережковского...

Трудно судить о влиянии на эмигрантскую судьбу Бунина именно масонства — тема масонства «всегда щекотлива», как, впрочем и сионизма. Упомянутый уже выше Михаил Назаров отмечает огромное психологическое давление на деятелей русской эмиграции: «Редко кто из них мог себе позволить критику масонства, которая неизбежна при христианском понимании смысла истории. Порою и православные авторы делали реверансы в эту сторону (В.Н. Ильин, Г.Федотов, Н.Бердяев, Г.Флоровский)... Даже один из самых правых эмигрантских философов И.А. Ильин... в одном из своих докладов отказывается от политической «бактериологии»...»

Но однозначно указывать на негативное отношение масонов-эмигрантов к «Совдепии» было бы неверно: многие из них принимали активное участие в «возвращенчестве» в 20-е и 40-е годы. Другие сотрудничали с разведками мира, в том числе и советской. Кроме того, пишет М. Назаров, «либерал, при всей его разрушительной безответственности — не обязательно масон». И вместе с тем «проблему масонского влияния следует рассматривать в масштабе общего духовного процесса дехристианизации европейской культуры».

И здесь не могу не привести замечательное по глубине понимания темы влияния европейского масонства на русскую

эмиграцию (а шире — на культурную и политическую элиту СССР) высказывание Льва Любимова еще в 1938 году: «...когда будет возрождаться национальная Россия, политическое масонство, страшась пуце всего торжества в России «проклятых фашистских сил», страшась, что это возрождение нанесет новый удар тем идеям и установлениям, которые были порождены XIX веком, несомненно будет бороться против русского великодержавного и истинно национального оздоровления».

Осмысляя сказанное, думается, становится яснее — кем был Сталин для антирусских сил Европы и Америки. И как важно было помешать ему в его победоносных усилиях создать великую Державу — в большом и малом. В том числе помешать желанию вернуть России Бунина...

Впрочем, писатель-эмигрант, автор ряда антимаасонских книг В.Ф. Иванов в книге «Русская интеллигенция и масонство. От Петра Первого до наших дней» (1934 г.) утверждал: «И.Бунин... при содействии масонов получил Нобелевскую премию, которая, как общее правило, выделяется только масонам». Все эти обстоятельства нельзя не учитывать, говоря о влиянии масона Алданова на Бунина. Ниже я еще раз вернусь к непостижимо-исповедальному тону писем Бунина к нему. А теперь — вновь вернёмся к «миссии» Константина Симонова.

Записки его о встречах с Буниным, безусловно, честны и в главном — описании тех чувств, что терзали Бунина, — верны. Не доверять его рассказу было бы ошибкой. (Хотя в частности, считают некоторые исследователи, они не совсем точны. В значительной мере Симонов повторил рассказ о своих парижских впечатлениях в беседах с А.Львовым, которые тот включил в свою книгу.

Симонов как писатель и человек умный понимал — с Буниным лобовые уговоры «за возвращение» не пройдут: ведь для последнего это не просто вопрос пространственного перемещения из страны в страну. Дело куда глубже: как преодолеть психологический барьер, чтобы оказаться не только в другой эпохе, но и вне времени, в координатах которого все эти годы жила душа? К тому же «новое время» шло по минувшему, по могилам всего того, что оставил он в роковом 20-м году за кромкой одесского порта...

Сидя с гостем в ресторане «Лаперуз», Иван Алексеевич размышлял именно об этом:

«— Поздно, поздно... Я уже стар, и друзей никого в живых не осталось. Из близких остался один Телешов... Боюсь почувствовать себя в пустыне... А заводить новых друзей в этом

возрасте поздно. Лучше уж я буду думать обо всех вас, о России — издали...» Было у него желание — он и об этом думал — просто «поехать, посмотреть, побывать в знакомых местах, но его смущает возраст...»

Дело тут, думается, не в возрасте. Скорее всего Бунин не мог преодолеть — внутри себя — две серьезнейшие преграды на этом, чисто туристическом, посещении Советского Союза. Взять советский паспорт — значит показаться в глазах близкого окружения (чьим мнением он все-таки дорожил) «отступником». Впрочем, таковым, в глазах части «непримиримой» эмиграции, он и остался. Ирина Одоевцева вспоминает о том состоянии, в котором находился осенью 1947 года Иван Алексеевич, когда они вместе отдыхали в пансионате «Русский дом» в Жуан-ле-Пэне:

«— Слышали, конечно слышали — травят меня! Со свету сживают! Я, видите ли, большевикам проданся. В посольстве советском за Сталина водку пил, икру жрал! А я, как только посол предложил тост за Сталина, сразу поставил рюмку на стол и положил бутерброд...»

А главное — пугало возвращение «оттуда» в привычный мир эмигрантской колонии: в любом случае этот мир, эта жизнь увиделась бы совсем-совсем иной. Как изменилось бы и отношение к нему...

Важно еще учесть вот какую мысль, высказанную Буниным Симонову. Тот, в беседе, возражая на утверждение писателя о том, что Франция «не чужая для него страна», заметил: «Как же вы, Иван Алексеевич, привыкли к французской жизни, если живете истым эмигрантом и вся ваша жизнь здешняя — в русской колонии?»

Бунин, вспоминает Симонов, ответил не сразу. Но ответ его был неожиданным для собеседника: и в советской России он будет чувствовать себя, как в колонии...

Трудно не согласиться с этим: четверть века человеческой жизни — срок немалый. Поменять почву? Вернуться туда, где давно вырос молодой подлесок? Нет, старые деревья не пересаживают!

На последней встрече Бунина с Симоновым, когда вроде бы решился вопрос о его поездке в Союз, решение созрело окончательно: не ехать! Об этом, по рассказам его, вспоминала писательница Ум-эль-Банин Асадулаева (утверждается, что женщина эта была последним увлечением писателя): «Да, говорил он, Симоновы ему понравились, но вопрос оказался куда сложнее, чем вы себе представляете. Чем больше я об этом думаю, тем труднее мне решить...» А далее произнес такие слова: «Душу я не продаю ни черту, ни большевикам...

Если бы я согласился ехать туда, они бы воспользовались моим именем, чтобы завлечь других... Я бы служил им вывеской, меня бы заставили говорить то, чего я не думаю...»

Константин Симонов дополняет к обстоятельствам прощальной встречи такие факты: *«Перед моим отъездом в Москву Бунин просил уладить кое-какие дела его с «Гослитиздатом». Настроение у него держалось в основном прежнее. До меня доходило, что Алданов сильно накручивал его против большевиков, но старик все-таки не уклонялся от разговора, видно, оставалось чувство недосказанного. А когда я воротился в Москву, как раз взяли в оборот Зоценко с Ахматовой, так что Бунин отпал сам собой...»*

Нет, в Россию он не вернулся бы. Это чепуха, будто Бунин пересмотрел позицию. Ничего он не пересмотрел!..»

Есть свидетельство, что неудача Симонова связана, в определенной мере, с его «недипломатичным» поведением на одной из встреч. О том поведал в своих воспоминаниях бывший сотрудник внешней разведки КГБ Борис Бараев. В 1955 году он занимался вопросами отправки бунинского архива в СССР, для чего несколько раз встречался с Верой Николаевной Буниной и Леонидом Зуровым. В одной из бесед она поведала о тех днях, когда перед Буниным стояло непростое решение — ехать или остаться: *«В 1945 году Бунин получил советское гражданство и приступил к решению практических вопросов для переезда в Москву. А помешал этому, по словам Веры Николаевны, нелепый случай, какой-то злой рок. Вскоре после войны в Париже побывал Константин Симонов... Направляясь к Симонову в консульство СССР, он (Иван Алексеевич) рассчитывал найти понимание, дружеское участие, а столкнулся с жестким, бездушным обращением. «На что вы истратили лучшие годы? На борьбу с нами?» — такими словами был встречен Бунин. Слово мальчишку отчитал нобелевского лауреата Симонов. Надо знать характер Ивана Алексеевича, рассказывала Вера Николаевна. Тут же на глазах Симонова он разорвал свой советский паспорт...»*

Более подробные воспоминания о послевоенной весне Бунина оставил публицист Виктор Полторацкий, который побывал в Париже (в качестве корреспондента «Известий») как раз в дни опубликования Указа «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи...» 8 мая 1946 года, пишет Полторацкий, Бунин пришел в посольство СССР, где и состоялся разговор о его возможном возвращении на родину. Вот что ответил Бунин:

«— Не знаю. В России меня забыли, даже похоронили. — И криво усмехнувшись, добавил: — Сам читал.»

Действительно, в одной из наших газет в свое время промелькнула заметка о том, что в Париже умер Бунин. Бунин нахмурился, помолчал и заговорил с горькой откровенностью:

— Трудно. Представить страшно, что туда, где когда-то я прыгал козлом, вдруг явлюсь древним стариком, с палочкой. Близких никого уже нет, старые друзья умерли... Вот и буду ходить, как по кладбищу... Подумать, подумать надо. Но русским я был и остался».

В этот же день Иван Алексеевич передал просьбу о восстановлении в правах гражданина СССР. Через несколько дней ему выписали советский паспорт, но возвращаться в Россию он отказался. Почему?

Полторацкий далее пишет о разговоре, состоявшемся с Буниным при случайной встрече в кафе: «Дом-то мой здесь. А туда — опасаясь. Вон что там происходит. С Зошенко (он произнес фамилию с ударением на «е») я не знаком, а Ахматову знаю. Если вы с ней так расправились, то представляю, что сделаете со мной, — желчно сказал он...»

Миссия Симонова завершилась. Но для Бунина вопрос своего отношения к советской России оставался, по-прежнему, острым до болезненности. 15 сентября 1947 года он пишет Марку Алданову: *«Нынче письмо от Телешова... пишет между прочим: «Тебя так ждали здесь, ты мог бы быть и сыт по горло, и богат, и в таком большом почете!». Прочитав это, я целый час рвал на себе волосы. А потом сразу успокоился, вспомнив, что могло бы быть мне вместо сытости, богатства и почета от Жданова и Фадеева, который, кажется, не меньший мерзавец, чем Жданов».* (Обратим, кстати, внимание на характер информации — «гонение» на Зошенко и Ахматову: это интерпретация еврейских кругов СССР.)

Психологическая загадка: почему гордый Бунин так исповедался, будто оправдываясь и каюсь в несвершенном грехе, пишет Алданову? Пытается утвердиться в своей «несгибаемой» (и тем правильной!) позиции? И потом — уж он-то ни при каких обстоятельствах не мог быть уравнен с «гонимыми» Ахматовой и Зошенко в отношениях с властями. «Заманить в СССР, чтобы погубить?» — полно-те, даже «кровопиец Сталин и его опричники» себе такого позволить не могли. Старые грехи, «Окаянные дни» — да конечно, помнили. Но карать за старое? А новых грехов не было. Сам Иван Алексеевич в разговорах с Симоновым заявил: «Но вы должны знать, что двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года я, написавший все, что писал до этого, в том числе «Окаянные дни», по отношению к России и к тем, кто

ею ныне правит, навсегда вложил шпагу в ножны, независимо от того, как я поступаю сейчас, здесь ли я останусь или уеду...»

Искренен ли был он? Безусловно. Произнося эти слова, Бунин говорил о слишком многом — о судьбе России. Она выстояла, она состоялась — пусть с внутренне неприемлемыми для него режимом и «правителями». Не признать этого факта он не мог. Вывод этот кажется еще более достоверным, если вспомнить об одном интересном письме, отправленном Буниным в первые годы эмиграции издателю И. Д. Гальперину-Каминскому: «Бальмонт пишет, между прочим, что «Куприн и Бунин — монархисты». Если Ваша газета еще не напечатала ответ Бальмонта, зачеркните или оговорите эти слова. Я ни к какой партии не принадлежу, приму все, что будет добром для России...»

Но и, как показало время, смириться с «большевистскими вожжами», даже перед смертью, не пожелал... Совершенно больной, уже лежа в постели, доживая последние месяцы жизни в неимоверных душевных и физических страданиях, пишет Алданову все так же резко и жестко (20 апреля 1953 года): «Позовет ли меня опять в Москву Телешов, не знаю, но хоть бы сто раз туда меня позвали и была бы в Москве во всех отношениях полнейшая свобода, а я мог бы двигаться, все равно никогда не поехал бы я в город, где на Красной площади лежат в студне два гнусных труп...»

Он, как и прежде, ощущал Россию далеким потерянным раем, а столицу ее — оскверненной... Только ни ему, ни тем более Алданову, эта страстная несгибаемость уже была не нужна: «Россия построена заново... Другими, не нами, без нас...»

Без них! Она звала его, кровного сына, к себе. Но он не мог представить, ощутить ее милосердных колен, к которым, в слезах, страстно хотел бы припасть. А без того — какое могло быть возвращение? Россия, где ты, матушка?.. Лишь свистящий ветер по ее выстуженным просторам, да странное, невиданное племя, утвердившееся в ее святых пределах... Как холодно в этом мире, на краю у бездны! И так нужна соломинка, протянутая ему (как он считал) из-за океана Алдановым: спастись от ужаса ледящей душу пустоты и одиночества. Но чем мог помочь ему человек, подобных чувств не испытывавший?

Он ушел Иоанном Рыдальцем... Один...

Не могу не привести еще одной точки зрения на писательскую судьбу И.А. Бунина. Она принадлежит архиепископу РПЦ за рубежом Иоанну Сан-Францисскому. Ее он выска-

зал в переписке с писателем Олегом Михайловым: «...Можно сказать, что пребывание Бунина за границей спасло его как писателя. Более того, завершило его как писателя. Танк 30-х годов, прокатившийся по России, безусловно, не пощадил бы его ни физически, ни морально. Бунин был бы не в состоянии кадить кому бы то ни было, ни что-либо лакировать. Здесь именно он не был оторван — жизнью — от России, в самом лучшем смысле этого слова. Даже сейчас, после бескровной хрущевской революции, наполовину уменьшившей культ мавзолея, я не представляю себе Бунина что-то у вас творящим. Бунин себя сохранил для России, уехав из нее в 1919 году (в 1920. — В.П.). Как бы сама Россия сохранила его для себя, отослав за границу!.. Россия дала одним своим сынам миссию внутри ее недр, другим — вне этих недр...»

Правда истории одна — ее не поделишь между противостоящими, в утверждении своей истины, сторонами. Она на той стороне, где утверждается торжество жизни. Быть побежденным — страшно, но трагизм человеческой истории в том, что рано или поздно все остается в прошлом: ради обновления жизни, ради жизни бесконечной.

Та Россия, которую любил и в которой был уверен Бунин до конца дней своих, оказалась побежденной. Занавес опустился! Той России, что воскрешал он в своих великих творениях, не стало. Это было высшее возмездие: русский народ (а в «Окаянных днях» сам Бунин показал его — нет, не лик! — рожу) перестал исполнять Волю Божью, перестал обустроить Россию — Престол Богородицы, а потому и лишился поддержки Творца. Гниль и предательство верхов, отрекшихся от царя и Отечества (Февральская революция масонов России, желавших ввести либерально-демократическую форму жизнеустройства по образцу Европы — это и было предательство) — доказательство Божьего гнева.

Белое движение (как и сама «Белая идея») выросло из ностальгии по «утерянному раю» (утерянному в сказочные сроки!) и из предательства правящей верхушки. Могло ли оно одержать победу? И какую Россию спасти? Монархии народ уже не был достоин, «демократия» же неизбежно привела бы к распаду страны...

Кровавая драма большевизма — это смертельный вызов либеральному вырождению и гниению вместе с Европой, стань Россия частью ее. Сквозь братоубийственную купель, которую, в мессианском порыве, должна была пройти Россия, чтобы выжить, остаться самой собой. Но в новом обличье...

Мерзости же большевизма — атеизм, отвержение прошлого исторического пути, жажда строительства «нового мира» на пустом месте (в «мировом пожаре» судьба России — стать первым поленом для испепеления «старого мира») — были отброшены пришествием Сталина. Появление его было предопределено. Не кто иной, как гениальный прозорливец Блок в бурях и метелях кровавой смуты усмотрел главное:

*В белом венчике из роз,
Впереди — Иисус Христос!*

Не возвышенной метафоры ради появляется в «революционной поэме» образ Спасителя. Он был впереди! Потому-то и дан был народу русскому богоданный вождь и воитель, Аввакум двадцатого века — Сталин. Он шел, упорно и твердо вперед, и вел за собой миллионы — потому что знал Путь!

Для России фигура Сталина-кесаря была провиденциальной. Доказательства тому? Опорочить его и деяния его можно. И это сумели сделать — уже в наши «окаянные годы». Но слезы о нем миллионов — как забыть их? Они — не случайность, не самообман, а свидетельство его богоданности, поставленного у руля государства именно в годы великого противостояния и великой смуты, когда перед народом стоял роковой выбор: «Быть России — или сгинуть во тьме».

В 30-е годы Сталин повернул государственный корабль по имени «СССР» на путь движения того, «затонувшего», что именовался «Российская Империя». Чтобы воссоздать и укрепить традиционное государство, самодостаточное в экономическом, культурном, политическом планах для свободного, независимого существования. Буржуазия Европы не простила ему укрепления именно русских начал в строительстве новой жизни. Обвинение в национал-большевизме его не случайно: поставить его имя рядом с именем Гитлера, уравнять социализм и фашизм. Но правда Истории — за Победителем! И она, как ни парадоксально, прозвучала из стана врагов.

Черчилль: *«Большим счастьем было для России, что в годы тяжелых испытаний страны ее возглавлял такой гений и непоколебимый полководец, как Сталин. Он был самой выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени того периода, в котором проходила его жизнь...»*

Сталин был человеком необычной энергии, с непоколебимо смелой волей, резким, жестким, беспощадным в беседе, которому даже я, воспитанный здесь, в британском парламенте, не мог ничего противопоставить.

Сталин прежде всего обладал большим чувством юмора и сарказма, способностью точно воспринимать мысли. Эта сила настолько была велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей государств всех времен и народов...

Сталин принял Россию с сохой и оставил ее оснащенной атомным вооружением».

Поразительно — Бунин не мог не знать о чудовищных преступлениях Америки перед народом Японии (гибель Хиросимы и Нагасаки). Знал наверняка, что «сталинская» Россия, только что выйдя из войны, в разлухе, народных страданиях все же создала свое атомное оружие — защитив себя! Все это словно прошло мимо его сознания: он продолжает слать в Америку (!) Алданову проклятья Сталину — уже после его смерти...

Ослепление? Неверие «большевикам» вообще, из принципа? Историческая правда, увы, была не на его стороне...

Шарль де Голль:

«...Честно говоря, непонятно, почему вы так поступили со Сталиным, умаляете его заслуги, отрицаете его роль. Это был выдающийся человек, и он много сделал для общей победы, для возвышения России...»

Адольф Гитлер:

«...Оба англосакса стоят друг друга. Черчилль и Рузвельт — что за шуты! Что же касается Сталина, то он безусловно заслуживает уважения. Он великодушный деятель...»

Наш современник, крупнейший писатель Юрий Бондарев сталинскую правоту выразил в таких вот строчках:

«Когда я думаю об этой необъятной личности, то прихожу к выводу, что такие люди, как он, рождаются раз в тысячелетие. Никто из ему подобных, наделенных высоким лбом, волей, вождизмом, не смог сделать в два, три десятилетия то, что сделал Сталин. Он преобразовал Россию, создал уникальное, высшее по своему развитию общество...»

Эти строки о том, кто, в представлении Ивана Бунина, «скот и зверь, обожравшийся кровью человеческой»...

А кто же тогда был гуманист Трумэн, испепеливший адским огнем два мирных города Японии — только ради утрашения «скота и зверя»?..

Бунинские колебания, его желание «повидать» Россию, встречи с Симоновым, посещение советского посла на рю де Гренель наиболее непримиримая (и состоятельная) часть эмиграции не простила до конца дней. Болезни, нищету, травлю — все испытал он. И продолжал «исповедываться» в своей непримиримости к «Совдепии». Кому и зачем? Еще и еще раз убедить себя в правоте собственного непростого выбора?

Мог ли он заблуждаться в оценках Сталина? В исторической правоте его — победителя, спасшего Россию? Вряд ли. Но принять не мог: его влекла, звала за собой Россия ушедшая... Та, которую он беззаветно любил... А слова — что слова?

Поиски новых и новых сведений о жизни великого русского парижанина продолжаются. Иногда с неожиданными результатами. Об одной из таких находок несколько лет назад рассказал московский писатель Валентин Лавров, автор исторического романа, построенного на основе канвы бунинской жизни, «Катастрофа». Понятно, что наиболее сенсационные документы, как правило, сокрыты в архивах спецслужб. Вот и эти документы отыскиались в тайниках службы внешней разведки РФ и в историко-документальном департаменте Министерства иностранных дел.

Лист почтовой бумаги с рекламой автомобильной фирмы «Пежо». Дата 22 декабря 1924 года. Почерк — женский:

«Второго декабря мною было отправлено почтой заявление в адрес посольства СССР на имя первого секретаря посольства товарища Волина. На это заявление я никакого ответа не получил и склонен самое неполучение его рассматривать как ответ, — конечно, отрицательный.

Вследствие того, как я предполагаю, подобный результат мог иметь место исключительно как следствие сомнения в искренности моих заявлений, а также ввиду того, что я исчерпал все возможности сделать эти заявления возможно убедительнее — возможности, предоставляющиеся только письменным изложением и поэтому — крайне слабые, — я прибегаю теперь к последней возможности заставить мне поверить: я изъявляю готовность добровольно ехать в СССР и предстать перед судом.

Я это делаю в уверенности, что сомнений или недоверия по отношению ко мне теперь быть не может.

Я прошу разрешения явиться в посольство.

И. Бунин.

Я буду ждать ответа по тому же адресу: Avenue de la Republique, Bureau 5, Poste Restante «Liebgott». (Часть адреса написана по-французски, часть по-немецки: «ул. Республики, бюро 5, до востребования «Боголюбивому».)

Как воспринимать этот сенсационный документ? Лавров считает, что письмо написано под диктовку самого Ивана Алексеевича. Кем — пока не установлено. Как и не ясно, кто скрывался под агентурной кличкой «Боголюбивый».

Другой знаток жизни и творчества писателя, литературовед Олег Михайлов, напротив, видит в этой эпистоле «лу-

бянскую липу». Кто ближе к истине? (Кстати, французский профессор-славист Ренэ Герра в беседе с корреспондентом РИА «Новости» тоже ведет речь о якобы письме Бунина, но о другом: «Письмо это напечатано на машинке, в конце поставлены инициалы — откровенная фальшивка...»)

Тут следует иметь в виду, что в феврале 1924 года Бунин выступил со своей знаменитой речью «Миссия русской эмиграции», где и намека нет на возможное «примирение» с большевиками. Дневниковые записи этого года кратки, и в них — ни строчки о каких-либо сомнениях или переживаниях в связи с возможностью возврата в Россию. Напротив — раздумье о вечном, о жизни и смерти, восхищение и наслаждение природой Приморских Альп (Бунины жили тогда на юге Франции, в Грассе). Только две ностальгические записи приоткрывают то, что волновало его душу.

Август 1924 года: «Очень, оч. часто, из года в год, вижу во сне мать, отца, теперь Юлия. И всегда живыми — и никогда ни малейшего удивления».

Сентябрь этого же года: «Ах, если бы перестать странствовать с квартиры на квартиру! Когда всю жизнь ведешь так, как я, особенно чувствуешь эту жизнь, это земное существование как временное пребывание на какой-то узловой станции!..»

Все эти годы он думал о своем доме: «Если бы теплая, большая комната, с топящейся голландской печкой! Даже этого никогда не будет» (1929 год). Он так и не приобретет его, даже получив Нобелевскую премию. Связывал ли он это сокровенное желание с Россией? Вряд ли — такого дома в той России обрести было невозможно: примирить душу с действительностью, обрести покой и тишину — в широком понимании «своего дома» — было свыше его сил. Он ведь не циничный жизнелюб Алешка Толстой... Он — Бунин!

*Уптицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!
Узверя есть нора, уптицы есть гнездо.
Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом
С своей уж ветхою котомкой!*

Очень трудно потому признать процитированное выше «заявление» бунинским: в тот психологически сложный отрезок его жизни оно появиться не могло. Если посмотреть его публицистику этих лет — в них нет ни строчки, ни интона-

ции, хотя бы намекающих на желание шагнуть в большевистскую Россию. Тем не менее документ оказался в пухлом бунинском досье, хранящемся в архивах Лубянки. (Хотя есть свидетельство Веры Николаевны о желании Бунина вернуться в Россию сразу же в первые годы парижской жизни. Летом 20-го года Петр Струве пригласил Буниных в кафе «Вольтер». Разговорились, Струве интересовался планами Бунина. «Ян говорил, что чувствует себя слабым, больным, в большой нерешительности. Больше же всего ему хотелось бы уехать в Россию».)

Кто был наиболее активным информатором? Лавров делает вывод — писатель Николай Рошин (Федоров). Рошин — капитан Белой армии, оказавшийся во Франции. Бедствовал. Бунин вытащил его из бедственных обстоятельств, определил писательскую дорогу. С 1924 года долгие годы он наезжал к Буниным в Грасс, жил в их доме подолгу. Бунин в семье звал его «Капитаном». Написал и напечатал свои «Письма с Бельведера в Грассе», которые Бунин оценил как лживые.

Из дневника В.Н. Буниной от 2 декабря 1946 года: «Капитан дал интервью, где сказал, что он едет в СССР... Почему он все врет? Трудно понять!»

Впрочем, отношение ее к Рошину было вполне определенным. Еще в 1943 году она записывает в дневнике: «У нас поселился Капитан. Он совершенно перековал язычок насчет большевиков. «Если все пойдет так, как теперь, то я через 2 года уеду в Россию»... Подленький он человек, честолюбивый, злой. «У меня вся эмиграция в кармане». Ян думает, что он побрешет, побрешет, и никуда не поедет. А я не знаю. Вот эта-то подлость мне непереносима в нем...»

Однако сам Бунин испытывал к Капитану другие чувства и всегда на раздражение жены «брал его под свою защиту». Было между ними некое дружеское доверие.

Николай Яковлевич Рошин вернулся в Россию после Указа от 14 июля 1946 года. В Москве его встречал сам Фадеев, похвалил роман «Белая акация», помог вступить в Литературный фонд. Прочная дружба завязалась у него с другим реэмигрантом — графом Игнатьевым, бывшим военным атташе во Франции, автором воспоминаний «Пятьдесят лет в строю». Игнатьев, кстати, бывал в доме Буниных...

Здесь, в новой, необычной для себя обстановке, Рошин активно пытался привлечь многих известных писателей убедить Бунина вернуться на Родину.

В интересных записках литератора Ивана Дорбы «Бунин, граф Игнатьев и другие...» приводится такой эпизод: «Живой, энергичный, Николай Яковлевич жаждал деятельности.

Не удовлетворяли и встречи с писателями — Телешовым, Нагибиным, Фадеевым, Симоновым и другими, неизменно сводившиеся к теме: «Как вернуть Бунина в Россию?»».

— Да зачем ему возвращаться?

— Хозяин хочет... Вы же друзья! Все время переписываетесь. Иван Алексеевич к вам прислушивается...

Вот оно что! «Хозяин хочет»...

Однажды, уже в 1948 году, в доме Игнатьева вновь заговорили о тяжелой судьбе Бунина, о бедности, тяжелом материальном положении. На возражение хозяина дома, мол, Нобелевскую премию получил, Рошин возразил:

«— Иван Алексеевич помогал многим, никому не отказывал. Алуды, сами знаете, какие: со всех сторон на него надели. Слышал, в его доме нетолченая труба прихлебателей!»

Печатали произведения Бунина и в СССР, но с гонорарами выходило совсем плохо. В тот раз Рошин прочитал полученные от Бунина письма:

«12 мая 1947 года.

Еще раз спасибо, милый, за сердечное письмо. На давнее, большое не ответил потому, что был слишком слаб, тяжело болел. Теперь я немного оправился и с первого июля возвращаюсь в Париж — жить здесь дольше не могу — совсем разорился, дороговизна у нас дикая и все растет. Милому Катаеву книгу пришлю из Парижа. Симонову была послана еще в декабре — через Борейку. Значит, пропали.

Известие о том, что Государственное издательство выпускает мой однотомник, «Изборник», я получил еще в январе 1946 года; написал С.Аплетину очень взволнованное письмо, что издадут, не посоветовавшись со мной на счет выбора произведений и их текста... Г.Аплетин ответил мне телеграммой в марте, что издание приостановлено. Теперь Вы меня удивили: хотят издать. Если так, то очень рад, но прошу пользоваться только изданием моих сочинений «Метрополя»...

Гонорар будет мне прямо спасением.

Целую, Ваш Ив. Б.».

Однако и вторая попытка издать «Изборник» закончилась ничем.

«Париж. 4 ноября 1947 года.

Милый Капитан, Вы неисправимы в своей страсти к преувеличениям самым ужасным! Ведь сказать, что Париж провинциальное захолустье, есть почти такое, до чего договориться можно только после литра самогону!

А за добрые чувства ко мне благодарю.

А в деле насчет издания «Изборника» моих писаний, я, конечно, ничуть не виноват. Горячо написал? Да ведь хоть кого в

жар бросит при известии, что берут труд всей твоей жизни даже без твоего ведома, орудут над ним по своему усмотрению так спокойно, будто они тут совершенно ни при чем! Уж не говорю о том, что «Изборник» продавался бы у всех Капланов во всей Европе, лишая этим меня, старого человека, лишнего куска хлеба. Мне бы заплатили? Не думаю! Не мало уже издано моего в Москве за последние двадцать лет, а получил ли я за это хоть грош? Не только нет, но даже на свои собственные гроши покупал у парижского Каплана московские издания своих собственных книжечек!..

Ваш Ив. Б.».

Рошин настоял в Союзе писателей отправить Бунину солидную продуктовую посылку — от его имени. Ответ получил неожиданный...

В тот год Иван Алексеевич сильно болел, недуги одолевали и Веру Николаевну. Но работа не прекращалась — он пишет рассказы, воспоминания «Третий Толстой». Организуют литературные «четверги», принимают, хоть и редко, гостей. Но мысль о смерти не покидает: в ночь со 2 на 3 ноября Бунин записывает: «...А теперь уж ничего впереди — калека, и смерть на пороге»...

Посылку из «Совдепии» он не принял.

«27.3.1949.

Прилагаемую карточку будьте добры передать Н.Д. Телешову. Спасибо, спасибо, Капитан, за Ваше письмо и посылку. Не обижайтесь, пожалуйста, что я не принял ее: ровно ничего не могу съесть из того, что в ней, — все подобное запрещено мне теперь (даже курить запрещают!), так что это платить даром 700 фр. пошлины при моих скромных средствах. Мы и без того разорены переездом сюда и живем здесь (в Жуан-ле-Пэне. — В.П.) — опять проводим зиму на юге, — и кроме того и докторами, лекарствами: я перенес воспаление легких летом в Париже, здесь, в феврале, опять началась та же история, вскоре, к счастью, прерванная, но все же весьма обессилившая меня...

P.S. Пожалуйста, не посылайте мне больше ничего, не тратьтесь, тут у нас все есть.

Ив. Бунин».

Отказ, по-видимому, означал одно: «Не подкупите!» Давняя дружба была разорвана. Рошин умер в одиночестве в 1956 году. Опасаясь за письма Бунина, он сказал Дорбе: «Вся моя переписка с Буниным попадет к Никулину (Лев Никулин — советский писатель, весьма негативно высказывавшийся об Иване Алексеевиче. — В.П.), чувствую это. И письма, которые я Вам дал переснять, скорее всего уничтожат. Сохраните негативы. Может, время придет и для них».

Следует сказать и том, что Н.Я. Рошин, как и многие из эмигрантов, был масоном. Вот эпизод из воспоминаний Дорбы:

«Вытащив из кармана золотой увесистый кубик — масонский знак — на цепочке, Рошин положил его однажды перед хозяином (Игнатьевым. — В.П.):

— Вот безделушка на память именитому графу от старого масона.

Алексей Алексеевич, поднявшись во весь саженный рост, взяв кубик, крепко пожал ему руку:

— Спасибо, дорогой Николай Яковлевич! Мне даже неудобно — такой редкий подарок!

— У кого-то я видел такую штучку? Дай-ка поглядеть, — вскочил с места Желтухин.

— У князя Голенщикова-Кутузова...»

Все эти эпизоды говорят о том, что вокруг фигуры Бунина шла серьезная борьба. Он не пошел навстречу желанию Сталина — вернуться в Россию, оставшись эмигрантом. Но эмиграция не признала жертвенности и высоты такого шага. Мучительные сомнения его были восприняты как «слабость». А слабых — не прощают. Бунин фактически доживал последние годы в лютом внутреннем одиночестве...

Не успел он распорядиться и своим писательским архивом, так и не решив, где ему быть — здесь, разделив посмертную судьбу хозяина, или же вернуть на родину?

А дальше произошло вот что. Вере Николаевне Буниной было назначено пожизненное ежемесячное пособие. Сумма весьма немалая — 1560 долларов или 800 инвалютных рублей СССР. Установило его... советское правительство!

Впрочем, в уже упомянутых воспоминаниях Бориса Бареева есть уточнение: «Видя, какую нужду испытывает вдова великого русского писателя, я пытался изыскать возможность ей помочь. Было ясно, что конверт с деньгами из советского посольства в виде бескорыстного дара она никогда не возьмет. Посоветовавшись с послом, сообщили наше предложение в Москву. Ответ пришел немедленно. Через неделю я пришел на улицу Жака Оффенбаха (в квартиру Буниных. — В.П.) с сообщением, что Союз писателей СССР назначил В.Н. Буниной пожизненную пенсию размером 8 тысяч франков ежемесячно. Вера Николаевна была тронута вниманием Родины и до конца своих дней получала эту помощь...»

Наверное, для Веры Николаевны ее хватило бы сполна. Но рядом находился «нахлебник» из литературного окружения Бунина, проживший рядом многие годы, — Леонид Зуров.

Материальная поддержка вдовы Бунина — жест, без сомнения, серьезный. Был ли он «бескорыстным»? Валентин

Лавров убежден — нет, поскольку шла охота за архивом писателя. Судьбой его, так случилось, распорядился не кто иной, как Зуров, частью распродав, а остаток уступив доценту Эдинбургского университета Милице Грин. Частично бунинский архив передан университету города Лидс (Англия)...

А в архиве внешней разведки сохранился потрясающий документ:

«Париж, 17 января 1957 года. Советскому правительству от В. Н. Буниной. Настоящим письмом считаю необходимым обратить ваше внимание на следующее: после того, как представители Советского посольства во Франции установили со мной контакт и договорились в принципе о постепенной передаче мною архива Ивана Алексеевича Бунина, мне была установлена ежемесячная пенсия с января 1956 года в размере 800 рублей, что составляет по нынешнему курсу 7000 французских франков.

За этот год стоимость жизни во Франции очень возросла. И этой суммы мне хватает только на покрытие расходов первой необходимости. А между тем мое здоровье за этот год ухудшилось, приходится часто обращаться к врачам из-за декальцификации позвоночника, приобретенной в годы недоедания во время последней войны. Кроме того, обнаружился катаракт обоих глаз и грозит операция. Медицинское обслуживание и лекарства дороги, социальным страхованием пользоваться я не имею права, и часто мне приходится обходиться без них.

Помимо этого к моменту установления пенсии у меня оставались долги, сделанные во время тяжелой болезни Ивана Алексеевича, которые я и до сих пор до конца не могла выплатить... Беру на себя смелость просить Советское правительство оказать мне единовременную помощь в счет гонорара от последнего издания избранных произведений И.А. Бунина...

С уважением В. Бунина.»

В СССР к тому времени был издан пятитомник Бунина — первое собрание сочинений писателя в Советском Союзе. Денег не последовало...

Вере Николаевне оставалось жить еще пять лет.

Сегодня, размышляя о феномене Сталина как мыслителя-практика, невозможно не обратиться к идеям и трудам другого нашего великого земляка — Николая Яковлевича Данилевского (1822—1885), к его книге «Россия и Европа», где «русская идея» сформулирована гениально доказательно. Знакомы ли были идеологи Белого движения с «русской идеей» Данилевского? Проецировал ли взгляды Данилевского на происходящее в Европе в первой половине XX века Бу-

нин? Если да, то роль Сталина, проводимая им политика обретают совсем иные очертания, весьма далекие от тех, которые выстраивали и выстраивают его ненавистники и враги.

В основе своей «русской идеи» Николай Яковлевич помещал постулат об особом, отличном от европейского (романо-германского), славянском культурно-историческом типе, о своеобразии славянской цивилизации. За спиной у обоих — совершенно разные школы исторического воспитания. По пройденному ею пути Россия не может считаться Европой.

Славянский мир вошел в мировую историю на 500—600 лет позже германского и с самого начала зарождения испытывал высокомерную враждебность со стороны Европы. «Русские варвары» пугали, но их заснеженные земли таили несметные богатства, куда все века устремлялись интересы европейского капитала — колонизовать страну. Чаще насильственными методами.

Насильственность и жестокость — одна из психологических черт народов романо-германского культурно-исторического типа, которая отсутствует у славян. Экспансия силы была совершенно очевидна и при жизни мыслителя. В прошлом западные славяне были значительно потеснены со своих земель на восток, поморские и полабские славяне были истреблены вовсе, многие закабалены в составе Австро-Венгрии, Пруссии, находились под гнетом Османской империи.

Данилевский зывал: напрасно Россия стремится пристроиться к семье европейских государств — ее «своей» не признают никогда. А Запад никогда не сменит враждебности на дружелюбие. Напротив, будет всегда стремиться поссорить славянские народы, разделить их, подавить национальное самосознание, вытравить самобытную культуру с помощью распространения и внедрения своей «цивилизации». Затем, чтобы, превратив в «экономических рабов», по своему распоряжаться и богатством, славянству принадлежащим, и решать судьбы мира только по-своему.

Задачу объединения славян Н.Я. Данилевский считал ключевой в мировой геополитике. И формулировал ее очень жестко и требовательно: «...для всякого славянина: русского, чеха, серба, хорвата, словенца, болгар (желал бы прибавить, и поляка) — после Бога и Его святой Церкви, — идея Славянства должна быть высшею идеей, выше свободы, выше науки, выше просвещения, выше всякого земного блага, ибо ни одно из них для него недостижимо без ее осуществления, — духовно-народного и политически-самобытного, независимого славянства...» (Оглянемся окрест — что видим? Раздробленные, агонизирующие, — каждая по-своему, — славянские страны.

Россия «встроена» в липкую паутину ростовщического мирового капитала. Сырье и недра — на службе Запада. Духовное растение с помощью «общечеловеческих ценностей», «прав человека» и т.п. нарастает, культура чудовишно опошлена.)

А теперь вернемся к Сталину. Его речь на XIX съезде КПСС (фактически политическое завещание, высказанное в адрес представителей всех коммунистических и демократических партий, присутствовавших на съезде):

«Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы. Теперь от либерализма не осталось и следа. Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Это знамя придется поднять вам и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше никому его поднять. Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и независимость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не осталось и следа от «национального принципа». Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Это знамя придется поднять вам и понести его вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации. Его никому больше поднять...»

Историческая правота Сталина еще очевидней подтверждается в наше время, время позора и предательства.

Но славянству еще полвека, по крайней мере, довелось после смерти Сталина прожить независимо и свободно. Хотя со смертью его, по словам русского мыслителя-эмигранта Ивана Солоневича, ось выдернута из колесницы.

Но «колесница», подтолкнутая могучей рукой Сталина, сумела еще пройти полувековой путь, пока жалкие преемники его не сделали то, против чего он боролся всю жизнь — развалили великую державу, отдали народ в рабство интересам мирового капитала, лишив великой истории и культуры.

Независимость кончилась, господа! Занавес опустился.

«Моя жизнь безжалостна, как зверь!» — это слова самого Иосифа Сталина. Отбросим сплетни и ложь, нагороженные врагами его. Вдумаемся — в какой чудовищно сгущенный энергиями исторический период времени ему довелось жить? И не просто жить — исполнять мессианскую задачу спасения России!

А ведь это был человек, со всеми, человеку присущими, страстями, болями, потребностями в поддержке. Как удавалось ему одолевать страшное одиночество, в котором он жил?

Я не знаю... Те воспоминания о нем, что я читал, ответа не дают. Поскольку ответ — во внутреннем мире Сталина, лич-

ности гениальной, куда доступа не было никому.

Но, мне кажется, двигала и спасала его великая цель и, может быть, понимание той великой задачи, что была возложена Творцом на него...

*С Иосифом Господь беседовал в ночи,
Когда Святая мать с Младенцем почивала:
«Иосиф, близок день, когда мечи
Перекуют народы на орала.
Как нищая вдова, что плачет в час ночной
О муже и ребенке, как Пророки
Мой древний Дом оплакали со Мной,
Так проливает мир кровавых слез потоки.
Иосиф! Я расторг с жестокими завет.
Исполни в радости Господнее веленье:
Встань, возвратись в Мой тихий Назарет
И всей земле яви Мое благоволение».*

В беседе с писательницей Ириной Одоевцевой Иван Бунин как-то признался: «Гете говорил, что он за всю жизнь был счастлив всего лишь семь минут. Я все-таки, пожалуй, наберу, наберу счастливых минут на полчаса».

Он был также бесконечно одинок в этом мире — одиночеством великого художника, остро чувствующего красоту тленного и вечного из миров. Одиночество это стократ усиливала боль от канувшей во тьму России, страны обетованной и любимой...

*Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да Бог.
Знает только Он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.*

Оба они, Сталин и Бунин, шли всю жизнь к своей России, их общей Родине. Каждый — своим путем, горьким, трудным и возвышенным.

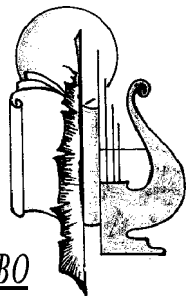
Один — оплакивая потерянную Родину, другой — созидая ее... Оба они не увидели ее вблизи такой, какой прозревали в воображении. Но ей, России, они отдали самое лучшее, благословенное и чистое, что было в их сердцах, — свою великую любовь.

ПАРАДИГМА РУССКОГО ТЕАТРА

(Об идейно-эстетических основах национальной сцены)

Русский национальный профессиональный драматический театр с момента своего возникновения в середине XVIII в. был плотью от плоти многовековой, прочно сложившейся отечественной культуры. Русская сцена возникла и развивалась на основе православного мироотношения и высоких идеалов национальной цивилизации. Реализм, идейность, народность — коренные особенности нашего театра, стремившегося отражать жизнь в ее главных проявлениях, верного канонам правдоискательства и добротолубия, нравственной взыскательности и веры в Богоустановленное назначение человека. В лучших своих произведениях, в искусстве своих корифеев театр стремился идти от жизни, а не от сцены. Как и русская литература, театр был сосредоточен на поисках человеком смысла своего бытия, защищал идеалы человечности, одухотворенной любви и братского единства людей. Родина и народ, мир и человек, их духовный свет и нравственный идеал — вот вызревшая в недрах народного сознания мера оценки уровня отечественной литературы и театра.

О назначении искусства напряженно размышляли наши классики. «Искусство есть водворение в душу стройности и порядка, а не смущения и расстройства», —



ИСКУССТВО

писал Н.В. Гоголь. Л.Н. Толстой в статье «Что такое искусство» утверждал, что искусство не игра и не развлечение, «не есть наслаждение, а есть необходимое для жизни и для движения к благу отдельного человека и человечества средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах... Искусство должно сделать то, чтобы чувства братства и любви к ближним, доступные теперь только лучшим людям общества, стали привычными чувствами, инстинктом всех людей... Назначение искусства в наше время — в том, чтобы... установить на место царствующего теперь насилия то царство Божие, то есть любви, которое представляется всем нам высшей целью человечества... Задача христианского искусства — осуществление братского единения людей».

Изначально сильны были в нашем театре мотивы, типичные для русского сознания — темы совести, справедливости и милосердия, терпения и надежды. В этом смысле красноречиво содержание одного из первых спектаклей основателя русского театра Ф.Г. Волкова, точно выраженное в его заглавии — «О покаянии грешного человека».

Изначально в традиции русского национального театра укоренился пафос патриотизма, любви к Отчизне-матери. «Любовь к Отечеству есть первая добродетель», — провозглашал драматург А.П. Сумароков, вместе с Ф.Г. Волковым закладывавший фундамент нашей сцены.

Историческая реальность опровергает распространяемое антирусскими театроведами (но никак научно не доказанное) мнение, будто наш театр произошел от скоморошских игрищ, праздничных увеселений и потешных обрядов языческого толка. Исстари скоморошья игрища воспринимались на Руси настоительно, а то и враждебно. Не без основания считалось, что подобные игрища и «глумления» — «вредят душе». По той причине — сошлемся на средневекового автора — что «там слова постыдные и дела постыднейшие, и таковые же прически, и таковые же походки, и одежды, и возгласы, и виляние членов, и очей развращение, и свирели, и сопели, и деяния, и поступки, и попросту все исполненное конечного стыда». Такого рода представления именовались в старину «позорищами».

Характерны и летописные указания на «латинский» костюм скоморохов и другие их признаки, чуждые русской почве. По компетентному мнению известного историка А.И. Веселовского, «на Руси скоморохи «захожие люди». И отвергали их не только церковь и правительство, но и общественность. Тот же Веселовский писал: «Светские люди в

сущности сходились с церковной оценкой скоморохов, не доходя лишь до крайностей ее практических выводов.

Взращенная православием природно-национальная русская культура утверждала представления об абсолютной ценности человеческой личности и общий для всех нравственный кодекс, основанный на чувстве вины и голосе совести. Нашу культуру нередко называют культурой совести.

В русском театре, как и в культуре в целом были укоренены каноны целомудрия и чистоты. Он, конечно, произошел не от потех, исполненных «конечного стыда», а от театра «школьного», возникшего и развившегося в России при духовных учебных заведениях в первой половине XVIII в. И эстетика русской сцены тесно связана с его нравственными, духовными основами.

Естественность, органическую простоту русская театральная традиция всегда ценила и в эстетической новизне, в любых исканиях и экспериментах художника. При этом вопрос об отношении искусства и действительности виделся в такой их взаимосвязи, когда почти не улавливаются различия, граница между ними. К примеру, зритель начала XX в., посещая новаторские по тому времени чеховские спектакли московского Художественного театра, ощущал себя не в театре, а «в гостях у сестер Прозоровых» («Три сестры»).

Русский театр в лучших своих образцах представлял «рас-театраленным», игровое начало как бы гасилось в нем, отступало на второй план. Влияла присущая народной культуре неприязнь к подражательству, обезьянству, лицедейству, к проявлениям неискренности (лицемерию) в любой форме. «Ряжение» вызывало недоверие. Один из исследователей русского фольклора замечал: «Переряживание (отнюдь не перевоплощение) осознавалось в народе как акт нечистый, греховный. Предположительно такая его оценка коренится в «перекличках» ряжения с оборотничеством персонажей народной демонологии». И «маска» отчасти понималась как опасный объект.

Уважалась подлинность, ибо имелась органическая убежденность в том, что явления человеческого духа — не игра. Таковую сценическую эстетику еще в XVIII в. формировали А.П. Сумароков и Ф.Г. Волков. «Старайся... чтоб я, забывшись, возмог тебе поверить, что будто не игра то действие твое, но самое тогда случившись бытие», — требовал от актеров Сумароков. Выдающийся театральная деятель следующего поколения П.А. Плавильщиков настаивал на том, что «отечественность в театральном сочинении... должна быть

первым предметом», он видел в «зрелище» нравоучительное «подобие истинных происшествий». И великий артист XIX в. М.С. Щепкин не случайно призывал «всегда иметь в виду натуру». Разницу между механически передающим, передразнивающим чувства исполнителем и «сочувствующим артистом» он видел в том, что «там надо подделаться, здесь надо сделаться».

Философской основой русского театрального реализма становились принципы, формировавшиеся в недрах классической культуры. По слову А. С. Пушкина, «выдумать форму нельзя, ее надо взять из того, что существует». В отличие от европейской сценической традиции в русском театральном каноне изображение жизни предполагало соответствие не только ее сути, но и сообразность (что не исключает приемов гиперболизации, фантазии) ее естественному лику, ее чувственным формам, соприродным органическому бытию (и быту!) человека. Не забывали, что в центре спектакля — реальная живая личность: актер. Православное сознание русских художников создавало эстетику на основе доверия тому, что создано Богом, — миру и человеку.

Эту коренную особенность нашего театра отстаивали и развивали лучшие его представители на протяжении столетий. Великий режиссер XX в. Вл.И. Немирович-Данченко настойчиво призывал: «Не надо забывать, что именно наше русское искусство обладает всеми качествами настоящего высокого и глубокого реализма — чертами, которые не могут охватить ни французская декламационность, ни немецкая напыщенность, — это самая глубокая простота... Это, может быть, самая глубокая и основная черта русского искусства... На этой простоте базируются самые лучшие наши актеры».

Поколения русских артистов передавали друг другу как самое дорогое достояние: чувство правды, сосредоточенность на нравственной природе человека, на его психологии, естественность в выражении чувств. Заветы корифея московского Малого театра Щепкина были прямо восприняты Художественным театром. «Не только дорогие воспоминания связывают нас с Малым театром, нас тесно сближают еще и общие основы нашего искусства, унаследованные от Щепкина и его великих союзников... Мы дух от духа и плоть от плоти Малого театра и гордимся этим», — писал величайший гений мировой театральной культуры К.С. Станиславский. Основатели «режиссерского театра» — МХАТа — не раз подтверждали, что первым лицом в спектакле является актер, то есть человек. И главное на сцене — «жизнь человеческого

духа». В конце своей жизни Немирович-Данченко напомнит своим ученикам: «Весь театр существует для познания человеческого».

Так складывалась отечественная сценическая традиция: на подмостках русской сцены торжествовало искусство, которое пренебрегало фантазмагорией маскарадности, узорчатостью игры, звонами шутовских бубенцов, эстетскими пряностями и чарами отвлеченной театральности. Цель, смысл и поэзия творчества виделись в ином: не блеск внешних форм, не лицедейство, а обнаженность правды, человеколюбие, душевность, гражданственность художника, призванного зорко различать добро и зло. На сцене русскому зрителю были интересны не ряженые, а люди, не раскрашенные маски, а живые души. Маски же, если и возникали (как форма человеческого поведения), то лишь для того, чтобы быть сорванными.

Русскому театру присущи традиционно глубокие связи со Словом, с Глаголом — и в пушкинском его понимании, и в том смысле, о котором говорилось, например, в «Российской грамматике» (XVIII в.) А.А. Барсова: глагол показывает «состояние лица или вещи, то есть бытие, действие или страдание». Писатель А.Н. Толстой проницательно заметил: «В русском народе всегда преобладало чувство слова над чувством жеста. Это впоследствии определило путь русского театра — в глубь психологического переживания».

Прочная связь литературы и театра в России выразилась и в том, что почти все крупные русские литераторы были одновременно и драматургами. Огромное воздействие на театр оказали произведения, ставшие классическими: «Борис Годунов» и «Маленькие трагедии» Пушкина, «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» Гоголя, «Маскарад» Лермонтова, грандиозный мир произведений А.Н. Островского, драматические трилогии А.К. Толстого и А.В. Сухова-Кобылина, пьесы Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М. Горького, позднее — Л.М. Леонова, В.С. Розова. Большой мир классики помогал раздвигать идейные, духовные горизонты сцены.

Исключительно важное значение в истории русского (мирового) театрального процесса имели реформы предпринятые Станиславским и Немировичем-Данченко. Основанный ими в 1898 г. Художественный театр противостоял тенденциям разрушения и распада культуры, наступлению декадентства и модернизма, характерным для «серебряного века». Программа МХТ отразила стремление к восстановлению культурных связей, надорванных временем, к собиранию почвенных традиций и нравственной целостности. На более

высоком, чем прежде, уровне осмыслились внеэстетические функции искусства и сценическая поэтика. Театр на новом этапе сам обрел качественно иное единство — он стал режиссерским. Первым таким театром в России и явился московский Художественный театр. На его подмостках Станиславский и Немирович-Данченко осуществили еще один мощный прорыв в пространство сценического реализма, в глубины художественной правды и «жизни человеческого духа».

«Расширять сценическую картину до картины эпохи» — один из главных канонов МХТ в подходе к театральному воплощению жизни. Сверхзадача творчества усматривалась в содействии духовному обновлению мира, в борьбе за «очищение души человечества», в воспитании у людей стремления «жить лучшими чувствами и помыслами души». В противовес зрелищному, постановочно изощренному, забавляющему искусству МХТ строился как театр идейный и нравственно учительный.

В реформе Станиславского и Немировича-Данченко внимание к литературе, к Слову имело фундаментальное значение. МХТ имел славу не только первого режиссерского театра, но и образцового литературного театра. «Слово становится венцом творчества, оно же должно быть и источником всех задач», — писал Немирович-Данченко. Он же требовал изучать не только конкретную пьесу, но и «лицо автора».

Слово, внимание к нему — одна сторона русской театральной эстетики. Не менее важна и другая. «От избытка сердца говорят уста», — сказано в Писании. Наш театр — не только прибежище разума, «кафедра» знаний, но и школа нравственных чувств: «Глаголом жги сердца людей». Такой взгляд на назначение и природу искусства был связан с пониманием того, что сумма знаний, умозрительно усвоенных норм и правил сама по себе еще не делает человека совестливым, добрым и честным. Глубина и действенность наших прозрений определяется тем, выстраданы ли они, подкреплены ли опытом эмоциональным. Гражданская и нравственная чуткость зрителя зависит от возможности сочувствия, сопереживания. Эти душевные свойства нуждаются в воспитании и упражнении, как и другие. И русский театр в этом смысле — могучая сила. Это великолепно понимал уже А.П. Сумароков: «Трудится тот вотще, кто разумом своим лишь разум заражает, не стихотворец тот еще, кто только мысль изображает, холодную имея кровь, но стихотворец тот, кто сердце заражает».

Потому и «ум» Пушкина требовал от русского драматического писателя прежде всего «истины страстей и правдо-

подобия чувствований». Лишь такое искусство может наиболее глубоко и полно захватить зрителя, заставить его не только понять, но и пережить совершающееся на подмостках, эмоционально обогатить его опыт, оставить в душе неизгладимые следы. «Голые тенденции и прописные истины недолго удерживаются в уме, — писал замечательный драматург А.Н. Островский, — они там не закреплены чувством... Но чтобы истины действовали, умудряли, убеждали, — надо, чтобы они прошли прежде через души... Иметь хорошие мысли может всякий, а владеть умами и сердцами дано только избранным».

Разрабатывая принципы русской актерской школы, Станиславский назвал ее «искусством переживания». Утверждая, что ценность искусства определяется его духовным содержанием, великий реформатор театра полагал, что полноценно выявить, воплотить его способно только творчество, опирающееся на принцип естественного переживания, на живую природу человека-артиста: «Легче всего воздействовать на ум через посредство сердца, и этот верный путь по преимуществу избрало для себя наше искусство».

Не только раскрыть внутренний мир героя, но и увлечь им. Так кристаллизовалась самобытная основа нашей сцены: ее язык — язык сердца, сердца доброго, чистого и возвышенного.

На всем протяжении отечественной истории театра его лучшие представители воспринимали сцену как универсальное средство совершенствования человека. Их привлекали жизнетворческие, созидательные возможности театрального искусства. Так понимали его назначение и крупнейшие идеологи русского театра — А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.С. Щепкин, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой. Большой вклад в разработку концепции национальной сцены внесли статьи В.Г. Белинского, А.А. Григорьева, А.И. Герцена. В XX в. успешно развивали театральную методологию мхатовские воспитанники режиссеры А.Д. Попов, М.Н. Кедров, замечательный театровед В.Н. Прокофьев.

Кроме МХТ цитаделями национальной театральной школы и в XX в. оставались, старейшие императорские (в советскую эпоху именовавшиеся академическими) коллективы — Малый театр в Москве, Александринский театр в Петербурге. В этом русле работали и многие театры в провинции, среди которых наиболее заметными были Ярославский, Нижегородский, Казанский, Саратовский, Харьковский.

В XX в. после крушения русской государственности и захвата страны иудо-большевистской кликой русский театр, как и вся культура, подвергся мощному, разрушительному по своим

результатам, политическому и организационному давлению: еврейские большевики стремились превратить его в орудие своей пропаганды, подчинить догмам марксистской эстетики и фальшивой методологии т.н. «социалистического реализма». Лишь громадный творческий потенциал, накопленный ранее, и сила консервативной культурнической инерции позволили русскому театру в первые советские десятилетия выжить и оказывать определенное сопротивление большевистскому тоталитаризму. Ценности и идеалы русской цивилизации оживали в реалистическом и одухотворенном творчестве старейших театров, в искусстве рожденных народом, взращенных национальной почвой великих актеров, в спектаклях русской классики, в продолженной и в советское время деятельности театральных гениев Станиславского и Немировича-Данченко.

Русский народ, изнемогая в «немой борьбе» (А.А. Блок) с иудо-большевистскими оккупантами, все же вынуждал правящий режим идти на уступки, не допуская полного разгрома культуры. В лучших произведениях театрального искусства сохранялась ориентация на реализм и классическое наследие, обозначилось противостояние дегенеративному антиискусству, авангардизму и мейерхольдовщине. В 1930-е годы Немирович-Данченко направляя деятельность МХАТа, следовал своему кредо: «Самое высокое в искусстве исходит только из недр глубоко национальных».

Однако во второй половине XX в. снова необычайно усилилась еврейская экспансия в сферу российского театрального искусства, которое постепенно утрачивало свою национальную русскую природу и эстетику. Еврейскому захвату подверглись административный аппарат, управлявший театральным процессом, сфера театрального образования, в особенности подготовка режиссерских кадров и театроведов.

С уходом из жизни русских режиссеров и театральных деятелей «второго поколения» — А.Д. Попова, М.Н. Кедрова, Ю.А. Завадского, Н.П. Охлопкова, Б.И. Равенских, А.А. Брянцева, А.М. Лобанова, В.П. Кожича, Л.С. Вивьена, а также плеяды блистательных мастеров, игравших на сценах академических театров, утрачиваются последние опоры национальной сценической традиции, прерывается живое преемство поколений творцов Русского Театра, подвергаются забвению и даже поруганию его каноны, исчезает его художественный камертон.

Именно национальная самобытность нашей сцены подверглась разрушающей агрессии со стороны космополитических и воинствующе антирусских сил, сплотившихся в «малый народ», ядро которого по-прежнему составляли евреи.

Эту опасность ясно провидел Станиславский, который еще в первые послереволюционные годы резко протестовал против засилья левых, авангардистских и в сущности русофобских «театров и направлений». Он писал: «Далеко не все из них органичны и соответствуют природе русской творческой души артиста. Многие из новых театров Москвы относятся не к русской природе и никогда не свяжутся с нею, а останутся лишь наростом на теле». Критикуя моду на «теории иностранного происхождения», Станиславский ставил правильный диагноз: «Большинство театров и их деятелей — нерусские люди, не имеющие в своей душе зерен русской творческой культуры». По поводу одного из них — внедрившегося в МХАТ еврейского режиссера И.Я. Судакова — Станиславский весьма категорично заявлял: «В течение почти десяти лет судаковская группа не может слиться и никогда не сольется с МХТ... Это кончится плохо, сколько бы ни представлялся Судаков моим ярым последователем. У всех этих лиц другая природа. Они никогда не поймут нас».

В конце XX века в театральном пространстве России образовалась грандиозная художественная химера с очевидными признаками духовного, нравственного и эстетического нигилизма и с преобладанием жизнеотрицающего (по отношению к России и русскому народу) настроения. Ее своеобразие — в интегральной дисгармонии, возведенной в эстетический канон. Ее основы — инородческий менталитет режиссеров («брюнетов-пессимистов», по выражению Станиславского), насильственная дрессура русских актеров, превращаемых в покорных марионеток, мещанская драматургия, создаваемая полчищами местечковых авторов, пасквильянтская интерпретация отечественной классики, изображение русской жизни как сплошного темного царства.

В океане русскоязычной театральной антикультуры на рубеже XX—XXI столетий скромными островками еще пока уцелевшей исконно русской сценической эстетики с присутствием неискаженной классики в репертуаре остаются московские труппы: возглавляемый Ю.М. Соломиным Малый театр, МХАТ имени Горького под руководством Т.В. Дорониной, Русский духовный театр «Глас» (руководители Н.С. Астахов, Т.Г. Белевич), немногие провинциальные сцены. Если и их погубят, дело возрождения Русского национального театра встретит громадные трудности.